М.А. Бакунин

ИНТЕРНАЦИОНАЛ, Маркс и евреи



Неизвестные работы отца русского анархизма

• Диалог • Le dialogue •

Michel Bakounine
Polemique contre les Juifs

М.А. Бакунин

ИНТЕРНАЦИОНАЛ, Маркс и евреи

Неизвестные работы отца русского анархизма

Москва
«Вече» – «АЗЪ»
2008

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)7
Б 19

Бакунин М.А.

Б 19 Интернационал, Маркс и евреи: (Polemique contre les Juifs) / Пер. с франц. В.М. Смирнова. — М.: «Издательский дом «Вече», «АЗЪ» (Знатнов), 2008. — 320 с. — (Диалог).

ISBN 978-5-9533-3493-8 («Вече»)
ISBN 978-5-903488-02-5 («АЗЪ»)

В настоящем сборнике вместе с известной статьей «Кнуто-германская империя и социальная революция» (1870) впервые публикуются четыре неизвестные работы отца русского анархизма, профессионального революционера и самобытного мыслителя Михаила Александровича Бакунина (1814–1876). Они представляют собой принципиальную и нелицеприятную дискуссию с Карлом Марксом о судьбах Интернационала, международного рабочего движения, еврейском вопросе и личности основоположника «самого передового учения в мире». С легкой руки популярного американского публициста первой половины XX века Дугласа Рида она была названа им «Polemique contre les Juifs» (Полемикой против евреев), хотя на самом деле работы с таким названием у Бакунина нет. Тем не менее, сотрудники амстердамского Международного института социальной истории сумели отождествить публикуемые в настоящем сборнике четыре работы, написанные Михаилом Александровичем на французском языке, как таинственную «Полемику против евреев».

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)7

ISBN 978-5-9533-3493-8 («Вече»)
ISBN 978-5-903488-02-5 («АЗЪ»)

Обыкновенный марксизм и тайна «Полемики против евреев»

Отец русского анархизма, ярый противник марксистского мракобесия, профессиональный революционер и российский дворянин Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) жизнь свою посвятил борьбе за освобождение трудящихся от ига капитала, государственности, собственности, религии и националистических предрассудков. Власти нескольких европейских стран щедро «наградили» его за *преступление мысли*, крамольные речи и бунтарство. Саксонским судом он был приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением, и передан в руки австрийцев. Австрийским военным судом 37-летнего русского тираноборца вторично приговорили к смертной казни, которая также была заменена пожизненным заключением. Вскоре австрийский император выдал узника своему «брату» Николаю I, повелевшему заключить Бакунина в Алексеевский равелин Петропавловки, а затем в Шлиссельбургскую крепость. Через шесть лет заточения русский царь милостиво отправил Михаила Александровича в сибирскую ссылку, откуда ему в 1861 году удалось бежать через Японию и США в Лондон, где он некоторое время сотрудничал с Герценом и Огаревым. Потом Бакунин перебрался в Италию и, наконец, обосновался в Швейцарии, ни на время не прекращая революционной борьбы. Умер в Берне (Швейцария), где и похоронен.

То, что Бакунин представлял собой незаурядную личность, бескорыстно преданную идеалам социальной революции, отмечали многие современники. Главный герой социально-психологического романа И. С. Тургенева «Рудин» во многом списан с Михаила Александровича. Имя революционера начертано на Памятнике-обелиске в московском Александровском саду в числе других выдающихся борцов за социализм. Одна из старейших улиц древней Москвы, связывавшая Кремль и сельцом Рубцово-Покровским, где располагались загородный двор первого царя из рода Романовых Михаила Федоровича и великолепный Покровский храм, была переименована в 1918 году в Бакунинскую. Это наименование улица носит до сих пор.

Богатейшее творческое наследие Бакунина талмудисты марксистско-ленинской «науки» свели к его полемике с Марксом, результатом которой стал раскол в рядах Первого Интернационала и исключение из его рядов Михаила Александровича вместе с последователями. С бакунинскими идеями, его революционной деятельностью и их влиянием на несколько поколений народников и революционеров настойчиво боролось не только европейские монархи, но и демиурги социализма К. Маркс, Ф. Энгельс, Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Причем нападки первого из них несли признаки явной личной неприязни, зависти, коварства и национальной ограниченности, столь свойственных сыну мелкого адвоката из германского Трира. Бакунин же, не раз принимая личное участие в европейских революционных боях середины XIX века, за что не раз лишался свободы, будучи искренним интернационалистом, всегда истово выступал против шовинистов всех мастей: польских, германских, еврейских, мадьярских и прочих.

Его мысли и высказывания по национальным проблемам, особенно по «еврейскому вопросу», полностью неизвестны не только широкому читателю, но даже большинству профессиональных историков и исследователей. В советское время тема эта была полностью табуирована. Чуть ли не единственный раз глухое упоминание о ней мы обнаруживаем в комментариях к собранию сочинений и писем М. А. Бакунина под редакцией и с примечаниями революционера с неубедительно «русским» псевдонимом Ю. М. Стеклов (настоящая фамилия — Нахамкис). Бакунинский четырехтомник был выпущен в 1935 году издательством Всесо-

юзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Комментатор, наткнувшись на фразу Михаила Александровича в одном из его *частных* писем о том, что польский эмигрант Люблинер, с которым тот общался в Брюсселе, — «еврей, выдающий себя за поляка», сразу же делает вывод: «здесь сильно звучит уже тогда присущая Бакунину антисемитская нотка».

Так возникали зримые пробелы в творческом наследии Бакунина и многих других отечественных мыслителей, осмеливавшихся писать и рассуждать на крамольную тему. Например, Малая советская энциклопедия (М., 1937), посвятив отцу русского анархизма обширную статью, тем не менее мимоходом называет его ярым антисемитом. Парадоксально, но факт: один из лидеров и активнейших деятелей Интернационала, который поставил себе целью объединить трудящихся всех национальностей, ради чего не раз участвовал в национально-освободительных движениях, оказывается в глазах еврейских революционеров матерым юдофобом. Но в многочисленных биографиях и жизнеописаниях Бакунина эта тема никем из биографов не поднималась, словно бы ее и не существовало вовсе.

Впрочем, юдофобия в XIX веке не была ни чем-то необычным, ни чем-то предосудительным как в русском интеллектуальном обществе, так в самой гуще народа. В этом нетрудно убедиться, стоит только почитать, к примеру, «Дневник писателя» Достоевского, некоторые стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, сочинения Гоголя, Тургенева, Аксакова, Лескова, Розанова, Чехова и других писателей. Однако в отличие от книг этих мыслителей, доступных практически в любой библиотеке, большинство трудов Бакунина до недавнего времени достать было весьма затруднительно. Да и сейчас издатели не спешат с печатанием его трудов. Так, о дискуссии Михаила Александровича с Марксом советский читатель имел возможность ознакомиться односторонне: только с одной, марксистской точки зрения. Дело в том, что именно в ходе этого спора Бакунин более чем нелицеприятно высказался по «еврейскому вопросу» в связи с личностью самого Карла Маркса, сочетавшего в своем характере, по мнению Михаила Александровича, гремучую смесь немецкого чванства и еврейской мизантропии.

Работы, о которых идет речь, более известны под названием «*Полемика против евреев*» и приведены нами сразу после статьи

«Кнуто-германская империя и социальная революция» (1870). Она тематически предваряет и идейно сочетается с неизвестными письмами Бакунина, помещенными в настоящем сборнике, поскольку подробно рассматривает истоки немецкого национализма, дважды приведшего планету к мировым войнам. Впервые упоминание о некоем бакунинском тексте, в котором рассматривается пресловутый «еврейский вопрос», мы находим, например, в книге популярного американского публициста первой половины XX века Дугласа Рида «Спор о Сионе», где, в частности, говорится: «Как и Дизраэли в 1846 и 1852 гг., Бакунин указал на евреев, как на руководителей мировой революции уже в 1869 г., когда решался исход его борьбы с Карлом Марксом, считая, что именно в этом причина извращения идеи мировой революции, как он ее понимал. Его „Полемика против евреев" (Polemique contre les Juifs), — статья, написанная в 1869 году, была направлена главным образом против евреев внутри Интернационала, и, судя по всему, что нам с тех пор стало известно, можно быть уверенным, что исключение Бакунина марксистским Генеральным советом в 1872 году было закулисно решено сразу же по опубликовании его статьи в 1869 году».

Однако читателей и исследователей, которые на протяжении многих десятилетий не раз пытались найти работу Бакунина с таким названием, ждали неудача и разочарование. Дело в том, что «Полемики против евреев» как самостоятельного бакунинского труда... просто не существует. Высказывания Михаила Александровича по национальному вопросу, в том числе и еврейскому, действительно содержатся в нескольких его известных трудах, включая ту же статью «Кнуто-германская империя и социальная революция». Помещенные же нами сразу после нее четыре произведения, каждое из которых имеет самостоятельную ценность, которые и являются искомой многими «Полемикой против евреев», публикуются здесь в переводе на русский язык *впервые*.

Уникальность представляемых читателям работ состоит именно в том, что они вовсе не исчерпываются запретной «еврейской» темой. В конце концов, то или иное отношение крупного мыслителя к какой бы то ни было нации, вплоть до фобии, — частное дело личности. Бакунин же ставит вопрос шире, о евреях он пишет лишь постольку поскольку — в контексте свойственного ему видения сложной системы классовых и национальных

противоречий в мире. Камень преткновения между Бакуниным и Марксом вовсе не сводится к борьбе «анархизма» и «централизма» (хотя и она играла известную роль). Как революционер, Бакунин никоим образом не отрицает важности классовой борьбы и классовых противоречий. Но, в отличие от Маркса, он призывает не забывать и о противоречиях национально-исторических. И такая постановка вопроса — совершенно неожиданная для одного из отцов-основателей Интернационала — заставляет Бакунина резко протестовать, когда Маркс и окружающая его, как он пишет, «толпа еврейчиков» демонстрируют рептильный шовинизм и оголтелую русофобию, о которых теперь широко известно даже массовому читателю.

Наблюдения и выводы Бакунина представляют в совершенно неожиданном свете историю генезиса концепции «Дранг нах Остен» и роль еврейских кругов Германии в процессе ее выработки и осуществления. Казалось бы, дело прошлое... Но ведь слишком многое из того, о чем пишет Бакунин, остается актуальным и по сей день. Как и в XIX веке, для Запада по-прежнему характерно использование двойных стандартов в политике. Страх Запада перед чуждой ему великой русской цивилизацией по-прежнему вызывает там к жизни мизантропские концепции *«цивилизаторской»* миссии по отношению к «русским варварам», заселившим самую большую и самую богатую полезными ископаемыми страну в мире, где в городах по улицам до сих пор бродят дикие медведи. Разве что в роли «носителя» этой миссии сегодня в большей степени выступают США, а не Германия, как было при Бакунине.

Предвидя грядущие столкновения между Россией и Западом, Михаил Александрович Бакунин отнюдь не становился «оборонцем» в смысле безоговорочной поддержки самодержавия в России. Но при этом он не перестает быть русским человеком, уважающим свой народ и родину. Чему не мешало бы поучиться прошлым и будущем оппозиционерам всех мастей.

• • •

Настоящая публикация стала возможной, во-первых, благодаря амстердамскому Международному институту социальной истории, чьи сотрудники оказали высококвалифицированную

помощь в идентификации публикуемых здесь текстов М. А. Бакунина как таинственной «*Полемики против евреев*». Во-вторых, благодаря Валерию Марксовичу Смирнову, взявшему на себя труд литературного перевода с французского на русский язык, за исключением статьи «Кнуто-германская империя и социальная революция», которая печатается по отдельному изданию — М.: Книгоизд–во «Fraternité», 1907. — 126 с.

Перевод сделан по изданию: «Bakounine. Oeuvres complètes» (© International Institute of Social History // www.iisg.nl, September 2000, компакт-диск). Ознакомиться с подлинниками бакунинских статей на французском языке можно в Российской государственной библиотеке.

Издательство «АЗЪ»

Кнуто-германская империя и социальная революция

Лион, 29 сентября 1870 г.

Дорогой друг!

Мне не хочется уезжать из Лиона, не поговорив с тобой на прощанье. Осторожность не позволяет мне еще раз пожать тебе руку. Мне больше нечего здесь делать. Я приехал в Лион для того, чтобы сражаться или умереть с вами. Меня привела сюда непоколебимая уверенность, что дело Франции вновь стало делом человечества и что ее падение, ее порабощение режимом, который будет навязан ей прусскими штыками, было бы величайшим несчастием с точки зрения свободы и человеческого прогресса, какое только может постигнуть Европу и весь мир.

Я принял участие во вчерашних событиях и поставил свое имя под резолюциями *Центрального комитета спасения Франции,* потому что для меня очевидно, что после полного и реального разрушения всей административной и правительственной машины вашей страны для спасения Франции не остается иного пути, как восстание, стихийная, немедленная и революционная организация и федерация коммун, вне всякой официальной опеки и руководства.

Все эти обломки прежней администрации страны, эти муниципалитеты, состоящие большею частью из буржуа или из рабочих, обращенных в буржуа, людей косных, неумных, неэнергичных и неискренних; все эти прокуроры республики, эти префекты и субпрефекты, а в особенности чрезвычайные комиссары, имеющие неограниченные военные и гражданские полномочия, комиссары, которых немыслимая и роковая власть обрубка правительства, заседающего в Туре, только что облекла бессильною диктатурою, — все это годится лишь для того, чтобы парализовать последние усилия Франции и отдать ее пруссакам.

Вчерашнее движение, если бы оно восторжествовало, — а оно неизбежно бы восторжествовало, если бы генерал Клюзере, слишком желавший угодить всем партиям, не оставил бы так скоро дело народа; движение, которое опрокинуло бы бездарный, бессильный и на три четверти реакционный муниципалитет Лиона и заменило бы его сильным революционным комитетом, сильным потому, что он был бы не фиктивным, а непосредственным и реальным выражением воли народа; это движение, я повторяю, могло бы спасти Лион, а вместе с Лионом и Францию.

Вот уже прошло двадцать пять дней с тех пор, как провозглашена республика, и что же сделано для того, чтобы подготовить и организовать защиту Лиона? Ничего, решительно ничего.

Лион — вторая столица Франции и ключ к Югу. Кроме обеспечения своей собственной защиты, он должен, стало быть, выполнить двойной долг: организовать вооруженное восстание Юга и освободить Париж. Он мог и теперь еще может сделать и то и другое. Если поднимется Лион, он непременно увлечет за собою весь Юг Франции. Лион и Марсель станут двумя полюсами грозного революционного национального движения, которое, подняв разом города и деревни, привлечет сотни тысяч сражающихся и противопоставит военной организации сил вторжения все могущество революции.

И каждому, напротив, должно быть ясно, что если Лион попадет в руки пруссаков, то Франция будет безвоз-

вратно потеряна. От Лиона до Марселя они не встретят более препятствий. И что ж тогда? Тогда Франция сделается тем, чем так долго, слишком долго была Италия по отношению к вашему бывшему императору: вассалом его величества императора Германии. Возможно ли пасть ниже?

Только Лион может избавить Францию от этого падения и постыдной смерти. Но для этого надо, чтобы Лион пробудился, чтобы он действовал, не теряя ни одного дня, ни одной минуты. К сожалению, пруссаки не медлят. Они разучились спать: с присущей немцам последовательностью и поразительной точностью они осуществляют свои продуманно составленные планы, и, присоединив к этому древнему качеству своей расы быстроту действий, которая до сих пор считалась свойственной только французским войскам, они решительно продвигаются к самому сердцу Франции, представляя небывалую угрозу. Они идут на Лион. Что же делает Лион для своей защиты? Ничего.

А между тем никогда еще Франция не находилась в таком отчаянном, в таком ужасном положении. Все армии уничтожены. Большая часть военного снаряжения благодаря честности правительства и императорской администрации всегда существовала только на бумаге, а остальное, ввиду их осторожности, было так хорошо спрятано в крепостях Меца и Страсбурга, что, вероятно, скорее послужит пруссакам, чем национальной обороне. А ей во всех уголках Франции недостает сейчас пушек, боеприпасов, ружей, и, что еще хуже, — нет денег, чтобы их купить. Не то чтобы у французской буржуазии был недостаток в деньгах; наоборот, благодаря защищавшим ее *законам, которые позволили ей широко эксплуатировать* труд пролетариата, карманы ее полны. Но деньги буржуа никоим образом не патриотичны, они явно считают за лучшее эмигрировать и даже быть насильственно реквизированными пруссаками, чем подвергнуться опасности быть призванными помочь спасению отечества. Наконец, что уж тут скажешь, во Франции нет более администрации. Та, которая еще существует и которую правитель-

ство Национальной обороны имело преступную слабость сохранить, — это бонапартистский механизм, созданный, чтобы служить особым интересам разбойников Второго декабря, и, как я уже говорил, способный не организовать, а лишь окончательно предать Францию, отдать ее пруссакам.

Лишенная всего, что составляет могущество государств, Франция — больше не государство. Это — огромная страна, богатая, умная, полная природных сил и ресурсов, но полностью дезорганизованная и при этой ужасающей дезорганизованности вынужденная защищаться против самого губительного нашествия, которому когда-либо подвергалась нация. Что она может противопоставить пруссакам? Ничего, кроме стихийной организации огромного народного восстания — *Революции.*

Здесь я слышу, как все сторонники сохранения общественного порядка во что бы то ни стало, доктринеры, адвокаты, все эти эксплуататоры буржуазного республиканизма в желтых перчатках и даже изрядная часть так называемых представителей народа, вроде вашего гражданина Бриалу, предателей народного дела, которых жалкое тщеславие, возникшее вчера, сегодня толкает в лагерь буржуа, — я слышу, как они восклицают:

«Революция! О чем вы думаете, ведь это было бы верхом несчастия для Франции! Это было бы внутренним раздором, гражданской войной в присутствии неприятеля, стремящегося подавить и уничтожить нас! Самое полное доверие правительству Национальной обороны; самое беспрекословное повиновение военным и гражданским чиновникам, которых оно облекло властью; самый тесный союз между гражданами самых различных политических, религиозных и социальных убеждений, между всеми классами и партиями — вот единственный путь спасения Франции».

Доверие порождает единение, а единение создает силу — вот истина, которую, конечно, никто не вздумает отрицать. Но, чтобы это стало истиной, необходимы две вещи: надо, чтобы доверие не дошло до глупости и чтобы единение, одинаково искреннее у всех сторон, не было ил-

люзией, ложью или лицемерным использованием одной партии в отношении другой. Надо, чтобы все объединяющиеся партии, полностью забыв — конечно, не навсегда, а на время их союза — свои особые и заведомо противоположные интересы, те интересы и цели, которые в обычное время их разделяют, были одинаково поглощены достижением общей цели. Что же получится в противном случае? Партия искренняя неизбежно сделается жертвою партии менее искренней или вовсе неискренней; это произойдет не во имя торжества общего дела, а в ущерб ему и исключительно в интересах той партии, которая лицемерно использует этот союз в своих целях.

Чтобы союз был реальным и возможным, не надо ли, по крайней мере, чтобы цель, во имя которой партии должны объединиться, была единой? Разве так обстоит дело сегодня? Можно ли сказать, что буржуазия и пролетариат хотят совершенно одного и того же? Вовсе нет.

Французские рабочие хотят спасти Францию любой ценой, пусть даже для ее спасения пришлось бы превратить ее в пустыню, взорвать все дома, разрушить и сжечь все города, разорить все, что так дорого сердцу буржуа: поместья, капиталы, промышленность и торговлю, одним словом, всю страну превратить в огромную могилу, чтобы похоронить в ней пруссаков. Они хотят смертного боя, варварской войны с ножом в руках, если понадобится. Не имея никаких материальных благ, которыми они могли бы пожертвовать, они отдают свою жизнь. Многие из них, а именно большая часть тех, кто состоит членами Международного товарищества рабочих, вполне сознают высокую миссию, которая в настоящее время выпала на долю французского пролетариата. Они знают, что если Франция падет, то в Европе дело всего человечества можно считать проигранным по крайней мере на полвека. Они знают, что они ответственны за спасение Франции не только перед Францией, но и перед всем миром. Эти идеи свойственны, конечно, только самой передовой части рабочих, но все без исключения рабочие Франции инстинктивно понимают, что если их страна попадет под иго пруссаков, то все их надежды на будущее рухнут.

И они готовы скорее умереть, чем обречь своих детей на жалкое рабское существование. Поэтому они хотят во что бы то ни стало, любой ценой спасти Францию.

Буржуазия, или по крайней мере огромное большинство этого почтенного класса, желает как раз обратного. Для нее важнее всего сохранение во что бы то ни стало своих домов, имений и капиталов; для нее важна не столько целостность национальной территории, сколько целостность ее карманов, наполненных трудом пролетариата, эксплуатируемого ею под охраной государственных законов. Поэтому в глубине души, не смея сознаться в этом публично, она желает мира любой ценой, пусть даже ценою упадка и порабощения Франции.

Но если буржуазия и пролетариат Франции преследуют цели не только различные, но совершенно противоположные, то каким чудом мог бы возникнуть между ними реальный и искренний союз? Ясно, что это столь усиленно проповедуемое и восхваляемое примирение всегда будет лишь ложью. Ложь убила Францию, так можно ли надеяться, что ложь вернет ее к жизни? Сколько бы ни осуждали раскол, от этого он не перестанет существовать фактически, а раз он существует, раз в силу самих обстоятельств он должен существовать, то было бы ребячеством, скажу больше, было бы преступлением, с точки зрения спасения Франции, игнорировать, отрицать, не признавать открыто его существования. А поскольку спасение Франции призывает вас к единению, забудьте, оставьте все свои личные интересы, притязания и разногласия; забудьте все партийные разногласия и, насколько это возможно, пожертвуйте ими; но во имя этого же спасения остерегайтесь всяких иллюзий, ибо при нынешнем положении иллюзии смертельны! Ищите союза только с теми, кто так же серьезно, так же страстно, как и вы сами, хочет спасти Францию *любой ценою*.

Когда люди идут навстречу большой опасности, не лучше ли идти в небольшом числе, с полной уверенностью, что вас не покинут в разгар борьбы, чем тащить с собою толпу неверных союзников, которые предадут вас в первом же бою?

К дисциплине и к доверию относится все то, что и к союзу. Сами по себе это прекрасные вещи, но когда они относятся к тем, кто их не заслуживает, они становятся пагубными. Страстный поклонник свободы, я признаюсь, что с недоверием отношусь к тем, у кого слово «дисциплина» постоянно на языке. Оно особенно опасно во Франции, где дисциплина большею частью означает деспотизм, с одной стороны, и автоматизм, с другой. Во Франции мистический культ власти, любовь к господству и привычка к подчинению уничтожили как в обществе, так и в огромном большинстве индивидов всякое чувство свободы, всякую веру в стихийный и жизнедеятельный строй, создать который может только свобода. Заговорите с ними о свободе, и они тотчас же станут кричать об анархии, поскольку им кажется, что как только эта давящая и насильственная дисциплина государства перестанет действовать, общество разорвет себя на куски и рухнет. В этом — секрет того поразительного состояния рабства, которое французское общество терпит с тех пор, как оно совершило свою великую революцию. Робеспьер и якобинцы завещали ему культ государственной дисциплины. Этим культом до мозга костей пропитаны все ваши буржуазные республиканцы, официальные и официозные; он-то и губит сейчас Францию. Он губит ее, парализуя единственный источник и единственное остающееся у нее средство освобождения — свободное развитие народных сил, и заставляя ее искать спасения в авторитете и иллюзорной активности государства, выдвигающего сегодня лишь тщетные деспотические требования при полной беспомощности.

Хотя я и враг всего того, что во Франции называют дисциплиной, тем не менее я признаю все-таки, что известная дисциплина, не автоматическая, а добровольная и разумная, в полном согласии со свободой индивидов, остается и всегда будет необходимой во всех случаях, когда множество свободно объединившихся индивидов займется какой-либо работой или предпримет какое-либо совместное действие. Тогда эта дисциплина есть не что иное, как добровольная и разумная согласованность всех

индивидуальных *усилий,* направленных к общей цели. Во время деятельности, в пылу борьбы роли распределяются естественным образом в зависимости от способностей каждого, которые определяются и оцениваются всем коллективом: одни управляют и отдают приказания, другие их исполняют. Но никакая функция не застывает, не закрепляется и не обращается в неотъемлемую принадлежность какой-нибудь личности. Иерархии ранга и продвижения не существует, так что вчерашний руководитель может сегодня стать подчиненным. Никто не поднимается выше других, а если и поднимается, то только для того, чтобы в следующий момент вновь опуститься, как волны моря, к благотворному уровню равенства.

При такой системе больше нет собственно власти. Власть основывается на коллективе и становится откровенным выражением свободы каждого, истинным и верным воплощением воли всех. При этом каждый повинуется только потому, что тот, кто руководит им в данный момент, приказывает ему то, чего он и сам хочет.

Вот истинно гуманная дисциплина, необходимая для организации свободы. Не такова дисциплина, проповедуемая вашими государственными людьми — республиканцами. Они хотят старой французской дисциплины, автоматической, рутинной и слепой. Руководитель, не избранный свободно и только на один день, а навязанный государством надолго, если не навсегда, приказывает — и ему надо повиноваться. Только такой ценою, говорят они вам, можно добиться спасения и даже свободы Франции. Пассивное повиновение, основа всякого деспотизма, будет, следовательно, также и краеугольным камнем, который вы хотите положить в основание вашей новой республики.

Но если тот, кто мной командует, прикажет обратить оружие против этой самой республики или отдать Францию пруссакам, должен ли я ему повиноваться; да или нет? Если я ему повинуюсь, то изменяю Франции; а если ослушаюсь, то нарушу эту дисциплину, которую вы хотите мне навязать как единственное средство спасения Франции. И не говорите мне, что дилемма, которую я предлагаю вам решить, — праздная. Нет, это животре-

пещущий вопрос, и именно он стоит в настоящее время перед вашими солдатами. Кто не знает, что их командование, генералы и подавляющее большинство высших офицеров душой и телом преданы императорскому режиму? Кто не видит, что они всюду, не скрываясь, плетут заговоры против республики? Что же должны делать солдаты? Если они подчинятся, то предадут Францию, а если ослушаются, то уничтожат остатки ваших регулярных войск. Для республиканцев, сторонников государства, общественного порядка и безусловной дисциплины, эта дилемма неразрешима. Для нас, социалистических революционеров, она не представляет никакой трудности. Да, солдаты должны выйти из повиновения, должны взбунтоваться, должны сломать эту дисциплину и разрушить теперешнюю организацию регулярных войск. Во имя спасения Франции они должны уничтожить этот призрак государства, неспособного к добру и чинящего зло, потому что спасти Францию может сейчас только одна оставшаяся реальная сила — революция.

Что же сказать теперь о том доверии, которое рекомендуется вам в настоящее время как высшая добродетель республиканцев? Прежде, когда люди в самом деле были республиканцами, демократии рекомендовалось недоверие. Впрочем, ей не надо было даже и советовать этого: демократия недоверчива по своему положению, по природе, а также в силу своего исторического опыта, поскольку во все времена демократия была жертвою обмана всех честолюбцев и интриганов — классов и отдельных лиц, — которые под предлогом руководства ею и доведения до благополучного конца всегда ее эксплуатировали и обманывали. До сих пор она служила лишь трамплином.

Теперь господа республиканцы из буржуазной прессы советуют ей быть доверчивой. Но к кому и в чем? Кто они такие, чтобы сметь призывать к доверию, и что они сделали, чтобы самим заслужить его? Они писали очень бледные фразы республиканского содержания, насквозь пропитанные узкобуржуазным духом, по столько-то за строчку. А сколько среди них маленьких будущих Оливье? Что общего между ними, этими корыстными и раболепными защит-

никами интересов имущего, эксплуатирующего класса, и пролетариатом? Разделили ли они когда-нибудь страдания того рабочего мира, к которому они смеют презрительно обращаться с выговорами и советами? Сочувствовали ли они, по крайней мере, этим страданиям? Защищали ли они когда-нибудь интересы и права трудящихся против буржуазной эксплуатации? Наоборот, всякий раз, как вставал основной вопрос века, вопрос экономический, они становились поборниками буржуазной доктрины, которая обрекает пролетариат на вечную нищету и вечное рабство ради свободы и материального благополучия привилегированного меньшинства.

Вот каковы люди, которые считают себя вправе рекомендовать народу оказать доверие. Но посмотрим, кто же заслужил и заслуживает в настоящее время доверия?

Не буржуазия ли? Но, не говоря уж о той реакционной ярости, которую этот класс выказал в июне 1848 года, и об угодливой и рабской низости, какую она проявляла в течение двадцати лет, как в годы президентства, так и во время империи Наполеона III; не говоря о безжалостной эксплуатации, когда в ее карман поступает весь результат работы народа, а несчастным наемным работникам остается лишь самое необходимое; не говоря о ненасытной алчности, об ужасном и несправедливом корыстолюбии, которые, основывая процветание буржуазного класса на нищете и экономическом рабстве пролетариата, делают этот класс непримиримым врагом народа, — посмотрим, какое же право *в настоящее время* может иметь буржуазия на доверие народа.

Изменили ли ее вдруг несчастья Франции? Может быть, она сделалась искренне патриотичной, республиканской, демократичной, народной и революционной? Быть может, она продемонстрировала намерение дружно подняться и отдать жизнь и кошелек ради спасения Фракции? Быть может, она раскаялась в прежнем беззаконии, в прошлых и недавних низких изменах, быть может, она имеет искреннее намерение, полностью доверяя народу, броситься в его объятия? Быть может, она всей душой стремится встать во главе народа, чтобы спасти страну?

Не правда ли, мой друг, достаточно поставить эти вопросы, чтобы все, при виде того, что сейчас происходит, были вынуждены ответить отрицательно. Увы! Буржуазия не изменилась, не исправилась и не раскаялась. Сегодня, как и вчера, и даже в большей степени, чем раньше, под ослепительным светом, который события бросают как на людей, так и на вещи, она предстает во всей своей черствости, эгоизме, алчности, узости, глупости, грубости и в то же время низкой угодливости, жестокости, когда ей кажется, что ей ничего не грозит, как в несчастные Июньские дни. Она всегда распростерта ниц перед властью и силой, от которых она ждет своего спасения всегда, и при всех обстоятельствах враждебна народу.

Буржуазия ненавидит народ даже за все то зло, которое она ему причинила; она его ненавидит, потому что в нищете, невежестве и рабстве этого народа видит свой собственный приговор, потому что знает, что она более чем заслужила ненависть народа, и потому что она чувствует, что эта ненависть, становясь с каждым днем все сильнее и непримиримее, угрожает самому ее существованию. Буржуазия ненавидит народ, потому что он ей внушает страх; ее ненависть теперь удвоилась, потому что народ, единственный искренний патриот, которого несчастья Франции вывели из оцепенения, хотя, как и все другие страны мира, она была для него мачехой, осмелился подняться. Он начинает осознавать себя, подсчитывать свои силы, организуется, говорит во весь голос, поет *Марсельезу* на улицах и своим шумом и угрозами в адрес изменников Франции нарушает общественный порядок, будоражит совесть господ буржуа и лишает их душевного покоя.

Доверие можно завоевать только доверием. Проявила ли буржуазия хоть малейшее доверие к народу? Ничего подобного. Все, что она сделала, все, что она делает, доказывает, наоборот, что ее недоверие к народу перешло всякие границы, вплоть до того, что в момент, когда стало совершенно очевидно, что в интересах Франции и ради ее спасения весь народ должен быть вооружен, она не пожелала дать ему оружие. Буржуазия уступила только тогда, когда народ стал угрожать взять его силою. Но, выдав

ему ружья, она приложила все возможные усилия, чтобы не дать боеприпасов. Она вынуждена была уступить еще раз, и вот теперь, когда народ вооружен, он стал в глазах буржуазии еще более опасным и ненавистным.

Из ненависти к народу и в страхе перед ним буржуазия не хотела и не хочет республики. Не будем забывать, дорогой друг, что в Марселе, в Лионе, в Париже, во всех больших городах Франции не буржуазия, а народ, рабочие провозгласили республику. В Париже ее провозгласили не малоусердные непримиримые республиканцы из Законодательного корпуса, почти все в настоящее время члены правительства Национальной обороны, а рабочие Ла-Виллетты и Бельвиля, и это было сделано вопреки желанию и ясно выраженным намерениям вчерашних странных республиканцев. Красный призрак, знамя революционного социализма, преступление, совершенное господами буржуа в июне, все это заставило их потерять интерес к республике. Не будем забывать, что когда 4-го сентября рабочие Бельвиля при встрече приветствовали г-на Гамбетта возгласом: «Да здравствует республика!», он ответил им так: «Да здравствует Франция! — *говорю я вам*».

Г-н Гамбетта, как и все остальные, совсем не стремился к республике. Революции он желал еще меньше. Нам это известно, впрочем, из всех произнесенных им речей, с тех пор как его имя привлекло к нему всеобщее внимание. Г-н Гамбетта может сколько угодно называть себя государственным человеком, *мудрым, умеренным, консервативным, рационалистичным и позитивистским республиканцем,* но он страшится революции. Он хочет управлять народом, но не позволить народу управлять им. Поэтому все усилия г-на Гамбетта и его сторонников из радикального левого крыла Законодательного корпуса свелись 3-го и 4-го сентября к одной цели: во что бы то ни стало предотвратить создание правительства в результате народной революции. В ночь с 3-го на 4-е сентября они приложили невероятные усилия, чтобы заставить правых бонапартистов и министерство Паликао принять проект г-на Жюля Фавра, представленный накануне и подписанный всем радикальным левым крылом, проект, требовав-

ший всего только учреждения *правительственной комиссии*, легально назначенной Законодательным собранием, соглашаясь даже на то, чтобы бонапартисты были в ней в большинстве, и не ставя иного условия, кроме включения в эту комиссию нескольких членов радикальной левой.

Все эти хитроумные замыслы были разрушены народным движением вечером 4-го сентября. Но даже в разгар восстания парижских рабочих, когда народ заполнил зал и трибуны Законодательного собрания, г-н Гамбетта, верный своим антиреволюционным идеям, еще приказывает народу молчать и уважать *свободу прений (!), чтобы никто не мог сказать, что правительство, выбранное голосованием Законодательного собрания, было сформировано под сильным давлением народа.* Как истинный адвокат, решительный сторонник легальной фикции, г-н Гамбетта, без сомнения, полагал, что правительство, назначенное Законодательным собранием, рожденным императорским обманом и имеющим в своем составе самых отъявленных подлецов Франции, что подобное правительство будет в тысячу раз внушительнее и почтеннее, чем правительство, вызванное к жизни отчаянием и негодованием народа, которого предали. Эта любовь к конституционной лжи так ослепила г-на Гамбетта, что, несмотря на свой ум, он не понял, что все равно никто бы не мог и не хотел поверить в свободу голосования в подобных обстоятельствах. К счастью, бонапартистское большинство, напуганное все более и более угрожающими проявлениями народного гнева и презрения, разбежалось, и г-н Гамбетта, оставшись один со своими приверженцами из радикальной левой в зале Законодательного собрания, был вынужден отказаться, правда, с большим нежеланием, от своих мечтаний о власти, приобретенной легальным путем, и страдать от того, что народ передал в руки этой левой революционную власть. Я расскажу сейчас о том ничтожном применении, которое г-н Гамбетта и его сторонники нашли этой власти за четыре недели, истекшие с 4-го сентября, власти, которую дал им народ Парижа с тем, чтобы они подняли на спасительную революцию всю Францию, и

которую они употребили до сих пор, наоборот, чтобы парализовать ее повсюду.

В этом отношении Гамбетта и его приверженцы, составляющие правительство Национальной обороны, явились лишь подлинными выразителями мыслей и чувств буржуазии. Соберите всех буржуа Франции и спросите их, что они предпочитают: освобождение отечества в результате социальной революции — а в настоящее время не может быть иной революции, кроме социальной, — или его порабощение пруссаками? Если они без опасения смогут высказать свои мысли и решатся быть откровенными, о девять десятых — что я говорю! — девяносто девять сотых или даже девятьсот девяносто девять тысячных ответят вам, не колеблясь, что предпочитают порабощение. Спросите их еще: если бы для спасения Франции потребовалось пожертвовать значительною частью их собственности, их движимого и недвижимого имущества, чувствуют ли они себя готовыми принести эту жертву? Или, пользуясь образным выражением г-на Жюля Фавра, действительно ли они полны решимости скорее быть погребенными под руинами своих городов и домов, чем отдать их пруссакам? Они в один голос ответят, что предпочтут выкупить их у пруссаков. Неужели вы думаете, что если бы парижские буржуа не были постоянно на глазах и под угрозой непосредственного воздействия парижских рабочих, Париж оказал бы пруссакам такое мужественное сопротивление?

Не клевещу ли я, однако, на буржуа? Дорогой друг, вы хорошо знаете, что нет. Впрочем, в настоящее время существует неопровержимое и очевидное доказательство истинности и справедливости всех моих обвинений против буржуазии. Злая воля и индифферентность буржуазии слишком ясно выразилась в денежном вопросе. Всем известно, что финансы страны разорены, что нет ни одного су в кассе правительства Национальной обороны, которое господа буржуа как будто бы горячо и ревностно поддерживают. Все понимают, что казна не может быть пополнена обычными средствами — займами и налогами. Неустойчивое правительство не может иметь кредита; что

касается дохода от налогов, то он свелся к нулю. Часть Франции, включающая наиболее промышленно развитые и богатые провинции, занята пруссаками и подвергается ими систематическому грабежу. Во всех других местах торговля, промышленность и все деловые операции остановились. Косвенные налоги не дают уже ничего или почти ничего. Прямые налоги платятся с огромными затруднениями и с приводящею в отчаяние медлительностью. И это в тот момент, когда Франции нужны все ее ресурсы и весь кредит, чтобы покрыть чрезвычайные, громадные расходы на национальную оборону. Даже для непосвященных очевидно, что если Франция не найдет немедленно денег, много денег, она не в силах будет более бороться с пруссаками.

Кому, как не буржуазии понять это лучше других, буржуазии, которая всю жизнь занимается деловыми операциями и не признает другой силы, кроме силы денег. Она должна понимать, что раз Франция не может из обычных государственных ресурсов добыть всех денег, необходимых для ее спасения, то она вынуждена, она имеет право и обязана брать их там, где они есть. А где же они есть? Уж, конечно, не в кармане несчастного пролетариата, которому из-за алчности буржуазии едва удается не умереть с голоду; следовательно, они могут находиться только в несгораемых сундуках господ буржуа. Только они имеют деньги, необходимые для спасения Франции. Предложили ли они сразу, добровольно хотя бы малую их толику?

Я еще вернусь, дорогой друг, к этому денежному вопросу, который является главным, когда речь идет об оценке чувств, принципов и патриотизма буржуазии. Общее правило таково: хотите вы точно знать, действительно ли буржуа желает того или иного? Тогда спросите, пожертвует ли он для этого денег: будьте уверены, если буржуа страстно желают чего-нибудь, они не отступят ни перед какими расходами. Разве они не истратили огромные суммы, чтобы убить, задушить республику в 1848 году? А позднее, разве они не голосовали за все налоги и займы, которые требовал от них Наполеон III, и не нашли в

своих сундуках баснословные суммы, чтобы подписаться на эти займы? Наконец, предложите им и укажите верный способ восстановить во Франции сильную реакционную монархию, которая возвратила бы им вместе со столь милым их сердцу общественным порядком и спокойствием на улицах экономическое господство, драгоценную привилегию без стыда и совести, законно и постоянно использовать в своих интересах нищету пролетариата, — и вы увидите, поскупятся ли они!

Пообещайте им только, что, как только пруссаки будут изгнаны из Франции, будет восстановлена монархия во главе с Генрихом V, или с герцогом Орлеанским, или с одним из потомков гнусного Бонапарта, и вы убедитесь, что их несгораемые сундуки тотчас же откроются и там найдутся необходимые средства для изгнания пруссаков. Но им обещают республику, царство демократии, власть народа, эмансипацию народной черни, а они ни за что не хотят ни вашей республики, ни этой эмансипации и в доказательство этого держат сундуки на запоре, не жертвуя ни одним су.

Вы лучше меня знаете, дорогой друг, что произошло с этим несчастным займом, объявленным муниципалитетом Лиона для организации защиты города. Сколько было на него подписчиков? Столь мало, что даже те, кто превозносил патриотизм буржуазии, были сконфужены, огорчены и пришли в отчаяние.

И народ еще призывают оказать доверие этой буржуазии! А она настолько нагла и цинична, что сама говорит об этом доверии, я бы даже сказал, требует его. Она намерена одна управлять этой республикой, которую в глубине души ненавидит. Именем республики она пытается восстановить и укрепить свою власть и свое исключительное господство, которые в какой-то момент были поколеблены. Она завладела всеми должностями, она заполнила все места, оставив лишь некоторые для нескольких отщепенцев из рабочих, довольных тем, что могут восседать рядом с господами буржуа. А на что они употребляют власть, которой они таким образом завладели? Об этом можно судить по деятельности вашего муниципалитета.

Но, могут мне возразить, муниципалитет нельзя трогать, ибо он был образован после революции, непосредственным выбором самого народа, он — результат всеобщего избирательного права. В этом качестве он должен быть для вас священен.

Признаюсь вам откровенно, дорогой друг, что я решительно не разделяю суеверного благоговения ваших буржуазных радикалов или ваших буржуазных республиканцев перед всеобщим избирательным правом. В следующем письме я постараюсь изложить причины, в силу которых я остаюсь к нему равнодушным. Здесь же ограничусь принципиальной констатацией кажущейся мне бесспорной истины, которую потом мне нетрудно будет доказать как теоретически, так и с помощью множества фактов, взятых из политической жизни стран с демократическими и республиканскими институтами. Вот эта истина: *в обществе, где над народом, над трудящейся массой экономически господствует меньшинство, владеющее собственностью и капиталом, как бы ни было или как бы ни казалось свободно и независимо в политическом отношении всеобщее избирательное право, оно может привести только к обманчивым и антидемократическим выборам, совершенно не соответствующим потребностям, побуждениям и действительной воле населения.*

Разве все выборы, проведенные непосредственно французским народом со времени декабрьского государственного переворота, не были диаметрально противоположны интересам этого народа, и разве последнее голосование императорского плебисцита не дало семь миллионов «ДА» императору? Без сомнения, нам скажут, что в империи всеобщее избирательное право никогда не осуществлялось свободно, ибо свобода печати, союзов и собраний, это основное условие политической свободы, была запрещена, и народ был отдан на произвол развращенной, продажной прессы и гнусной администрации. Пусть так. Но выборы 1848 года в Учредительное собрание и президентские выборы, майские выборы 1849 года в Законодательное собрание были, я думаю, абсолютно

свободны. Они происходили без всякого давления и даже без официального вмешательства, при всех условиях абсолютной свободы. И, однако, что они дали в результате? Ничего, кроме реакции.

«Одним из первых актов, которым более всего гордилось временное правительство, — говорит Прудон, — был декрет о введении всеобщего избирательного права. В тот самый день, когда он был обнародован, мы написали буквально те слова, которые тогда можно было счесть за парадокс: *«Всеобщее избирательное право есть контрреволюция»*. По дальнейшим событиям можно судить, ошибались ли мы. Выборы 1848 г. были проведены в подавляющем большинстве священниками, легитимистами, сторонниками династии, вообще теми, кто воплощает во Франции все самое реакционное, ретроградное. Иначе и быть не могло».

Нет, не могло быть и теперь тоже не может быть иначе, пока неравенство экономических и социальных условий жизни по-прежнему будет господствовать в организации общества, пока общество будет делиться на два класса, из которых один, привилегированный и эксплуатирующий, будет пользоваться всеми благами богатства, образования и досуга, а на долю другого, включающего в себя всю массу пролетариата, выпадает физический труд, изнуряющий и насильственный, невежество, нищета и их неизбежный спутник — рабство, не юридическое, а фактическое.

Да, рабство, ибо как бы широки ни были политические права, которые вы предоставляете этим миллионам наемных пролетариев, работающих по найму, этим истинным каторжникам голода, вам никогда не удастся оградить их от пагубного влияния, естественного господства всевозможных представителей привилегированного класса, начиная от священника и кончая буржуазным республиканцем, даже самым якобинским, самым красным; представителей, которых при всем их кажущемся различии и действительном разногласии по политическим вопросам объединяет нечто общее, стоящее выше всего этого: эксплуатация нищеты, невежества, политической неопытности и наивной

веры пролетариата в интересах экономического господства имущего класса.

Как мог бы городской и сельский пролетариат противостоять интригам клерикальной, дворянской и буржуазной политики? Для защиты от нее у него есть только одно оружие — его инстинкт, который почти всегда влечет его к истинному и справедливому, потому что он сам — глазная, если не единственная, жертва несправедливости и всевозможной лжи, которые царят в современном обществе, а также и потому, что, испытывая угнетение со стороны привилегированных, он требует равенства для всех.

Но оружия инстинкта недостаточно, чтобы защитить пролетариат от реакционных махинаций привилегированных классов. Инстинкт сам по себе, пока он не превратился в основательное сознание, в четкое мышление, можно легко ввести в заблуждение, извратить и обмануть. Но без помощи образования, науки инстинкт не может подняться до сознания, а у пролетариата полностью отсутствуют научные знания, познания в делах и в людях, нет политического опыта. Отсюда нетрудно сделать вывод: пролетариат хочет одного, а ловкие люди, пользуясь его незнанием, вынуждают его делать другое, причем он и не подозревает, что делает как раз противоположное тому, что он хочет, а когда он это, наконец, замечает, обычно бывает слишком поздно, чтобы поправить дело, и первой, и основной жертвой содеянного зла всегда и непременно, конечно же, становится он сам.

Таким-то образом духовенство, знать, крупные собственники и вся бонапартистская администрация, которая благодаря преступной глупости правительства, называющего себя правительством Национальной обороны*, может сегодня спокойно продолжать вести империалистскую пропаганду в деревне; таким-то образом, пользуясь полным невежеством французского крестьянина, эти пособники откровенной реакции стараются поднять его

* Не справедливее ли было бы назвать его правительством разорения Франции? Здесь и далее все постраничные сноски принадлежат М. А. Бакунину. — *Изд.*

против республики, в пользу пруссаков. И, увы, это им слишком хорошо удается! Разве нам не известны коммуны, которые не только открывают ворота пруссакам, но и выдают им волонтеров, явившихся им на выручку, прогоняют их?

Разве крестьяне Франции перестали быть французами? Вовсе нет. Я думаю даже, что нигде более патриотизм в самом прямом и узком смысле этого слова не сохранил такой силы и искренности, поскольку крестьяне, больше чем все другие слои населения, привязаны к земле, проникнуты ее культом, что и составляет основу патриотизма. Как же могло случиться, что они не хотят или все еще медлят подняться на защиту этой земли от пруссаков? Да потому, что они были обмануты и их продолжают обманывать. Посредством макиавеллистской пропаганды, начатой в 1848 году легитимистами и орлеанистами вместе с умеренными республиканцами, такими как Жюль Фавр и К°, и успешно продолженной бонапартистской прессой и администрацией, их удалось убедить, будто рабочие-социалисты — сторонники раздела земли — только и думают о том, как бы отобрать у крестьян землю, что только император хочет и может защитить их от этого грабежа и что из чувства мести революционеры-социалисты отдали его самого и его армию в руки пруссаков, но что прусский король, только что помирившись с императором, вернет его победителем, чтобы восстановить порядок во Франции.

Очень глупо, но это так. Во многих, да что я говорю, в большинстве французских провинций крестьянин совершенно искренне верит во все это. Более того, в этом единственная причина его инертности и враждебности к республике. Это — большое несчастье, так как ясно, что если деревня останется безучастной, если крестьяне в союзе с городскими рабочими не поднимутся всей массой, чтобы изгнать пруссаков, то Франция погибнет. Как бы ни был велик героизм, который мы наблюдаем в городах,— а он действительно повсеместно велик! — города, разделенные сельской местностью, будут изолированы, как оазисы в пустыне. Они неизбежно должны будут сдаться.

Доказательством непроходимой глупости этого странного правительства Национальной обороны является в моих глазах то, что, придя к власти, оно не приняло сразу же всех необходимых мер для разъяснения крестьянам положения вещей в настоящее время и для того, чтобы повсеместно поднять их на вооруженное восстание. Разве так трудно было понять столь простую и очевидную для всех вещь, что от массового восстания крестьян и городского населения зависело и еще теперь зависит спасение Франции? А сделало ли правительство Парижа и Тура до сих пор хоть один шаг в этом направлении? Предприняло ли оно хоть что-нибудь, чтобы вызвать крестьянский бунт? Оно не только ничего не сделало для того, чтобы поднять крестьян, наоборот, оно предприняло все для того, чтобы этот бунт стал невозможен. В этом его безрассудство и преступление, которые могут убить Францию.

Оно сделало восстание деревни невозможным, сохранив во всех коммунах Франции муниципальную администрацию империи: это те же мэры, мировые судьи, полевые сторожа, не забыты и гг. кюре, которых выбирали и назначали, которым покровительствовали гг. префекты, субпрефекты, а также императорские епископы с одной целью: отстаивать интересы династии во что бы то ни стало, даже вопреки интересам самой Франции. Это те же чиновники, которые проводили все выборы в империи, включая последний плебисцит, те, которые еще в августе под руководством г-на Шевро, министра внутренних дел в правительстве Паликао, организовали против всех и всяческих либералов и демократов в защиту Наполеона III, в то время, когда этот негодяй отдал Францию пруссакам, кровавый крестовый поход, ужасную пропаганду, распространяя во всех коммунах нелепую и вместе с тем гнусную клевету, будто республиканцы, навязав императору эту войну, объединились теперь с немецкими солдатами против него.

Таковы люди, которые благодаря одинаково преступному благодушию или глупости правительства Национальной обороны по сей день стоят во главе всех сель-

ских коммун Франции. Могут ли эти люди, безвозвратно скомпрометировавшие себя, изменить теперь свое мнение, могут ли они, вдруг изменив свою линию, взгляды и речи, действовать как искренние сторонники республики и борцы за спасение Франции? Да крестьяне смеялись бы им в лицо. Поэтому они *вынуждены* говорить и действовать сегодня так, как и прежде, вынуждены отстаивать и защищать дело императора против республики, династии против Франции и дело пруссаков, ныне союзников императора и его династии, против Национальной обороны. Вот чем объясняется, почему все коммуны открывают ворота пруссакам вместо того, чтобы оказывать им сопротивление.

Повторяю еще раз, в этом — величайший позор, огромное несчастье и страшная опасность для Франции; и вся вина за это падает на правительство Национальной обороны. Если дела будут продолжать идти таким же образом, если положение в деревне не изменится в самое ближайшее время, если не удастся поднять крестьян против пруссаков, то Франция безвозвратно погибнет.

Но как поднять крестьян? Я подробно останавливался на этом вопросе в другой брошюре. Здесь же скажу коротко. Без сомнения, первое условие, это — немедленно и в массовом количестве отозвать всех чиновников, находящихся в данный момент в коммунах, потому что, пока эти бонапартисты остаются на местах, сделать ничего нельзя. Но это будет только отрицательной мерой. Она совершенно необходима, но недостаточна. На крестьянина, натуру реалистичную и недоверчивую, можно успешно воздействовать только при помощи положительных средств. Достаточно сказать, что декреты и прокламации, даже подписанные всеми членами правительства Национальной обороны, впрочем, ему совершенно незнакомыми, точно так же и газетные статьи не оказывают на него ровно никакого влияния. Крестьянин не читает. Ни воображением, ни сердцем он не воспринимает идеи, выраженные в литературной или отвлеченной форме. Чтобы повлиять на крестьянина, идеи должны быть выражены в живом слове живых людей и воплощены в делах. Тог-

да он слушает, понимает и в конце концов позволяет себя убедить.

Следует ли посылать в деревню пропагандистов, поборников республики? Это было бы неплохим средством, но здесь есть одна трудность и двойная опасность. Трудность заключается в том, что правительство Национальной обороны, тем ревнивее оберегающее свою власть, чем более она колеблется, и верное своей злополучной системе политической централизации, оказавшись в положении, когда централизация стала совершенно невозможной, захочет само выбрать и назначить всех пропагандистов, или, вернее, оно возложит эту обязанность на своих новых префектов и чрезвычайных комиссаров, почти поголовно исповедующих одну с ней политическую религию, т. е. на буржуазных республиканцев, адвокатов, редакторов газет, иногда бескорыстных (лучших, но не всегда самых разумных), а большею частью и очень даже своекорыстных почитателей республики, о которой они знают не из жизни, а из книг и которая одним сулит славу с ореолом мученика, другим — блестящую карьеру и доходное место. Притом речь идет о республиканцах очень умеренных, *консервативных, рациональных и позитивистских,* каков сам Гамбетта, и в качестве таковых — ожесточенных врагов революции и социализма и уж, конечно, сторонников сильной государственной власти.

Эти почтенные чиновники новой республики, конечно, захотят послать в деревни в качестве миссионеров людей их собственной закваски, тех, кто полностью разделяет их политические убеждения. Для всей Франции их потребовалось бы по меньшей мере несколько тысяч. Где они их возьмут, черт побери? Буржуазные республиканцы теперь так редки, даже среди молодежи! Так редки, что в таком городе, как Лион, например, их не найдется в достаточном количестве для самых важных должностей, которые можно доверить только самым искренним республиканцам.

Первая опасность состоит в следующем: даже если бы префекты и субпрефекты нашли в своих департаментах

достаточное число молодых людей для пропаганды в деревне, эти новые миссионеры были бы, безусловно, почти во всех случаях и повсюду по уровню революционной убежденности и твердости характера ниже по сравнению с пославшими их префектами и субпрефектами, которые, в свою очередь, в этом отношении сами стоят ниже этих никчемных эпигонов великой революции, занимающих сегодня высокие посты членов правительства Национальной обороны и посмевших взять в свои немощные руки судьбы Франции. Так, опускаясь все ниже и ниже, от ничтожества к еще большему ничтожеству, не найдут ничего лучшего, как направить в деревню для пропаганды республики республиканцев типа г-на Андрие, прокурора республики, или г-на Эжена Верона, редактора лионского *Прогресса,* людей, которые от имени республики будут заниматься пропагандой реакции. Как вы думаете, дорогой друг, может ли это расположить крестьян в пользу республики?

Увы, я боюсь обратного. Между хилыми почитателями буржуазной республики, отныне невозможной, и французским крестьянином, который хотя и не *позитивист* и не *рационалист,* как Гамбетта, но тем не менее очень положителен и полон здравого смысла, нет ничего общего. Если бы даже они были воодушевлены лучшими намерениями в мире, они не замедлили бы убедиться, что все их литературное, доктринерское, адвокатское витийство рухнуло бы перед хитроватой замкнутостью неотесанных деревенских тружеников. Расшевелить крестьян возможно, но очень трудно. Для этого прежде всего нужно нести в самом себе глубокую, могучую страстность, которая волнует души и творит то, что в обычной жизни, в однообразном повседневном существовании зовется чудом. Она творит чудеса энергии, преданности, самопожертвования и победного действия. Люди 1792-1793 гг., *особенно Дантон, обладали этой страстностью, и она-то* им и давала силу творить чудеса. Они были неутомимы, и им удалось передать эту энергию всей нации, или, лучше сказать, они сами были наиболее энергичным выражением страсти, охватившей народ.

Среди нынешних или бывших членов радикально-буржуазной партии Франции случалось ли вам знать хоть одного, который бы нес в своем сердце что-то близкое страстности и вере, воодушевлявших людей первой революции, или, может быть, вы хотя бы слышали о таком человеке? Нет ни одного, не правда ли? Позже я изложу вам причины, которым, по-моему, следует приписать этот прискорбный упадок буржуазного республиканизма. Здесь я просто констатирую этот упадок и утверждаю — дальше я это докажу, — что буржуазный республиканизм морально и интеллектуально выродился, утратил разум и силу, стал лживым, подлым, реакционным и, как таковой, полностью вытеснен из исторической реальности революционным социализмом.

Мы с вами, дорогой друг, наблюдали представителей этой партии в самом Лионе. Мы их видели в действии. И что же они говорили, что предприняли, чем продолжают заниматься в условиях ужасного кризиса, угрожающего поглотить Францию? Они насаждают реакцию, мелкую, жалкую реакцию. На большую у них еще не хватает смелости. Не прошло и двух недель, как население Лиона убедилось, что руководители республики и монархии отличаются друг от друга только названием. Та же ревностная забота о сохранении власти, которая ненавидит народ и страшится его контроля, то же недоверие к народу, то же почтение и угодливость перед привилегированными классами. И тем не менее, г-н Шальмель-Лакур, префект, ставший благодаря рабскому малодушию Лионского муниципалитета диктатором этого города, — задушевный друг г-на Гамбетта, его дорогой избранник, конфиденциальный доверенный и точный выразитель самых сокровенных мыслей этого великого республиканца, этого *твердого человека*, от которого Франция тупо ждет своего избавления. А г-н Андрие, нынешний прокурор республики, — прокурор, поистине достойный этого звания, поскольку он обещает скоро превзойти своим ультраюридическим усердием и чрезмерным пристрастием к общественному порядку самых ревностных прокуроров империи, — при прежнем режиме слыл за вольнодумца, за

заклятого врага священников, за преданного сторонника социализма и друга Интернационала. Мне кажется даже, что незадолго до падения империи он был за это удостоен чести попасть в тюрьму, откуда был освобожден ликующим народом Лиона.

Как же так случилось, что эти люди изменились и вчерашние революционеры стали сегодня убежденными реакционерами? Не следствие ли это удовлетворенного честолюбия, того, что, заняв благодаря народной революции довольно высокое и выгодное положение, они во что бы то ни стало стараются удержать его за собой? Да, конечно, честолюбие и корысть — могучие двигатели, развратившие немало людей, но я не думаю, чтобы две недели власти были достаточны, чтобы развратить чувства этих новых чиновников республики. Может быть, они обманывали народ, выдавая себя во время империи за приверженцев революции? Так вот, откровенно говоря, я не могу этому верить. Они не хотели никого обмануть; но они сами обманулись на свой счет, вообразив себя революционерами. Свою ненависть к империи, очень искреннюю, даже если она не была очень действенной и страстной, они приняли за сильную любовь к революции и, строя иллюзии в отношении самих себя, не подозревали, что одновременно были и сторонниками республики, и реакционерами.

«Реакционная идея, — говорит Прудон, — зародилась — пусть народ этого никогда не забывает! — внутри самой республиканской партии». И далее он добавляет, что источником этой идеи «было ее *правительственное рвение*», ее суетливое, мелочное, фанатичное, полицейское усердие, ее деспотизм, под предлогом самого спасения свободы и республики.

Буржуазные республиканцы совершают грубую ошибку, отождествляя *свою* республику со свободой. В этом-то и есть главная причина их иллюзий, когда они в оппозиции, и их разочарования и непоследовательности, когда они у власти. Их республика вся основана на этой идее власти и сильного правительства, правительства, которое должно быть тем более сильно и действенно, что оно

избрано народом; и они не хотят постичь истину, такую простую и притом подтвержденную опытом всех времен и всех стран, что всякая организованная власть, установленная, чтобы управлять народом, неизбежно исключает свободу народа. Единственное назначение политического государства — защищать эксплуатацию народного труда экономически привилегированными классами, поэтому государственная власть может соответствовать свободе только этих классов, чьи интересы она представляет, и по этой же причине она должна быть враждебна свободе народа. Слова «государство», «власть» означают господство, а всякое господство подразумевает существование масс, над которыми господствуют. Следовательно, государство не может доверять стихийным действиям, свободному движению масс, самые кровные интересы которых противоречат его существованию. Государство — их естественный враг, их обязательный угнетатель, и, всячески остерегаясь признать это, оно всегда будет действовать именно так.

Вот чего не понимают молодые сторонники авторитарной или буржуазной республики, пока они остаются в оппозиции и сами еще не попробовали власти. Презирая всем сердцем, со всею страстью, на какую еще способны эти жалкие, выродившиеся и расслабленные натуры, монархический деспотизм, они воображают, что презирают деспотизм вообще. Им очень бы хотелось иметь силу и мужество опрокинуть трон, и потому они считают себя революционерами. Они и не подозревают, что ненавидят не деспотизм, а лишь его монархическую форму и что этот же деспотизм, приняв республиканское обличье, найдет в них самых рьяных приверженцев.

Они не понимают, что деспотизм заключается не столько в *форме* государства или власти, сколько в самом *принципе* государства и политической власти, и что, следовательно, республиканское государство должно быть по своей сущности так же деспотично, как и государство, управляемое императором или королем. Между этими двумя государствами есть только одно реальное различие. Оба равно имеют своей основой и целью экономическое

порабощение масс в интересах имущих классов. Отличаются же они друг от друга тем, что для достижения этой цели монархическая власть, повсюду неизменно стремящаяся к военной диктатуре, не допускает свободы ни одного класса, даже того, который она защищает в ущерб народу. Она хочет и вынуждена служить интересам буржуазии, но она не позволяет ей всерьез вмешиваться в управление делами страны.

Эта система, если она попадает в неумелые или весьма нечестные руки или если она слишком явно противопоставляет интересы династии интересам тех, кто занимается промышленностью и торговлей страны, как это только что случилось во Франции, может причинить большой вред интересам буржуазии. Кроме того, она имеет еще один очень серьезный, с точки зрения буржуа, недостаток: она задевает их тщеславие и гордость. Правда, система защищает их и предоставляет им, с точки зрения эксплуатации труда народа, полную безопасность, но в то же время она их унижает, резко ограничивая их маниакальную рассудительность, а когда они осмеливаются протестовать, она грубо обращается с ними. Это возмущает, конечно, самую пылкую, если хотите, самую великодушную и наименее рассудительную часть буржуазного класса, и таким образом в нем самом из ненависти к этому подавлению образуется республиканско-буржуазная партия.

Чего хочет эта партия? Уничтожения государства? Искоренения эксплуатации народных масс, официально охраняемой государством и гарантируемой им? Действительной и полной эмансипации для всех посредством экономического освобождения народа? Ничуть не бывало. Буржуазные республиканцы — самые непримиримые и злейшие враги социальной революции. Во время политического кризиса, когда они нуждаются в могучих руках народа, чтобы низвергнуть трон, они снисходят до обещания улучшения материального положения этого вызывающего *такой интерес* класса трудящихся. Но так как в то же время они полны решимости сохранить и укрепить все принципы, все *священные основы* существующего обще-

ства, все экономические и правовые институты, которые имеют своим непременным следствием действительное рабство народа, то все их обещания, естественно, всегда обращаются в дым. Обманутый народ ропщет, угрожает, возмущается, и тогда, чтобы предупредить взрыв народного недовольства, они, буржуазные революционеры, вынуждены прибегнуть к репрессивному всемогуществу государства. Отсюда следует, что республиканское государство так же угнетает, как и монархическое, но делает это только в отношении народа и ни в коей мере — в отношении имущих классов.

Поэтому ни одна форма правления не была столь угодна буржуазии и так любима этим классом, как республика, если бы при настоящем экономическом положении Европы она была способна устоять под натиском все более и более угрожающих социалистических стремлений рабочих масс. Если буржуа в чем-нибудь и сомневается, то отнюдь не в добротности республики, в которой все как нельзя более благоприятствует ему, а в ее могуществе как государства, в ее способности выстоять и защитить его от пролетарских бунтов. Вы не встретите ни одного буржуа, который не сказал бы вам: «Республика — прекрасная вещь, но, к сожалению, она невозможна; она недолговечна, потому что она никогда не найдет в себе достаточно силы, чтобы стать настоящим, почтенным государством, способным заставить себя уважать и внушить массам почтение к нам». Обожая республику платоническою любовью, но сомневаясь в ее возможностях или по крайней мере в ее продолжительности, буржуа, следовательно, всегда готов стать под защиту военной диктатуры, которую он ненавидит, которая его оскорбляет, унижает, в конце концов рано или поздно его разорит, но которая по крайней мере предоставляет ему все условия, гарантирующие силу, спокойствие на улицах и общественный порядок.

Это роковое пристрастие большей части буржуазии к военному режиму приводит в отчаяние буржуазных республиканцев. Поэтому они прилагали и продолжают прилагать, особенно в настоящее время, *«сверхчеловеческие»*

усилия, чтобы заставить ее полюбить республику, убедить в том, что, ничуть не вредя интересам буржуазии, республика будет, наоборот, вполне благоприятствовать ей, т. е., иначе говоря, она всегда будет противостоять интересам пролетариата и у нее всегда будет достаточно силы, чтобы заставить народ уважать законы, гарантирующие спокойное экономическое и политическое господство буржуа.

Такова сегодня главная забота всех членов правительства Национальной обороны, так же как и всех префектов, субпрефектов, адвокатов республики и генеральных комиссаров, направленных ими в департаменты. Речь идет не столько о защите Франции от вторжения пруссаков, сколько о том, чтобы доказать буржуа, что они, республиканцы, обладающие в настоящее время государственной властью, имеют твердое намерение и необходимую силу, чтобы предотвратить бунты пролетариата. Станьте на эту точку зрения и вам станут ясны все непонятные ранее действия этих странных защитников и спасителей Франции.

Движимые этим принципом и преследуя эту цель, они невольно тянутся к реакции. Как могли бы они служить революции и вызывать ее, даже если бы они были уверены, как это и случилось сегодня, в том, что революция — единственное средство спасения Франции? Как могли бы эти люди, официально несущие в самих себе паралич и смерть всякого выступления народа, как могли бы они внести жизнь и движение в деревню? Что могли бы они сказать крестьянам, чтобы поднять их против пруссаков, в присутствии этих бонапартистских кюре, мировых судей, мэров и полевых сторожей, к которым они, в силу своего чрезмерного пристрастия к общественному порядку, питают уважение и которые, имея в сельской местности гораздо большее влияние и обладая гораздо большей силой воздействия, чем они, с утра до вечера ведут совершенно иную пропаганду и будут продолжать ее вести? Удастся ли им взволновать крестьян словами, притом что все факты будут находиться с этими словами в противоречии?

Учтите, крестьянин ненавидит все правительства. Он их терпит из осторожности, регулярно платит им налоги, допускает, что берут его сыновей в солдаты, потому что не видит иного выхода, он не способствует никакой перемене, потому что он убежден, что все правительства стоят одно другого и что новое правительство, как бы оно ни называлось, будет не лучше старого, и потому что он хочет избежать риска и издержек, связанных с бесполезной переменой. Впрочем, из всех режимов для него ненавистнее всего республиканское правительство, потому что оно напоминает ему о добавочных сантимах 1848 года. К тому же в течение двадцати лет это правительство чернили в его глазах. Для него это — пугало, прежде всего потому, что представляет в его глазах режим насилия, разорительных набегов, режим, который не приносит никакой выгоды, а только материальные убытки. Республика для него — это господство того, что он более всего ненавидит. Это — диктатура городских адвокатов и буржуа, а уж раз необходима диктатура, то его дурной вкус сказывается в предпочтении сабельной диктатуры.

Как же после этого надеяться, что *официальным* представителям республики удастся склонить к ней крестьянина? Если он почувствует себя сильным, он будет насмехаться над ними и выгонит их из своей деревни; в противном же случае он замкнется в своем молчании и бездействии. Посылать буржуазных республиканцев, адвокатов или редакторов в деревню для пропаганды республики значило бы нанести ей смертельный удар.

Но что же тогда делать? Есть только одно средство: революционизировать деревни так же, как и города. А кто может это сделать? Единственный класс, который в настоящее время действительно и искренне несет в себе революцию, — это класс трудящихся городов.

Но как могут трудящиеся приняться за революционизирование деревни? Пошлют ли они в каждую деревню отдельных рабочих для пропаганды республики? Но откуда они возьмут деньги, необходимые для этой пропаганды? Правда, гг. префекты, субпрефекты и генеральные комиссары могли бы послать их за счет государства. Но

тогда они были бы посланцами не рабочего мира, а государства, что коренным образом изменило бы их особенности, их роль и даже сам характер их пропаганды, которая вследствие этого непременно стала бы реакционной вместо революционной, потому что первое, что они должны были бы сделать, — внушить крестьянам доверие ко всем вновь учрежденным или сохраненным республикой органам власти, следовательно, и к бонапартистским властям, отрицательное воздействие которых продолжает еще сказываться в деревне. Впрочем, очевидно, что гг. супрефекты, префекты и генеральные комиссары согласно естественному закону, по которому каждый предпочитает то, что ему нравится, а не то, что ему претит, выбрали бы для выполнения роли пропагандистов республики рабочих наименее революционных, наиболее послушных и угодливых. Это была бы опять-таки реакция в рабочем обличье, а мы уже сказали, что одна только революция может революционизировать деревню.

Наконец, следует добавить, что пропаганда отдельных лиц, если бы даже она велась самыми революционными людьми на свете, не могла бы оказать большого влияния на крестьян. Красноречие их совсем не привлекает, и, если слова не являются проявлением силы и не сопровождаются непосредственно делами, они остаются для них только словами. Рабочий, явившийся в деревню один для произнесения речей, подвергся бы риску быть осмеянным и изгнанным, как буржуа.

Так что же надо делать?

Для пропаганды революции в деревне нужно посылать волонтеров.

Общее правило: кто хочет пропагандировать революцию, тот сам должен быть истинным революционером. Чтобы поднять людей, надо самому быть очень деятельным, неутомимым, иначе это только пустые слова, бесполезный шум, а не действия. Итак, прежде всего волонтеры-пропагандисты должны быть сами революционно настроены и организованы. Они должны нести революцию в своем сердце, чтобы создать революционное настроение вокруг себя. Затем они должны выработать

систему, линию поведения в соответствии с поставленною перед собой целью.

Какова же эта цель? Это — не навязать революцию деревне, а вызвать, возбудить ее там. Революция, навязанная *официальными предписаниями* или вооруженною силою,— это уже не революция, а нечто прямо ей противоположное, ибо такая революция непременно приводит к реакции. Кроме того, волонтеры должны в деревне представлять внушительную силу, способную заставить уважать себя. Это необходимо, конечно, не для принуждения, а для того, чтобы не возникло желания посмеяться над ними или дурно с ними обойтись, прежде чем выслушать их, — а это легко могло бы случиться с пропагандистами, действующими в одиночку, не поддержанными внушительной силой. Крестьяне неотесанны, а грубые натуры легко подчиняются престижу и демонстрации силы; потом они могут восстать против нее, если эта сила навязывает им условия, совершенно противоположные их инстинктам и интересам.

Вот чего должны остерегаться волонтеры. Они не должны ничего навязывать и должны все пробуждать. Первое, что они могут и, разумеется, должны сделать, — это устранить все, что могло бы помешать успеху пропаганды. Так, они должны начать с устранения без кровопролития всей администрации коммун, неизбежно зараженной бонапартизмом, а возможно, и легитимизмом или орлеанизмом. Они должны изгнать, если нужно, арестовать гг. чиновников в коммунах, а также всех реакционно настроенных крупных собственников, а с ними и господина кюре *ни по какой иной причине, как только за тайное соглашение с пруссаками*. Легальный муниципалитет должен быть заменен революционным комитетом, сформированным из небольшого числа наиболее энергичных и искренне принявших революцию крестьян.

Но прежде чем учреждать этот комитет, надо совершить переворот в настроениях если не всех, то по крайней мере у подавляющего большинства крестьян. Необходимо, чтобы это большинство охватила революционная страсть. Как совершить это чудо? Надо заинтересовать.

Говорят, что французский крестьянин жаден; так вот, надо сделать так, чтобы именно в силу своей алчности он был заинтересован в революции. Необходимо предложить и немедленно дать ему большие материальные преимущества.

Пусть не сетуют на безнравственность подобной системы. В наши дни — имея перед собой примеры, которые являют нам все милостивейшие властители, в чьих руках судьбы Европы, их правительства, генералы, министры, крупные и мелкие чиновники, все привилегированные классы, духовенство, дворянство, буржуазия — было бы неумно возмущаться против нее. Это было бы совершенно бесполезным лицемерием. Сегодня материальные интересы правят всеми, ими объясняется все. И так как материальные интересы и корыстолюбие крестьян теперь губят Францию, почему бы интересам и корыстолюбию крестьян не спасти ее? Тем более, что один раз они ее уже спасли, в 1792 году.

Вот что говорит по этому поводу великий французский историк Мишле, которого никто, конечно, не обвинит в безнравственном материализме:

«Никогда не было такой пахоты, как в октябре 91 г., когда хлебопашец, серьезно предупрежденный событиями в Варение и Пильнице, впервые призадумался над грозившими ему опасностями, над тем, что у него хотят отнять завоевания революции. Его труд, вдохновленный воинственным негодованием, в мыслях представлялся ему боевым походом. Он пахал, как солдат, шел за сохою военным шагом и, суровее обыкновенного стегая кнутом своих быков, кричал одному: «Но-о, Пруссия!», а другому: «Вперед, Австрия!». Бык шел, как боевой конь, лезвие жадно и быстро врезалось в землю, черная борозда дымилась дыханием жизни.

Не мог этот человек, в котором впервые проснулось человеческое достоинство, терпеливо ждать, пока у него отнимут *то, чем он недавно стал владеть. Свободный и идущий по свободному полю, он, ступая ногой, чувствовал под собою землю без податей и десятинного сбора, землю, которая уже принадлежит ему или будет принадлежать*

ему завтра... Нет больше господ! Все господа! Все короли, каждый на своей земле. Сбывается старая поговорка: *бедный человек — в своем доме король.*

В своем доме и вне его. Разве вся Франция теперь не его дом?»

И далее, где он говорит о впечатлении, произведенном на крестьян вторжением Брауншвейга:

«Вступив в Верден, Брауншвейг так удобно устроился, что остался там на неделю. Уже там эмигранты, окружавшие прусского короля, начали ему напоминать о данных им обещаниях. Принц сказал при отъезде странные слова (Гарденберг слышал их) о том, что он «не будет вмешиваться в управление Францией, а только возвратит королю абсолютную власть». Возвратить королю королевскую власть, церкви — священникам, *собственность — собственникам* — в этом заключалось все его честолюбие. И за все эти благодеяния чего требовал он от Франции? Никаких территориальных уступок. Пруссии должны быть только возвращены издержки войны, предпринятой для спасения Франции.

Эта короткая фраза, *возвратить собственность,* заключала в себе многое. Крупным собственником было духовенство; речь шла о том, чтобы возвратить ему *имущество в четыре миллиарда, возвратить все то, что было продано на миллиард* уже в январе 92 г. и что за истекшие с тех пор девять месяцев возросло в громадных размерах. Что должно было статься с бесчисленными контрактами, которые были прямым или косвенным следствием этой операции? При этом был бы нанесен ущерб не только тем, кто приобрел, но и тем, кто давал им взаймы деньги, и тем, кому они перепродали, и множеству других лиц... множеству людей, *действительно связанных с Революцией* значительным интересом. *Этим владениям,* которые уже несколько веков не служат цели, поставленной их благочестивыми основателями, *Революция вернула их истинное назначение: обеспечить жизнь и содержание бедняка. Они перешли из мертвых рук в живые,* от лентяев к труженикам, *от развратных аббатов, пузатых каноников, чванливых епископов к честному хлебопашцу. В этот короткий промежуток*

времени возникла новая Франция. А эти невежды (эмигранты), которые привели иностранца, и не подозревали об этом...

Услышав многозначительные слова о восстановлении священников, о возврате к старому и т. д., крестьянин навострил уши и понял, что во Франции начинается контрреволюция, что близятся большие перемены, касающиеся и *вещей,* и людей. Не все имели ружья, но у кого они были, тот взялся за оружие, у кого были вилы, тот взял вилы, у кого коса, тот взял косу. Что-то происходило на французской земле. Казалось, она сразу менялась там, где проходил иностранец. Она обратилась в пустыню. Хлеб с полей исчез, как будто бы его унес ураган; он был увезен на запад. На своем пути враг встречал только одно: зеленый виноград, болезнь и смерть».

А еще далее Мишле рисует такую картину восстания французских крестьян:

«Население стремилось к бою с таким увлечением, что власти начинали бояться этого и удерживали его. Беспорядочные массы, почти невооруженные, устремлялись к одному и тому же месту; не знали, где их поместить и чем кормить. На востоке, главным образом в Лотарингии, холмы и все возвышенные участки превратились в лагеря, наскоро укрепленные срубленными деревьями, вроде наших древних лагерей времен Цезаря. Если бы это увидел Верцингеториг, он решил бы, что находится в центре Галлии. Немцам было над чем призадуматься, когда они проходили мимо, оставляя позади себя эти народные лагеря. Каково-то им будет возвращаться? Каково должно было бы быть их бегство в окружении этих враждебных масс, которые хлынут на них, как вешние воды?.. Они должны были заметить, что им придется иметь дело не с армией, а с Францией».

Почему в 1792 году крестьяне поднялись против пруссаков, и почему теперь они остаются не только инертными, но скорее даже благожелательными к тем же пруссакам и враждебными к той же республике? О, ведь для них это уже не та самая республика. Республика, основанная Национальным Конвентом 22 сентября 1792 года, была

именно народной и революционной. Она представила народу огромный или, как говорит Мишле, *значительный*, интерес. Путем конфискации в большом количестве прежде всего церковных владений, а затем имений эмигрировавших, восставших, подозреваемых в измене, гильотинированных дворян она дала ему землю, и, чтобы сделать невозможным возврат этой земли ее прежним владельцам, народ поднялся всей массой. Между тем теперешняя республика — вовсе не народная, напротив, она полна неприязни и недоверия к народу, эта республика адвокатов, Несносных доктринеров, провозглашенная буржуазной, ничего не дает народу, кроме фраз, роста налогов и опасностей, без какой бы то ни было компенсации.

Крестьянин не верит в эту республику, хотя и по другим причинам, чем буржуа. Он не верит в нее именно потому, что находит ее слишком буржуазной, слишком благоприятной для буржуазии, и он питает к буржуазии в глубине своего сердца мрачную ненависть, которая, проявляясь в несколько иной форме, чем ненависть городских рабочих к этому потерявшему уважение классу, тем не менее также сильна.

Крестьяне, по крайней мере огромное большинство крестьян — этого никогда не надо забывать, — хотя и стали собственниками, но тем не менее *живут трудами своих рук*. Это резко отделяет их от класса буржуазии, большая часть которого живет прибыльной *эксплуатацией труда народных масс*, а, с другой стороны, объединяет с городскими трудящимися, несмотря на все различие их положений, которое не в пользу рабочих, несмотря на все различие идей и расхождение в принципах, которое, к сожалению, возникает слишком часто.

Городских рабочих от крестьян особенно отдаляет некий *аристократизм ума*, кстати, почти безосновательный, которым они часто кичатся перед крестьянами. Рабочие, несомненно, более начитанны, их ум более развит, знания и идеи более широки. Пользуясь этим небольшим превосходством, они иногда обходятся с крестьянином свысока, пренебрежительно. И, как я уже отметил в другой статье, рабочие в этом случае совершенно неправы;

так как по той же причине буржуа, которые гораздо более развиты и образованны, чем рабочие, имели бы еще больше оснований относиться к этим последним свысока. И буржуа, как известно, не упускают случая показать свое превосходство.

Позвольте мне, дорогой друг, повторить здесь несколько страниц из статьи, о которой я только что упомянул. «Крестьяне, — писал я в этой брошюре, — считают городских рабочих *приверженцами раздела земли* и боятся, как бы социалисты не конфисковали их земли, которые они ценят превыше всего. Что же должны предпринять рабочие, чтобы преодолеть недоверие и враждебность крестьян к ним? Прежде всего, перестать выражать им свое пренебрежение, перестать презирать их. Это необходимо для спасения революции, ибо ненависть крестьян несет в себе огромную опасность. Не будь этого недоверия и этой ненависти, революция совершилась бы уже давно, так как, к сожалению, враждебное отношение деревни к городу составляет не только во Франции, но и в других странах основу и главную силу реакции. Поэтому в интересах революции, которая их освободит, рабочие должны как можно скорее перестать выражать это презрение к крестьянам. Справедливость требует этого, потому что на самом деле у рабочих нет никакого основания презирать и ненавидеть крестьян. *Крестьяне не лежебоки, они такие же неутомимые труженики, как и рабочие*; только работа их ведется при иных условиях, вот и все. *Перед лицом буржуа-эксплуататора рабочий должен чувствовать себя братом крестьянина.*

Крестьяне встанут вместе с городскими рабочими на защиту родины, как только они убедятся, что *городские рабочие не стремятся навязать им ни своей воли, ни какого бы то ни было политического и социального строя, придуманного городом для вящего благополучия деревни, как только у них явится уверенность, что рабочие не имеют никаких притязаний на их землю.*

Итак, самое необходимое в данное время — это чтобы рабочие действительно отказались от всех подобных притязаний и намерений и отказались бы так, чтобы крестьяне

знали об этом и действительно убедились в этом. Рабочие должны отказаться от этого, ибо если бы даже подобные притязания были осуществимы, они бы оказались в высшей степени *несправедливы и реакционны.* А теперь, когда это абсолютно невозможно, они стали бы просто преступным безумием.

По какому праву рабочие стали бы навязывать крестьянам какую-либо форму правления и организации? По праву революции, скажут нам. Но революция перестает быть революцией, если вместо того, чтобы звать массы к свободе, она вызывает в их среде реакцию. Средство и условие, если не сказать, главная цель революции, это — отрицание принципа авторитета во всевозможных его проявлениях, это — полное уничтожение политического и правового государства, потому что государство, младший брат церкви, как это хорошо показал Прудон, есть историческое закрепление всякого деспотизма, всех привилегий, политическая основа всякого экономического и социального порабощения, сущность и средоточие всякой реакции. Устраивая именем революции государство, хотя бы временное, тем самым создают реакцию и деспотизм, а не свободу, привилегии, а не равенство. Это ясно, как Божий день. Но французские рабочие-социалисты, воспитанные в политических традициях якобинцев, никогда не хотели этого понять. Теперь они будут вынуждены это понять во благо революции и их самих. Откуда явилось у них это притязание, настолько же смешное, как и высокомерное, настолько же несправедливое, как и пагубное, навязать свой политический и социальный идеал десяти миллионам крестьян, не желающих его? Очевидно, это также наследие буржуазии, политическое завещание буржуазной революционности. Каково же объяснение, какова же теоретическая основа этого притязания? Это не более как мнимое или хотя бы даже действительное превосходство ума, образования, одним словом, цивилизации рабочих над цивилизацией деревни. Но разве вы не знаете, что этот же принцип может оправдать все завоевания и всякого рода притеснения? У буржуа,

например, никогда и не было иного принципа для доказательства своего призвания *управлять* или — что одно и то же — эксплуатировать рабочих. Переходя от одной нации к другой, от одного класса к другому, этот роковой принцип, представляющий из себя не что иное, как принцип авторитета, объясняет и возводит в право все захваты и завоевания. Разве не им руководствовались немцы для осуществления всех своих посягательств на свободу и независимость славянских народов, разве не им оправдывают они все жестокости насильственной германизации? Это, говорят они, победа цивилизации над варварством. Берегитесь! Немцам начинает приходить в голову и то, что германская протестантская цивилизация вообще гораздо выше католической цивилизации, представителями которой являются народы латинской расы, в частности французской цивилизации. Берегитесь, как бы им вскоре не пришло в голову, что их назначение просветить и осчастливить вас, подобно тому, как вы воображаете, что ваша миссия состоит в том, чтобы цивилизовать и осчастливить ваших соотечественников, ваших братьев, французских крестьян. По-моему, как то, так и другое притязание одинаково гнусно, и я заявляю вам, что и в международных отношениях, и в отношениях между классами к всегда буду на стороне тех, кого хотят цивилизовать таким способом. Я восстану вместе с ними против всех этих высокомерных цивилизаторов, будь то рабочие или немцы, и, восстав против них, я тем самым буду служить делу революции против реакции.

Но даже если это и так, возразят мне, разве можно оставить невежественных и суеверных крестьян под влиянием реакции, во власти ее происков? Конечно, нет Нужно уничтожить реакцию как в деревне, так и в городе; но это надо сделать фактически, а не объявляя ей вой ну посредством декретов. Повторяю, декретами ничего нельзя уничтожить. Наоборот, декреты и всякие авторитарные акты укрепляют то, что они хотят разрушить.

Вместо того чтобы стремиться отобрать у крестьян земли, которыми они в настоящее время владеют, предоставьте им следовать природному инстинкту, и знаете, что

произойдет тогда? Крестьянин хочет, чтобы *вся земля* принадлежала ему; в каждом знатном вельможе и богатом буржуа, обширные владения которых, обрабатываемые наемными работниками, уменьшают его поле, он видит чуждого ему человека и узурпатора. Революция 1789 г. дала крестьянам церковные земли; *они захотят воспользоваться другой революцией, чтобы завладеть землями знати и буржуазии.*

Но если бы это случилось, если бы крестьяне присвоили себе все земли, которые им еще не принадлежат, не привело бы это к губительному укреплению принципа индивидуальной собственности и не стали бы крестьяне еще более враждебны по отношению к городским рабочим — социалистам?

Вовсе нет, потому что, *если государство уничтожено, то с его стороны нет политического, правового закрепления, гарантии собственности. Не будучи кодифицированной, она сведется просто к факту.*

Тогда начнется гражданская война, скажете вы. Если личная собственность не будет более гарантирована никакой высшей властью, властью политической, административной, юридической и полицейской, и будет защищена только силою энергии владельца, то каждый захочет завладеть имуществом другого, более сильные будут грабить более слабых.

Разумеется, с самого начала события не будут происходить исключительно мирным путем: не обойдется без борьбы; *общественный порядок,* этот ковчег завета буржуазии, будет нарушен, и первые результаты подобного состояния дел приведут к тому, что принято называть гражданской войной. Но неужели вы предпочитаете отдать Францию пруссакам?..

Впрочем, не бойтесь, что крестьяне разорвут друг друга; если б у них и было даже это намерение вначале, они не преминули бы скоро убедиться в материальной невозможности упорствовать в этом направлении, и после этого можно быть уверенным, что они постараются договориться друг с другом, пойти друг другу на уступки и организоваться. Потребность кормиться и кормить свои

семьи и, следовательно, необходимость продолжать полевые работы, оберегать свой дом, жизнь своих близких и свою собственную от неожиданных нападений — все это, несомненно, скоро заставит их вступить на путь взаимных договоренностей.

И вовсе не надо думать, что в этих соглашениях, *заключаемых вне всякой официальной опеки,* единственно силою вещей наиболее богатые и сильные получат преимущества. Богатство богатых, не защищенное более правовыми институтами, потеряет свою силу. В настоящее время богатые имеют влияние только потому, что благодаря угодничеству государственных чиновников они находятся под особым покровительством государства. Раз у них не будет этой опоры, их могущество тотчас исчезнет. Что же касается наиболее ловких и сильных, то они будут сметены коллективной силой массы малоимущих и беднейших крестьян, а также массы сельских пролетариев, обреченных ныне на молчаливое страдание, но которых революционное движение наделит неодолимой силой.

Я не утверждаю — заметьте, — что при такой переделке деревни снизу доверху она сразу создаст совершенную организацию, соответствующую по всем пунктам тому идеалу, о котором мы мечтаем. В одном убежден я: это будет *живая* организация и как таковая она станет в тысячу раз выше существующей теперь. Притом, поскольку эта новая организация останется вполне доступной для городской пропаганды и не будет более закреплена и, так сказать, не закостенеет благодаря юридической санкции государства, она будет свободно и безгранично прогрессировать, развиваться и совершенствоваться и при этом будет всегда живой и свободной, не декретированной и юридически не оформленной, до тех пор пока не достигнет такого совершенства, о котором мы в настоящее время можем только мечтать.

Так как спонтанная жизнь и деятельность, на долгие века прерванная всепоглощающим действием государства, вернется в коммуны, то естественно, что каждая коммуна возьмет за отправную точку своего нового раз-

вития не то мнимое интеллектуальное и моральное состояние, которое официальная фикция считала уже достигнутым, но действительное, реальное состояние своей цивилизованности, а поскольку степень действительной цивилизованности весьма различна в различных коммунах Франции, как и вообще всей Европы, то следствием этого неизбежно явится большая разница в развитии. Но взаимопонимание, гармония и равновесие, установленное с общего согласия, заменят искусственное и насильственное единство государств. Начнется новая жизнь, зародится новый мир...

Вы можете мне сказать: «Но разве это революционное движение, эта внутренняя борьба, которая неизбежно должна разгореться при разрушении политических и правовых институтов, не ослабит защиту отечества и, вместо того, чтобы способствовать изгнанию пруссаков, не облегчит ли она, наоборот, завоевание Франции?»

Вовсе нет. Опыт истории показывает, что нации достигают вершины своего могущества во внешней политике именно в эпохи внутренних смут и волнений и, наоборот, оказываются всего бессильнее в эпохи кажущегося единства и спокойствия под чьей-нибудь властью. Да иначе и быть не может: борьба — это работа мысли, это жизнь, а деятельная и живая мысль — это сила. Чтобы убедиться в этом, сравните несколько эпох вашей истории. Возьмите Францию молодого Людовика XIV, только что покончившую с Фрондой, закаленную в этой борьбе, и Францию, когда этот король был уже старым, твердо установившуюся монархию, объединенную и умиротворенную *великим королем.* Первая блистает победами, вторая, идя от поражения к поражению, клонится к упадку. Сравните также Францию 1792 года с сегодняшней Францией. Если когда-нибудь Францию раздирала гражданская война, так это было в 1792 и 1793 годах: движение, борьба, борьба не на жизнь, а на смерть кипела по всей республике, и, однако, Франция победоносно отразила нападение почти всей Европы, образовавшей коалицию против нее. В 1870 году Франция, объединенная и умиротворенная империей, терпит поражение от

немецких войск и до такой степени деморализована, что приходится опасаться за ее существование».

Здесь возникает вопрос: революция 1792 и 1793 годов могла дать крестьянам, не даром, но по очень низкой цене, национальные владения, т. е. церковные земли и земли эмигрировавшего дворянства, конфискованные государством. Теперь же, возразят мне, крестьянам больше нечего дать. Найдется, если поискать! Разве церковь и монашеские ордена обоего пола не стали снова очень богатыми благодаря преступному потворству законной монархии и особенно Второй империи? Правда, большая часть их богатств была весьма благоразумно мобилизована в предвидении возможных революций. Церковь, которая наряду со своими небесными заботами никогда не пренебрегала материальными интересами и всегда славилась хитроумностью своих экономических спекуляций, конечно, поместила большую часть своих земных благ, которые она продолжает ежедневно приумножать для блага несчастных и бедных, во всякого рода коммерческие, промышленные и банковские предприятия, как общественные, так и частные, и в ренты всех стран, так что понадобилось бы ни больше ни меньше, как всеобщее банкротство, неизбежное следствие всеобщей социальной революции, чтобы лишить ее этого богатства, составляющего в настоящее время главное орудие ее могущества, увы, еще слишком значительного. Верно и то, что она владеет в настоящее время, особенно на Юге Франции, обширными земельными участками и сооружениями, а также большим количеством украшений и принадлежностей культа, настоящими сокровищами из серебра, золота и драгоценных камней. Так вот, все это может и должно быть конфисковано, но не в пользу государства, а коммунами.

Затем есть еще собственность тысяч бонапартистов, которые в продолжение двадцати лет императорского режима всеми силами его поддерживали и которым империя явно покровительствовала. Конфисковать эту собственность было и остается не только правом, но и долгом, потому что бонапартистская партия — это не обычная в

историческом смысле партия, органически и закономерно возникшая в результате последовательного религиозного, политического и экономического развития страны и основанная на каком-либо национальном принципе, истинном или ложном. Это — шайка разбойников, убийц и воров, которая, опираясь, с одной стороны, *на реакционную подлость буржуазии, дрожащей перед красным призраком и обагрившей руки кровью парижских рабочих*, а с другой — на благословение священников и преступное честолюбие высших офицеров, ночью завладела Францией. «Дюжина светских Robert Macaire'os, разоренных и потерявших доброе имя, объединенных пороком и нуждой, чтобы вернуть себе положение и богатство, не остановилась перед одним из самых ужасных из известных истории покушений. Разбойники восторжествовали. Они нераздельно царствуют вот уже восемнадцать лет над прекраснейшей страной Европы, страной, на которую Европа по справедливости смотрит как на центр цивилизованного мира. *Они создали официальную Францию по своему образу и подобию.* Внешне они сохранили почти нетронутыми институты и установленный порядок вещей, но они лишили их самой сущности, низведя до уровня собственных понятий и нравов. Все старые слова остались. По-прежнему говорят о свободе, справедливости, достоинстве, праве, цивилизации и гуманности; но смысл этих слов совершенно изменился в их устах, так что каждое слово означает в действительности нечто противоположное тому, что оно должно выражать; можно было бы сказать, что это общество бандитов по какой-то злой иронии употребляет самые благородные выражения для обсуждения самых гнусных намерений и действий. Не таков ли еще и в настоящее время характер императорской Франции? Есть ли, например, что-нибудь презреннее и отвратительнее, чем императорский сенат, составленный согласно конституции *из всех знаменитостей страны?* Не есть ли это, как всем известно, дом инвалидов для всех сообщников преступления, для всех пресыщенных героев декабря? Известно ли что-нибудь более бесчестное, чем правосудие империи, чем все эти суды и магистраты, единственной обязанно-

стью которых является поддерживать во всех случаях и во что бы то ни стало беззакония креатур империи?».

Вот что писал один из моих ближайших друзей в марте месяце, когда империя была еще в полном расцвете. То, что он говорил о сенаторах и судьях, одинаково относится ко всему официальному и официозному миру, к военным и гражданским чинам в коммунах и департаментах, ко всем преданным избирателям, равно как и ко всем депутатам-бонапартистам. Разбойничья шайка, вначале немногочисленная, с каждым годом все увеличивалась, привлекая в свою среду возможностью легкой наживы все негодные и развращенные элементы, и, затем, сплотивши их солидарностью в подлости и преступлении, кончила тем, что распространилась на всю Францию, опутав ее своими щупальцами, как огромная рептилия.

Вот что называют бонапартистской партией. Если когда-либо существовала преступная и губительная для Франции партия, то это именно бонапартисты. Эта партия не только лишила ее свободы, испортила ее характер, развратила ее совесть, принизила ее ум, опозорила ее имя; занимаясь в течение восемнадцати лет безудержным грабежом, она уничтожила богатство и силу Франции, а затем, доведя ее до упадка, отдала на произвол пруссаков. И теперь еще, когда можно было бы подумать, что эту партию терзают муки совести, что она должна была бы умереть от стыда, исчезнуть от сознания своей подлости, быть раздавленной всеобщим презрением, после нескольких дней кажущегося бездействия и молчания она снова поднимает голову, осмеливается снова говорить, открыто злоумышляет против Франции, принимая сторону подлого Бонапарта, с этого времени союзника и протеже пруссаков.

Это непродолжительное затишье и бездействие были вызваны не раскаянием, а исключительно ужасным страхом, испытанным при первом взрыве народного негодования. В первых числах сентября бонапартисты поверили в реальность революции и, хорошо сознавая, что нет такого наказания, которого бы они не заслужили, они бежали и попрятались, как подлые трусы, содрогаясь перед спра-

ведливым народным гневом. Они знали, что революция фраз не любит и, пробудившись от сна и начав действовать, народ не станет шутить. Бонапартисты сочли себя поэтому политически уничтоженными и в первые дни провозглашения республики только и думали, как бы понадежнее спрятать награбленные богатства и свои драгоценные особы.

Они были приятно удивлены, увидев, что они могут без всякого затруднения и без малейшей опасности открыто демонстрировать и то и другое. Как в феврале и марте 1848 года буржуазные доктринеры и адвокаты, стоящие ныне во главе нового временного республиканского правительства, вместо того, чтобы принять спасительные меры, стали довольствоваться фразами. Незнакомые с революционной практикой и истинным положением Франции, испытывая лишь ужас перед революцией, подобно своим предшественникам, гг. Гамбетта и К° захотели удивить мир рыцарским великодушием, не только несвоевременным, но и преступным; это явилось истинным предательством Франции, так как они выказали доверие и дали оружие в руки ее самому опасному врагу — шайке бонапартистов.

Движимое этим тщеславным желанием, этими фразами, правительство Национальной обороны приняло все необходимые меры, на этот раз даже весьма энергичные, к тому, чтобы господа бонапартистские разбойники, грабители и воры, могли спокойно покинуть Париж и Францию, захватив с собою их движимое имущество и поручив свои дома и земли, которых нельзя было увезти с собой, его особому попечению. Свою поразительную заботливость об этой шайке убийц Франции они довели до того, что рисковали потерять свою популярность, оказывая ей покровительство вопреки совершенно законному негодованию и недоверию народа. В частности, во многих провинциальных городах народ, ничего не понимающий в этом смешном проявлении столь неуместного великодушия, раз поднявшись, чтобы действовать, и идя прямо к цели, арестовал нескольких высших чиновников империи, особенно отличившихся низостью и

жестокостью своих официальных и частных действий. Как только правительство Национальной обороны и главным образом г-н Гамбетта как министр внутренних дел узнали об этом, он, воспользовавшись властью диктатора, которую считал возложенною на него народом и которую, по странному противоречию, считал нужным употреблять только против народа собственных провинций, а не в своих дипломатических отношениях с иностранным завоевателем, поспешил отдать решительный и высокомерный приказ немедленно освободить всех этих мерзавцев.

Вы, конечно, помните, дорогой друг, сцены, происходившие во второй половине сентября в Лионе вслед за освобождением бывшего префекта, генерального прокурора и имперских жандармов. Эта мера, исходившая непосредственно от г-на Гамбетта и с усердием и радостью приведенная в исполнение г-ном Андрие, прокурором республики, не без помощи муниципального совета, тем более возмутила народ Лиона, что в это же время в крепости этого города сидели закованные в кандалы солдаты, единственное преступление которых состояло в открытом выражении симпатий к республике и освобождения которых уже в течение нескольких дней народ тщетно добивался.

Я еще вернусь к этому случаю, в котором впервые ясно обнаружилась неизбежность разрыва между народом Лиона и республиканскими властями, как городскими выборными, так и назначенными правительством Национальной обороны. Теперь же, дорогой друг, я только хочу обратить ваше внимание на более чем странное противоречие, существующее между исключительной, чрезмерной, скажу больше, непростительной терпимостью этого правительства по отношению к людям, разорившим, опозорившим и предавшим страну и продолжающим еще и теперь ее предавать, и драконовской строгостью, проявляемой им в отношении республиканцев, несравненно более революционных, нежели оно само. Можно подумать, что диктаторская власть дана ему не революцией, а реакцией с единственной целью свирепствовать против революции и

что оно носит имя республиканского правительства лишь для того, чтобы продолжать маскарад империи.

Можно подумать, что оно освободило и выпустило из тюрем наиболее усердных и самых скомпрометированных слуг Наполеона III лишь затем, чтобы освободить место для республиканцев. Вы сами были свидетелем, а отчасти и жертвой жестокости и усердия при преследовании, изгнании, арестах и заключении в тюрьму республиканцев. Не довольствуясь этими *официальными и легальными мерами,* преследователи прибегли к самой гнусной клевете. Они осмелились утверждать, что эти люди, отважившиеся среди официальной лжи, унаследованной от империи и продолжающей разрушать последние надежды Франции, говорить правду, всю правду народу, были платными агентами пруссаков.

Они освобождают бонапартистов, доморощенных пруссаков, явных, общеизвестных, потому что кто же теперь может сомневаться в явном союзе Бисмарка с приверженцами Наполеона III? Они сами устраивают иностранное вторжение; во имя не знаю уж какой смехотворной законности и ради поддержания правительственного авторитета, существующего только на словах и на бумаге, они повсюду парализуют народное движение, бунты, стихийное вооружение и организацию коммун, которые при настоящих ужасных обстоятельствах только и могли бы спасти Францию; и уже этим они, члены правительства Национальной обороны, сами предают ее в руки пруссаков. Не довольствуясь арестами настоящих революционеров за то единственное преступление, что те посмели разоблачить их неспособность, бессилие и злонамеренность и указали единственный путь спасения Франции, они позволяют бросать им в лицо грязное прозвище пруссаков. О, как прав был Прудон, говоря (позвольте мне привести здесь весь этот отрывок; мысли, высказанные в нем, настолько верны и выражены так ярко, что жаль пропустить из него хоть одно слово):

«Увы! Предателями всегда могут быть только свои. В 1848 г., как и в 1793 г., революцию тормозили те, кто были ее представителями. Наш республиканизм, как и старое

якобинство, есть *не что иное, как буржуазная прихоть* без принципа и плана, *которая и хочет, и не хочет*; всегда ворчит, подозревает и тем не менее все-таки остается в дураках; *видит повсюду, кроме своей партии, только крамольников и анархистов*; роясь в полицейских архивах, умеет в них находить лишь настоящие или мнимые погрешности патриотов; запрещая культ Шателя, заставляет парижского архиепископа служить обедни; *боится называть вещи своими именами из страха скомпрометировать себя; воздерживается от всего, никогда ничего не решает, не доверяет ясным доводам и точным положениям.* Не есть ли это все тот же Робеспьер, *краснобай без инициативы*, находящий, что Дантон слишком тверд, *порицающий великодушную отвагу, на которую он чувствует себя неспособным*, уклоняющийся от событий 10 августа (как г-н Гамбетта и К° до 4 сентября), не одобряющий, но и не осуждающий сентябрьскую резню (как эти же граждане — провозглашение республики народом Парижа), подающий голос за конституцию 93 года и в то же время за ее отсрочку до полного восстановления мира, омрачающий праздник *Разума* и устраивающий праздник *Верховного Существа*, преследующий Каррье и поддерживающий Фукье-Тинвилля; утром обнимающий в знак примирения Камилла Демулена, а ночью приказывающий арестовать его; предлагающий отмену смертной казни и составляющий закон 22 Прериаля, превозносящий поочередно Сийеса, Мирабо, Барнава, Петиона, Дантона, Марата, Эбера и приговаривающий одного за другим к смертной казни: Эбера, Дантона, Петиона, Барнава, первого — как анархиста, второго — как слишком снисходительного, третьего — как федералиста, четвертого — как конституционалиста; *почитающий только правящую буржуазию* и строптивое духовенство; *дискредитирующий революцию* то путем установления церковной присяги, то посредством выпуска ассигнаций; щадящий лишь тех, кто находит свое прибежище в молчании или самоубийстве, и умирающий, *наконец, в тот день, когда, оставшись один с людьми, принадлежащими к золотой середине, он вместе с ними собирался извлечь из революции свою выгоду»*.

О да, главной особенностью всех буржуазных республиканцев, верных учеников Робеспьера, является их неизменное пристрастие к авторитету Государства и ненависть к Революции. Эта ненависть и это пристрастие у них общие с монархистами всех оттенков, включая и бонапартистов; и вот именно это-то сходство чувств, эта инстинктивная и скрытая солидарность заставляет их быть такими снисходительными и такими великодушными к наиболее преступным сообщникам Наполеона III. Они отлично знают, что многие из государственных людей империи заслужили гильотину и что все они причинили Франции огромное, почти непоправимое зло. Но все-таки они были государственными людьми, эти полицейские комиссары, эти патентованные шпионы с орденами, которые неустанно травили все, что было честного во Франции. И даже императорские жандармы, эти привилегированные народные убийцы, что бы о них ни говорили, разве они не были в конце концов слугами государства? А государственные люди питают друг к другу почтение, официальные же буржуазные республиканцы прежде всего — государственные люди и обижаются, когда кто-то позволяет себе в этом сомневаться. Прочтите все их речи, в особенности речи г-на Гамбетта. Вы там найдете в каждом слове свидетельства неустанной заботы о государстве, это смешное и наивное притязание демонстрировать себя повсюду как государственного человека.

Никогда не следует упускать это из виду, ибо этим объясняется все: и их снисходительность к разбойникам империи, и их суровое отношение к революционным республиканцам. Будь он монархист или республиканец, государственный человек не может иначе как с ужасом смотреть на Революцию и революционеров, потому что Революция — это ниспровержение Государства, а революционеры — разрушители буржуазного порядка, общественного порядка.

Вы думаете, я преувеличиваю? Я докажу это вам на фактах.

Те самые буржуазные республиканцы, которые в феврале и марте 1848 г. аплодировали великодушию временного

правительства, способствовавшего бегству Луи-Филиппа и всех министров, и которые, отменив смертную казнь за политическое преступление, приняли благородное решение не преследовать ни одно должностное лицо за проступки, совершенные при предыдущем режиме, эти самые буржуазные республиканцы, включая, конечно, г-на Жюля Фавра, как известно, одного из самых фанатичных представителей буржуазной реакции в 1848 г. в Учредительном собрании и в 1849 г. в Законодательном собрании, а в настоящее время члена правительства Национальной обороны, представителя республиканской Франции во внешних делах, что они провозгласили, постановили и сделали в июне? Проявили ли они такую же мягкость и доброту по отношению к рабочим массам, доведенным голодом до мятежа?

Г-н Луи Блан, тоже государственный человек, но социалист, ответит вам так: «15 000 граждан были арестованы после июньских событий, и 4348 приговорены к ссылке без суда *ради общественной безопасности.* В течение двух лет они обращались к судьям: к ним были направлены комиссии *милосердия,* и их освобождение было так же произвольно, как и аресты. Можно ли было думать, что в середине XIX века найдется человек, который осмелится произнести перед Собранием следующие слова: «Предать суду сосланных на Белльвиль не было никакой возможности; против большинства из них нет никаких вещественных улик». И вот, так как, по утверждению этого человека, которым был Барош (Барош — сторонник империи и в 1848 г. пособник Жюля Фавра и многих других республиканцев, участвовавших в преступлении, совершенном против рабочих в июне), — за *недостатком вещественных доказательств* нельзя было с уверенностью рассчитывать на обвинительный вердикт, 468 заключенных плавучей тюрьмы без суда были отправлены в Алжир. В число их попал Лагард, бывший руководитель делегатов от Люксембурга. Он написал из Бреста рабочим Парижа прекрасное, хватающее за сердце письмо. Вот оно:

«Братья, тот, кто в февральские дни был удостоен высокой чести идти во главе вас; кто вот уже девятнадцать меся-

цев в молчании переносит вдали от своей многочисленной семьи страдания самого сурового заключения; кто, наконец, приговорен теперь *без суда* к десяти годам каторжных работ на чужой земле на основании *обратно действующего закона, составленного, вотированного и принятого под влиянием ненависти и страха* (буржуазными республиканцами), — тот не хотел покидать землю матери-родины, не узнав мотивов, на основании которых один дерзкий министр посмел состряпать ужасное предписание.

Поэтому я обратился к командиру понтона *Ля-Геррьер*, который дал следующие сведения, *буквально списанные* с бумаг, приложенных к делу:

«*Лагард, делегат Люксембурга*, человек *несомненной честности*, человек *очень мирный*, образованный, всеми любимый и именно вследствие этого *очень опасный* для пропаганды».

Оценке моих сограждан я предоставляю только этот факт, убежденный, что их совесть сумеет рассудить, кто заслуживает больше их сочувствия — палачи или жертва.

Что касается вас, братья, то позвольте мне сказать: я уезжаю, но я не побежден, знайте это! Я уезжаю, но не говорю вам: прощайте!

Нет, братья, я не говорю вам — прощайте. Я верю в здравый смысл народа; я верю в святость дела, которому я посвятил все мои умственные способности; я верю в республику, незыблемую, как мир! Вот почему я говорю вам: до свидания, и особенно призываю к *единению и милосердию!*

Да здравствует Республика!

На рейде Бреста. Понтон *Ля-Геррьер*

Лагард, бывший руководитель делегатов Люксембурга».

Что может быть красноречивее этих фактов! Они дают нам достаточное основание утверждать, что июньская буржуазная реакция, жестокая, кровавая, ужасная, циничная, постыдная, была истинной матерью декабрьского государственного переворота. Принцип был один и тот же, императорская жестокость была лишь подражанием буржуазной жестокости, превосходя ее лишь числом жертв, убитых и сосланных. Относительно убитых с уверенностью этого еще нельзя сказать, потому что июнь-

ская резня, короткая расправа национальной буржуазной гвардии с рабочими без всякого предварительного суда и даже не в самый день победы, но на другой день после нее, была ужасна. Что же касается числа сосланных, то разница значительна. Буржуазные республиканцы арестовали 15 000 и сослали 4 348 рабочих. Декабрьские разбойники, в свою очередь, арестовали около 26 000 граждан и сослали почти половину, около 13 000. Конечно, с 1848 г. до 1852 г. произошел прогресс, но только в количестве, а не в качестве. Что касается качества, т. е. принципа, то нужно признать, что разбойникам Наполеона III можно гораздо больше простить, чем буржуазным республиканцам 1848 года. Они были разбойниками, наемными убийцами деспота; следовательно, убивая искренних республиканцев, они просто занимались своим делом, и даже можно сказать, что, отправляя половину своих пленников в ссылку, а не убивая их всех сразу, они проявляли в некотором роде великодушие; между тем как буржуазные республиканцы, сослав без всякого суда *ради общественной безопасности* 4 348 граждан, попрали свою совесть, наплевали на собственный принцип и, подготовив и *узаконив* декабрьский государственный переворот, они убили республику.

Да, я говорю это открыто, по моему искреннему убеждению, все эти Морни, Бароши, Персиньи, Флери, Пиетри и все их соучастники в кровавой имперской оргии гораздо менее виновны, чем г-н Жюль Фавр, теперешний член правительства Национальной обороны, менее виновны, чем все другие буржуазные республиканцы, которые голосовали вместе с ним в Учредительном и Законодательном собраниях с 1848 до декабря 1851 года. Не чувство ли этой виновности и этой преступной солидарности с бонапартистами делает их теперь такими снисходительными и такими великодушными относительно этих последних?

Есть еще другой факт, который следует отметить и над которым следует подумать. Исключая Прудона и г-на Луи Блана, почти все историки революции 1848 года и декабрьского государственного переворота, а также

крупнейшие писатели буржуазно-радикального направления, такие, как Виктор Гюго, Кине и проч., много говорили о декабрьском преступлении и декабрьских преступниках, но они ни разу не соизволили остановиться на июньском преступлении и июньских преступниках. Однако совершенно очевидно, что декабрь был не чем иным, как роковым следствием июня и его повторением в большем масштабе!

Почему же молчат об июне? Не потому ли, что июньскими преступниками были буржуазные республиканцы, с которыми упомянутые писатели чувствовали себя нравственно солидарными, были сторонниками их принципа, а следовательно, так или иначе косвенными соучастниками в их деле? Такое объяснение допустимо. Но есть еще и другое, достоверное: июньское преступление коснулось только рабочих, революционных социалистов, следовательно, людей *чуждых* классу и прирожденных врагов принципа, который представляют эти уважаемые писатели. Между тем как декабрьское преступление коснулось тысяч буржуазных республиканцев, которые были сосланы, их братьев по социальному положению, их политических единомышленников. К тому же многие из них сами попали в число жертв. Отсюда их большой интерес к декабрю и равнодушие к июню.

Общее правило: буржуа, каким бы красным республиканцем он ни был, будет гораздо сильнее огорчен и поражен неудачей, жертвой которой окажется другой буржуа, хотя бы этот последний был самый отчаянный империалист, чем несчастием рабочего, человека из народа. Подобное различение является величайшей несправедливостью, но эта несправедливость непредумышленна, она инстинктивна. Происходит она от того, что условия жизни и привычки, которые имеют над людьми несравненно большую власть, чем идеи и политические убеждения, эти условия и привычки, особый образ жизни, развития, мышления и действия, все эти социальные отношения, такие разнообразные и в то же время всегда сводящиеся к одной цели, которые составляют буржуазную жизнь, буржуазный мир, устанавливают между людьми, принад-

лежащими этому миру, как бы различны ни были их политические взгляды, солидарность гораздо более реальную, более глубокую, более крепкую и в особенности более искреннюю, чем та, которая могла бы установиться между буржуа и рабочими вследствие большей или меньшей общности убеждений и идей.

Жизнь доминирует над мыслью и детерминирует волю. Вот истина, которую никогда не следует упускать из виду, если хочешь понять что-либо в политических и социальных явлениях. Желая установить между людьми искреннюю и безусловную общность мыслей и воли, нужно исходить из одних и тех же условий жизни и общности интересов. А так как сами условия существования создают пропасть между буржуазным миром и миром рабочих, потому что один из них — мир эксплуатирующий, а другой — мир эксплуатируемый и жертва, то я делаю отсюда вывод, что если человек, рожденный и воспитанный в буржуазной среде, хочет искренне и без лишних слов стать другом и братом рабочих, он должен отказаться от условий своей прошлой жизни, от всех буржуазных привычек, чувств и симпатий, решительно порвать с буржуазным миром и, повернувшись к нему спиной и объявив ему беспощадную, непримиримую войну, полностью окунуться, без ограничений и оговорок, в мир рабочих.

Если его жажда справедливости не настолько сильна, чтобы внушить ему это решение и мужество, чтобы это сделать, то пусть не обманывается он сам и не обманывает рабочих: он никогда не станет их другом. В своих отвлеченных мыслях, мечтах о справедливости, в моменты раздумий, теоретических рассуждений и затишья, когда внешне все спокойно, он может стать на сторону эксплуатируемого мира. Но как только настанет момент великого социального кризиса, когда эти два мира, непримиримо враждебные друг другу, сойдутся лицом к лицу в пылу великой битвы, все его жизненные привязанности непременно бросят его в мир эксплуатирующий. Так и произошло со многими нашими бывшими друзьями и всегда будет случаться со всеми буржуазными республиканцами и социалистами.

Социальная ненависть, как и ненависть религиозная, гораздо сильнее, гораздо глубже, чем ненависть политическая. Вот объяснение снисходительности ваших буржуазных демократов по отношению к бонапартистам и их исключительной строгости к революционерам-социалистам. Они гораздо меньше ненавидят первых, чем последних, вследствие чего они объединяются с бонапартистами в общей реакции.

Вначале сильно перепуганные, бонапартисты, однако же, скоро заметили, что в правительстве Национальной обороны и во всем этом новом и официальном квазиреспубликанском мире они имеют могучих союзников. Они, должно быть, очень удивились и обрадовались — те, которые, за неимением других качеств, являются по крайней мере людьми практичными и знают средства для достижения своей цели, — когда увидели, что это правительство не только проявило уважение к их персонам и предоставило им полную свободу пользоваться награбленным, но оставило в военной, юридической и гражданской администрации новой Республики старых чиновников империи, заменив только префектов и субпрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров Республики, но оставив неприкосновенными бюро префектур, а также сами министерства, полные бонапартистов, и огромное большинство французских коммун в развращающем подчинении муниципалитетов, назначенных правительством Наполеона III, тех самых муниципалитетов, которыми был проведен последний плебисцит и которые вели в деревнях при министерстве Паликао и под иезуитским руководством Шевро такую ужасную пропаганду в пользу подлеца.

Они, должно быть, много смеялись над этой действительно непонятной глупостью со стороны умных людей, входящих в состав нынешнего временного правительства, надеявшихся, что стоит им, республиканцам, захватить власть, как тотчас же вся бонапартистская администрация станет тоже республиканской. Совсем иначе действовали в декабре бонапартисты. Первой их заботой было сменить и изгнать всю республиканскую администрацию, вплоть до самых низших чиновников включительно, и по-

ставить на все должности, от самых высших до самых незначительных и низких, креатуры бонапартистской банды. Что касается республиканцев и революционеров, то множество последних сослали и посадили в тюрьмы, а первых изгнали из Франции, оставив внутри страны только наиболее безобидных, наименее решительных и убежденных, самых глупых или же таких, которые так или иначе согласились продаться. Вот какими средствами им удалось овладеть страной и притеснять ее более двадцати лет без всякого сопротивления с ее стороны. При этом, как я уже отмечал, началом бонапартизма нужно считать не декабрь, а июнь, а истинными его основателями — г-на Жюля Фавра и его друзей, буржуазных республиканцев Учредительного и Законодательного собраний.

Надо быть справедливым в отношении всех, даже бонапартистов. Это, конечно, мошенники, но мошенники очень практичные. Повторяю еще раз, они сознательно и намеренно пользовались средствами, ведущими к намеченной цели, и в этом отношении они оказались гораздо выше республиканцев, которые в настоящее время делают вид, будто они управляют Францией. Даже теперь, после их поражения, бонапартисты кажутся выше и гораздо сильнее, чем все эти республиканцы, которые заняли их места. И теперь не республиканцы, а они управляют Францией. Убедившись в великодушии правительства Национальной обороны, видя повсюду вместо Революции, которая так их ужасала, правительственную Реакцию, встречая во всех сферах республиканской администрации своих старых друзей, соучастников, неразрывно связанных с ними *солидарностью в подлости и преступлении*, о чем я уже говорил и к чему я еще вернусь, и имея в своих руках страшное орудие, все это огромное богатство, накопленное двадцатилетним грабежом, бонапартисты решительно подняли голову.

Их скрытое, но могучее воздействие, в тысячу раз более сильное, чем влияние коллективного короля Ивто, правящего в Туре, чувствуется повсюду. Их газеты, *Patrie, Constitutionnel, Pays, Peuple* г-на Дювернуа, *Liberte* г-на Эмиля де Жирардена и многие другие, продолжают выхо-

дить. Они поносят республиканское правительство и открыто разглагольствуют, без стыда и страха, как будто они не подкупленные изменники, развратители, предатели и могильщики Франции. К г-ну Эмилю де Жирардену, умолкнувшему было в первые сентябрьские дни, вновь вернулся голос, цинизм и его несравненное красноречие. Как и в 1848 году, он великодушно предлагает республиканскому правительству каждый день по новой идее. Ничто его не смущает, ничто не удивляет; с того момента, как он убедился, что и его личность, и его карман останутся невредимы, он успокоился и снова чувствует твердую почву под ногами. «Только установите Республику, — говорит он, — и я не замедлю предложить вам десятки плодотворнейших, прекрасных политических, экономических и философских реформ». Имперские газеты открыто проповедуют реакцию в пользу империи. Иезуитские органы вновь начали говорить о благодеяниях религии.

Козни бонапартистов не ограничиваются пропагандой в прессе. Они имеют большое влияние в деревне и в городе тоже. В деревне, пользуясь поддержкой многих крупных и средних землевладельцев, кюре и старых муниципалитетов империи, бережно сохраненных республиканским правительством и находящихся под их покровительством, они проповедуют более страстно, чем когда-либо, ненависть к Республике и любовь к империи. Их пропаганда отвращает крестьян от всякого участия в Национальной обороне и советует им, наоборот, хорошо принимать пруссаков, этих новых союзников императора. В городах, опираясь на бюро префектур и субпрефектур, если не на самих префектов и субпрефектов, на судей империи, если не на товарищей прокурора и прокуроров республики, на генералов и почти на всех высших офицеров армии, если не на солдат, хотя и патриотов, но связанных старой дисциплиной, на большую часть муниципалитетов, на огромное количество крупных и мелких коммерсантов, промышленников, землевладельцев и лавочников, находя себе опору даже в массе буржуазных республиканцев, умеренных, боязливых и даже антиреволюционных, которые, направляя свою энергию только против народа, бессознательно и во-

преки желанию вынуждены служить бонапартизму; встречая себе поддержку во всех этих элементах неосознанной и сознательной реакции, бонапартисты парализуют всякое движение, всякое стихийное и организованное действие народных сил и безоговорочно отдают пруссакам города и деревни, а через пруссаков главе своей банды, императору. Наконец, куда же больше, они сдают пруссакам крепости и армии Франции; доказательство — постыдная капитуляция Сезана, Страсбурга и Руана. Они убивают Францию.

Могло ли и должно ли было все это переносить правительство Национальной обороны? Мне кажется, что на этот вопрос может быть только один ответ: нет, тысячу раз нет! Его первым и самым священным долгом, с точки зрения спасения Франции, было с корнем вырвать заговор бонапартистов, прекратить их вредные действия. Но как это сделать? Было только одно средство: это прежде всего арестовать и посадить в тюрьму их всех, целиком, в Париже и в провинциях, начиная с императрицы Евгении и ее двора, всех высших военных и гражданских чиновников, сенаторов, государственных советников, депутатов-бонапартистов, генералов, полковников, капитанов, если потребуется, архиепископов и епископов, префектов, субпрефектов, мэров, мировых судей, весь административный и судебный корпус, не забыв и полицию, всех собственников, явно преданных империи, — одним словом, всех тех, кто составляет бонапартистскую банду.

Были ли возможны такие массовые аресты? Ничего не могло быть легче. Правительству Национальной обороны и его представителям в провинции стоило только сделать знак, рекомендуя при этом населению никому не приносить вреда, и можно было быть уверенным, что в продолжение немногих дней без особого насилия и без всякого кровопролития огромное большинство бонапартистов, особенно людей богатых, влиятельных, известных, были бы арестованы по всей Франции и заключены в тюрьмы. Разве население департаментов не арестовало многих по своей собственной инициативе в первой половине сентября, и, заметьте, не причинив никому зла, самым деликатным и гуманным образом?

Жестокость и зверство больше не свойственны французскому народу, особенно городскому пролетариату Франции. Если и остались некоторые следы, то частично у крестьян, но особенно в классе лавочников, настолько же тупом, насколько и многочисленном. О, они действительно жестоки! Они доказали это в июне 1848 года, и многие факты свидетельствуют о том, что их натура не изменилась и до сего дня. Жестоким делает лавочника не только его безнадежная тупость и подлость, но и его трусость и ненасытная жадность. Он мстит за страх, который ему пришлось испытать, за риск, которому был подвергнут его кошелек, составляющий наряду с его непомерным тщеславием самое чувствительное место его существа. Но он мстит только тогда, когда для него самого нет ни малейшей опасности. О, тогда уж он не знает жалости!

Вот в каких выражениях г-н Луи Блан описывает следующий день после победы, одержанной в июне буржуазной национальной гвардией над парижскими рабочими:

«Трудно представить себе положение и вид Парижа в часы, непосредственно предшествовавшие этой неслыханной драме и сразу после ее завершения. Как только было объявлено осадное положение, тотчас же полицейские комиссары отправились по всем направлениям, приказывая прохожим расходиться по домам. И горе тому, кто, не дожидаясь нового постановления, показывался на пороге своего дома! Если декрет застал вас одетым как буржуа далеко от вашего дома, вас препровождали обратно под конвоем и предписывали не выходить больше. Арестовывали женщин, подозревая, что они переносят вести в своих волосах, и искали патроны под подкладкой фиакров. Все давало повод к подозрению. В гробах мог быть порох: и трупы на пути к вечному успокоению подвергались обыску. Питье, приготовленное для солдат (разумеется, Национальной гвардии), могло быть отравлено: из предосторожности арестовывали бедных продавцов лимонада, и пятнадцатилетние маркитантки внушали страх. Гражданам запрещалось показываться у окна и даже оставлять открытыми ставни: всюду чудились шпионаж и убийство. Колеблющийся свет

лампы за стеклом, отражение лунного света на черепице крыши были достаточны, чтобы вызвать ужас. Оплакивать исчезновение мятежников, смерть близких людей — ничто не могло пройти безнаказанно. *Одну молодую девушку расстреляли за то, что она щипала корпию* в лазарете мятежников, может быть, для своего любимого, для мужа, для отца!

В продолжение нескольких дней Париж имел вид города, взятого приступом. Множество домов, обращенных в развалины или изрешеченных ядрами пушек, *ясно свидетельствовали о силе сопротивления доведенного до отчаяния народа*. Улицы пересекались рядами буржуа в мундирах; растерянные патрули маршировали по мостовой.

Нужно ли говорить о репрессиях?

«Рабочие! И все вы, поднявшие оружие против Республики, в последний раз, во имя всего того, что дорого и свято для людей, сложите ваше оружие! Национальное собрание, вся нация просит вас. *Вам говорят, что вас ожидает жестокая кара: так говорят ваши и наши враги!* Идите к нам, идите как раскаявшиеся братья, подчинившиеся закону, и объятия Республики готовы принять вас».

Вот прокламация, с которой обратился 26 июня генерал Кавеньяк к мятежникам. В другой прокламации того же дня, обращенной к Национальной гвардии и армии, он говорил: «В Париже я вижу победителей и побежденных. Но пусть имя мое будет проклято, если я соглашусь увидеть среди них жертвы!»

Наверное, никогда в подобный момент не произносились более прекрасные слова! Но как это обещание было выполнено? Боже правый!

...Во многих местах репрессии принимали дикий характер. Так, в саду Тюильри *пленников, брошенных* в подземелья у воды, *расстреливали наугад*, просовывая ружья в отверстия; *так же наскоро были расстреляны* заключенные в долине Гренель на кладбище Монпарнас, на Монмартре, во дворе замка Клюни, в монастыре св. Бенедикта и во многих других местах... наконец, после завершения борьбы над опустошенным Парижем воцарился унизительный террор...

...Еще одна подробность завершит картину.

3-го июля множество пленников вывели из подвалов Военной школы, чтобы отправить в полицейскую префектуру, а оттуда в форты. *Их туго связали веревками по четверо по рукам. Затем, поскольку эти несчастные, измученные голодом, шли с трудом, перед ними поставили миски с похлебкой. Будучи связаны по рукам, они были принуждены ложиться на живот и ползти, как животные, к мискам при взрывах хохота конвойных офицеров, которые называли это социализмом на практике!* Я знаю это от одного из тех, кто прошел через эту пытку» (*Histoire de la Revolution de 1848, par Louis Blanc, t. II*).

Вот она, буржуазная гуманность, что же касается правосудия буржуазных республиканцев, то, как указано выше, оно проявилось в ссылке на каторгу *без суда, под предлогом всеобщей безопасности*, 4 348 граждан из 15 000 арестованных граждан.

Кто знает французских рабочих, тому известно, что если где и сохранились истинно гуманные чувства, правда, значительно ослабленные и искаженные в наши дни официальным лицемерием и буржуазной притворной чувствительностью, то это именно среди них. Это единственный класс современного общества, о котором можно сказать, что он действительно великодушен, иногда слишком великодушен и слишком незлопамятен, оставляя без возмездия ужасные преступления и гнусные измены, жертвой которых ему так часто приходилось быть. Он неспособен на жестокость. Но в то же время у него есть верный инстинкт, направляющий его прямо к цели, есть здравый смысл, подсказывающий ему, что если он хочет положить конец злу, то нужно прежде всего арестовать и обезвредить злодеев. Ясно, что Францию предали, надо было не допустить, чтобы предатели довели свое дело до конца. Вот почему почти во всех городах Франции первым движением рабочих было арестовать и заключить в тюрьму бонапартистов.

Правительство Национальной обороны повсюду их освободило. Кто был не прав, рабочие или правительство? Без сомнения, последнее. Выпуская на свободу

бонапартистов, оно не только было не право, оно совершало преступление. Почему уж было не освободить заодно всех *убийц*, воров и всевозможных преступников, которые содержатся во французских тюрьмах? В чем различие между ними и бонапартистами? Я не вижу никакого, а если оно и есть, то только в пользу обычных преступников и, безусловно, против бонапартистов. Первые грабили и убивали индивидов, нападали на индивидов, причиняли вред индивидам. Часть последних совершила буквально те же преступления, а все вместе они грабили, насиловали, бесчестили, убивали, предавали и продавали Францию, целый народ. Какое из преступлений больше? Несомненно то, что совершили бонапартисты.

Разве правительство Национальной обороны причинило бы Франции больше зла, если бы освободило всех преступников, содержащихся в тюрьмах и работающих на каторге, чем ограждая свободу и собственность бонапартистов и предоставляя им беспрепятственно довершить разорение Франции? Нет, тысячу раз нет! Освобожденные каторжники убили бы несколько десятков, скажем, несколько сотен, даже несколько тысяч отдельных лиц, — пруссаки убивают ежедневно гораздо больше,— потом они скоро опять были бы взяты и заключены в тюрьмы самим же народом. Бонапартисты убивают народ, и если и дальше все пойдет так же, то вскоре весь народ, вся Франция будет посажена в тюрьму.

Но как арестовать и держать в тюрьмах столько людей без всякого суда? О, пусть это вас не беспокоит! Как ни мало, но все же найдется во Франции достаточное количество неподкупных судей, и им не будет стоить никакого труда, порывшись в прошлых делах служителей Наполеона III, приговорить три четверти к каторге, а многих из них — даже к смерти, просто применив к ним, и без всякой особенно исключительной строгости, уголовный кодекс.

Притом, разве сами бонапартисты не подали примера? Разве во время и после декабрьского переворота они не арестовали и не посадили в тюрьмы более 26 000 и не

отправили в Алжир и Кайенну более 13 000 граждан-патриотов? Мне возразят, что им позволительно было поступать таким образом, потому что они — бонапартисты, т. е. люди без веры и без убеждений, разбойники; но что республиканцы, борющиеся во имя закона и торжества принципа справедливости, не должны и не могут попирать их основные и первейшие условия. Тогда я приведу другой пример.

В 1848 г., после вашей июньской победы вы, господа буржуазные республиканцы, вы, которые проявляете такую щепетильность в вопросе о правосудии, потому что теперь речь идет о применении его к бонапартистам, т. е. к людям, которые по своему происхождению, воспитанию, привычкам, положению в обществе и по своему отношению к социальному вопросу, т. е. к вопросу об освобождении пролетариата, принадлежат вашему классу, суть ваши братья; так вот, после победы, одержанной вами в июне над парижскими рабочими, Национальное собрание, в котором заседали и вы, г-н Жюль Фавр, и вы, г-н Кремье, и в котором по крайней мере вы, г-н Жюль Фавр, были тогда вместе с г-ном Паскалем Дюпра, вашим единомышленником, одним из самых красноречивых сторонников яростной реакции, — это собрание буржуазных республиканцев ведь не страдало от того, что три дня подряд рассвирепевшая буржуазия расстреливала без всякого суда сотни, а, быть может, и тысячи безоружных рабочих? И сразу же после этого разве не благодаря его попустительству были *без всякого суда, просто ради общественной безопасности* сосланы на галеры 15 000 рабочих? А потом, после нескольких месяцев, в течение которых эти несчастные тщетно взывали к правосудию, во имя которого так энергично вы ратуете теперь в надежде, что этими фразами вам удастся замаскировать ваше потворство реакции, разве не то же самое собрание буржуазных республиканцев, имея во главе все вас же, г-н Жюль Фавр, допустило приговорить 4 348 человек к высылке, опять *без суда* и все *ради той же всеобщей безопасности?* Оставьте, все вы не кто иные, как гнусные лицемеры!

Как случилось, что г-н Жюль Фавр не нашел в себе и не счел нужным употребить против бонапартистов немного той *отважной энергии,* немного той безжалостной жестокости, которые он так широко проявил в июне 1848 года, когда дело шло о наказании рабочих-социалистов? Или он думает, что рабочие, требующие своего права на жизнь, на существование в человеческих условиях, требующие с оружием в руках справедливости, равной для всех, более виновны, чем бонапартисты, губящие Францию?

Ну да, совершенно очевидно, что его мысль именно такова, только признаться в ней откровенно даже самому себе решится не всякий. Этим всепоглощающим буржуазным инстинктом проникнуты все декреты правительства Национальной обороны, как и все акты большинства его провинциальных представителей: генеральных комиссаров, префектов, субпрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров республики, которые, принадлежа или к сословию адвокатов, или к республиканской прессе, представляют собою, так сказать, цвет молодого буржуазного радикализма. В глазах всех этих горячих патриотов, а также по *исторически сложившемуся мнению г-на Жюля Фавра, социальная революция представляет для Франции несравненно большую опасность, нежели само нашествие чужеземцев.* Я согласен верить, что хотя и не все, но во всяком случае значительная часть этих достойных граждан охотно пожертвовали бы своей жизнью, чтобы спасти славу, величие и независимость Франции; но, с другой стороны, я так же и даже в большей мере верю в то, что еще большее число их предпочло бы скорее видеть Францию под временным игом пруссаков, чем быть обязанным ее спасением поистине народной революции, которая при этом неизбежно разрушила бы экономическое и политическое господство их класса. Неизбежным следствием подобного образа мыслей является их возмутительная, чрезмерная снисходительность к многочисленным и, к сожалению, все таким же сильным сторонникам бонапартистского предательства и их пристрастная суровость, их неумолимые гонения на революционных социалистов,

представителей тех рабочих классов, которые одни теперь всерьез озабочены освобождением страны.

Очевидно, что не праздные опасения нарушить справедливость и правосудие, но боязнь вызвать и поддержать социальную революцию мешает правительству подавить открытый заговор бонапартистов. Иначе как объяснить то, что оно ничего не предприняло даже 4 сентября? Возможно ли было ему хотя одну минуту сомневаться, ему, дерзнувшему взять на себя страшную ответственность за спасение Франции, сомневаться в своем долге прибегнуть к самым энергичным мерам по отношению к подлым сторонникам режима, который не только вверг Францию в пропасть, но и теперь усиленно старается парализовать все ее попытки к самозащите в надежде восстановить императорский престол при помощи и под покровительством пруссаков?

Члены правительства Национальной обороны ненавидят революцию. Пусть так. Но если доказано, если с каждым днем делается все очевиднее, что при том бедственном положении, в котором находится Франция, не остается иной альтернативы: *или революция, или прусское иго,* — то, разбирая этот вопрос только с точки зрения патриотизма, эти люди, установившие диктаторскую власть во имя спасения Франции, не будут ли преступниками, не будут ли сами изменниками своего отечества, если из ненависти к революции они предадут Францию или допустят предать ее пруссакам?

Вот уже скоро месяц, как императорский режим, разрушенный прусскими штыками, повергнут в прах. Временное правительство, составленное из более или менее радикальных буржуа, заняло его место. Что же оно сделало для спасения Франции?

Таков истинный вопрос, единственно уместный вопрос. Что же касается вопроса о законности правительства Национальной обороны, или, точнее говоря, о том, имело ли оно право, я сказал бы даже, должно ли оно было принять власть из рук парижского народа после того как он, наконец, вышвырнул бонапартистскую нечисть, то этот вопрос мог быть поставлен на следующий день по-

сле постыдной Седанской катастрофы только сторонниками Наполеона III или, что то же самое, врагами Франции. Г-н Эмиль де Жирарден был, конечно, в их числе.

Никто лучше г-на Эмиля де Жирардена не воплощает политическую и социальную безнравственность современной буржуазии. Шарлатан мысли под личиной серьезного мыслителя, под внешностью, обманувшею многих, даже самого Прудона, имевшего наивность поверить, что г-н де Жирарден мог по совести и искренно служить какой-нибудь идее, бывший редактор *Presse* и *Liberte* хуже, чем *софист,* это фальсификатор, извратитель всех принципов. Достаточно ему затронуть самую простую, самую непреложную, самую полезную идею, как она немедленно становится отравленной и лживой. Притом, он никогда ничего не придумывал, его дело только и состоит в том, чтобы фальсифицировать идеи других. В известных кругах на него смотрят как на самого ловкого создателя и редактора газет. Конечно, его натура эксплуататора и фальсификатора чужих идей, его наглое шарлатанство, должно быть, сделали его особенно пригодным к этому ремеслу! Вся сущность его натуры резюмируется в двух словах: *реклама* и *шантаж.* Всем своим состоянием он обязан журнализму, но пресса не могла бы обогатить человека, честно держащегося одного и того же убеждения, одного и того же знамени. Никто в такой степени, как он, не постиг искусства так ловко и вовремя менять свои убеждения и знамена. Поочередно он был орлеанистом, республиканцем и бонапартистом и сделался бы легитимистом или коммунистом, если бы понадобилось. Можно подумать, что он одарен крысиным инстинктом, потому что он всегда умел покинуть государственный корабль накануне кораблекрушения. Так, он повернулся спиной к правительству Луи-Филиппа за несколько месяцев до Февральской революции, но отнюдь не из-за побуждений, толкнувших Францию к ниспровержению июльского трона, а из-за своих собственных соображений, из которых двумя главными были, без сомнения, его тщеславие и любовь к наживе, потерпевшие крах. Сразу же после

февраля он выдает себя за пламенного республиканца, более республиканского, чем вчерашние республиканцы; он предлагает свои идеи и самого себя; каждый день по идее, разумеется, украденной у кого-нибудь, но приготовленной и приправленной самим г-ном Эмилем де Жирарденом так, чтобы ею мог отравиться всякий, кто воспользуется ею из его рук; кажущаяся правдивость на фоне бесконечной лжи и его личность, несущая эту ложь, а с нею утрату доверия и крушение всех дел, которых она касается. Идеи и личность были отвергнуты народным презрением. Тогда г-н де Жирарден делается заклятым врагом республики. Никто так зло не издевался над нею, никто так усердно не способствовал, по крайней мере в своих помыслах, ее падению. Он не замедлил сделаться одним из самых деятельных и самых пронырливых агентов Бонапарта. Этот журналист и этот *государственный деятель* были созданы друг для друга. Наполеон III осуществил в действительности все то, о чем мечтал г-н Эмиль де Жирарден. Это был сильный человек, умевший жонглировать, подобно Э. де Жирардену, всеми принципами и одаренный достаточно непосредственной натурой, чтобы уметь подняться над всеми напрасными угрызениями совести, над всеми узкими и смешными предрассудками честности, деликатности, чести, личной и общественной нравственности, над всеми гуманными чувствами, которые только мешают политике; одним словом, это был человек своей эпохи, явно призванный править миром. В первые дни после государственного переворота было что-то вроде легкого облачка между *августейшим государем* и *августейшим журналистом*. Но это было не что иное, как ссора влюбленных, а никак не разногласие в принципах. Г-н Эмиль де Жирарден счел себя недостаточно вознагражденным. Он, несомненно, очень любит деньги, но ему еще нужны почести и причастность к власти. Вот чего Наполеон III, при всем своем желании, никогда не мог ему предоставить. Всегда около него был какой-нибудь Морни, какой-нибудь Флери, какой-нибудь Бийо, какой-нибудь Руэ, которые мешали этому. Так что только в конце своего

правления он мог пожаловать г-ну Эмилю де Жирардену сан сенатора империи. Если бы Эмиль Оливье, сердечный друг, приемный сын и в некотором роде креатура г-на Эмиля де Жирардена, не пал так быстро, мы увидели бы, конечно, великого журналиста министром. Г-н Эмиль де Жирарден был одним из основных создателей министерства Оливье. С того времени его политическое влияние все возрастало. Это он был вдохновителем и отчасти автором двух последних политических актов императора, которые погубили Францию: плебисцита и войны. С этого времени поклонник Наполеона III, друг генерала Прима в Испании, духовный отец Эмиля Оливье и сенатор империи, г-н Эмиль де Жирарден почувствовал себя в конце концов слишком великим, чтобы продолжать свое ремесло журналиста. Он оставил редакцию *Liberte* своему племяннику и ученику, верному пропагандисту своих идей, г-ну Детруайя; и, подобно молодой девушке, готовящейся к первому причастию, предался созерцательному настроению, чтобы принять со всем подобающим достоинством эту так давно желанную власть, которая, наконец, готова была упасть в его объятия. Какое горькое разочарование! На этот раз, лишившись своего обычного инстинкта, г-н Эмиль де Жирарден совсем не почувствовал, что империя рушится и что именно его внушения и советы толкнули ее в пропасть. Сменить взгляды уже было поздно.

Падая вместе с империей, г-н де Жирарден низвергся с высоты своих честолюбивых мечтаний в тот самый момент, когда они, казалось, были ближе всего к осуществлению. Он упал плашмя и уже больше не поднялся. Начиная с 4 сентября он употребляет всевозможные старания, пуская в ход все свои старые приемы, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Не прошло и недели, как его племянник, новый редактор *Liberte,* объявляет его первым государственным деятелем Франции и Европы. Но все напрасно! Никто не читает *Liberte,* а у Франции слишком много других дел, чтобы заниматься величием г-на Эмиля де Жирардена. На этот раз он умер, и дай Бог, чтобы вместе с ним умерло современное шар-

латанство прессы, достигшее в его лице своего высшего расцвета.

Если бы момент не был так ужасен, можно было бы хорошо посмеяться над необычайной наглостью этих людей. Поистине, они перещеголяли Робера Макера, духовного главу своей церкви, даже и самого Наполеона III, их явного главу.

Подумайте! Они убили Республику и возвели на трон известными средствами достойного императора. Затем в продолжение двадцати лет подряд они были добровольными и своекорыстными орудиями самых циничных правонарушений, систематически уродовали, отравляли и развращали Францию, сея повсюду невежество, и в конце концов навлекли на эту несчастную жертву своей алчности и постыдного тщеславия бедствия, превосходящие по своим размерам все, что может нарисовать самое пессимистическое воображение. Застигнутые этой ужасной катастрофой, вызванной их стараниями, раздавленные угрызениями совести, стыдом, опасаясь народного возмездия, тысячу раз заслуженного, они должны были бы провалиться сквозь землю — не так ли? — или, по крайней мере, сбежать, подобно своему господину, под знамя пруссаков, которое только и могло бы прикрыть их низость. Как бы не так! Уверившись в преступной снисходительности правительства Национальной обороны, они остались в Париже или рассеялись по всей Франции, громко понося правительство, объявляя его незаконным именем прав народа, именем всеобщего избирательного права.

Их расчет верен. Раз падение Наполеона III стало бесповоротно свершившимся фактом, то нет другого средства снова вернуть его во Францию, кроме решительной победы пруссаков. Но чтобы обеспечить и ускорить эту победу, нужно парализовать все патриотические и действительно революционные усилия Франции, истребить до последнего все средства защиты; а для достижения этой цели кратчайший и самый верный путь — это немедленный созыв Учредительного собрания. Я докажу это в дальнейшем.

Но сначала я считаю нужным доказать, что пруссаки могут и должны желать возвращения Наполеона III на французский престол.

Русский альянс и русофобия немцев

Как ни победно положение графа Бисмарка и его государя Вильгельма I, но оно далеко не из легких. Их цель ясна: это наполовину насильственное, наполовину добровольное объединение всех германских государств под прусским королевским скипетром, который скоро обратится в скипетр императорский; иными словами, их цель — основать в сердце Европы могущественнейшую империю. Всего каких-нибудь пять лет назад из пяти великих держав Европы на Пруссию смотрели как на последнюю. Теперь она хочет сделаться и, без сомнения, скоро сделается первой. Берегись тогда независимость и свобода Европы, особенно маленьких государств, которые имеют несчастье включать в себя германское или бывшее германское население, например, фламандцев! Аппетит немецкого буржуа так же свиреп, как велико его раболепство, и, опираясь на этот патриотический аппетит и на это совершенно немецкое раболепство, граф Бисмарк, будучи человеком не очень разборчивым в средствах и слишком государственным человеком, чтобы щадить кровь народов и беречь их кошелек, свободу и права, вполне способен в интересах своего хозяина приняться за осуществление мечты Карла Пятого.

Часть громадной задачи, взятой им на себя, завершена. Благодаря соучастию Наполеона III, которого он одурачил, и благодаря союзу с императором Александром II, которого он одурачит, ему удалось уже раздавить Австрию. Теперь он держит ее в повиновении угрозой вторжения своего верного союзника, России.

Что же касается империи царя, то со времени раздела Польши и именно благодаря этому разделу она стала в зависимое положение по отношению к прусскому коро-

левству, как и это последнее по отношению к Всероссийской империи. Они не могут начать войну между собой, не освободив доставшихся им польских провинций, чего они никак не согласятся допустить, потому что обладание этими провинциями составляет для каждого из них существенное условие его могущества как государства. Не имея таким образом возможности вступать в войну друг с другом, они *nolens-volens* должны быть близкими союзниками. Достаточно Польше шевельнуться, как тотчас же Российская империя и Прусское королевство будут обязаны испытывать друг к другу самые нежные чувства. Эта вынужденная солидарность есть роковое, зачастую невыгодное и всегда тягостное следствие разбоя, совершенного ими обоими против благородной и несчастной Польши. Ведь не надо думать, что русские, даже официальные лица, любят пруссаков и что пруссаки обожают русских. Напротив, они всем сердцем, глубоко ненавидят друг друга. Но как два разбойника, связанные между собой общим преступлением, они вынуждены идти рука об руку и помогать друг другу. Вот источник трогательной нежности, соединяющей два двора, петербургский и берлинский, которую граф Бисмарк никогда не забывает поддерживать скромными подарками, например, в виде нескольких несчастных польских патриотов, выдаваемых время от времени варшавским и виленским палачам.

Однако на горизонте этой безоблачной дружбы появляется черная точка: это вопрос о балтийских провинциях. Как известно, эти провинции не являются ни русскими, ни немецкими. Они латышские или финские; немецкое население, состоящее из дворянства и буржуазии, составляет там самое незначительное меньшинство. Эти провинции прежде принадлежали Польше, потом Швеции, затем они были завоеваны Россией. Самое удачное решение для них, с точки зрения народа, — а я другой не признаю — по-моему, было бы их возвращение вместе с Финляндией не под владычество Швеции, но в федеративный, очень тесный союз с ней, в качестве членов Скандинавской федерации, долженствующей включить в себя Швецию, Норвегию, Данию и всю датскую часть

Шлезвига, пусть не прогневаются гг. немцы! Это было бы справедливо, это было бы естественно, а этих двух доводов совершенно достаточно, чтобы рассердить немцев. Это положило бы, наконец, спасительный предел их морским притязаниям. Русским хочется русифицировать эти провинции, немцам — онемечить. И те и другие не правы. Огромное большинство населения, одинаково ненавидящее немцев и русских, хочет оставаться тем, что оно есть, т. е. финским и латышским, но оно сможет добиться уважения своей автономии и права быть самим собой только в Скандинавской конфедерации.

Но, как я уже сказал, это вовсе не согласуется с патриотическими вожделениями немцев. С некоторых пор этим вопросом очень интересуются в Германии. Причиной послужили гонения русского правительства на протестантское духовенство; в этих провинциях оно немецкое.

Эти гонения гнусны, как гнусны все проявления какого бы то ни было деспотизма, русского или прусского. Однако они не превосходят тех, которые прусское правительство совершает ежедневно в прусско-польских провинциях, и все же та же самая немецкая общественность воздерживается протестовать против прусского деспотизма. Из всего этого следует, что для немцев все дело совсем не в справедливости, а в приобретении, в завоевании. Они очень хотят иметь эти провинции, которые действительно были бы для них очень полезны с точки зрения их морского могущества на Балтике, и я не сомневаюсь, что Бисмарк лелеет заветную мечту овладеть ими рано или поздно, тем или иным способом. Вот та черная точка, которая возникла в отношениях между Россией и Пруссией. Но пока этого еще недостаточно, чтобы разъединить их. Они слишком нуждаются друг в друге. Пруссию удерживает от разрыва опасение, что она не найдет для себя в Европе другого союзника, потому что все другие государства, не исключая даже Англии, напуганные ее притязаниями, которые скоро не будут иметь предела, выступают или рано или поздно выступят против нее. Итак, Пруссия поостережется сейчас поднять вопрос, могущий поссорить ее с ее единствен-

ным другом, Россией. Ей будет нужна ее помощь или, по крайней мере, ее нейтралитет до тех пор, пока она не уничтожит совершенно или не ослабит по крайней мере лет на двадцать могущества Франции; пока не разрушит Австрийскую империю и не присоединит немецкую Швейцарию, часть Бельгии, Голландию и всю Данию. Обладание двумя последними королевствами необходимо для создания и для упрочения ее морского могущества. Все это будет неизбежным следствием ее победы над Францией, если только эта победа будет полной и окончательной. Но все это, даже при самых благоприятных для Пруссии обстоятельствах, не сможет осуществиться сразу. Выполнение этих грандиозных проектов займет немало лет, и в продолжение всего этого времени Пруссии более, чем когда-либо, будет нужна поддержка России; ибо можно предположить, что остальная часть Европы, какой бы трусливой и глупой она ни казалась теперь, кончит, однако, тем, что проснется, когда почувствует нож у горла, и не допустит без сопротивления и борьбы приготовить себя под прусско-германским соусом. Изолированная, хотя бы даже и победоносная Пруссия даже после разгрома Франции была бы слишком слаба, чтобы бороться с коалицией всех европейских государств. Если бы и Россия стала против нее, она бы погибла. Она не устояла бы даже при нейтралитете России. Ей необходима деятельная поддержка России, вроде той огромной услуги, которую она ей теперь оказывает, угрожая Австрии; так как вполне очевидно, что если бы Россия не угрожала Австрии, на другой же день после вступления немецких войск на французскую территорию Австрия перебросила бы свои войска в Пруссию, в Германию, покинутую солдатами, чтобы вернуть утраченное господство и получить блестящий реванш за Садову.

Г-н Бисмарк — слишком осторожный человек, чтобы при подобных обстоятельствах ссориться с Россией. Разумеется, во многих отношениях этот союз для него не особенно приятен. Он вредит его популярности в Германии. Но г-н Бисмарк — слишком государственный человек,

чтобы чувствовать потребность в таком сентиментальном вздоре, как любовь и доверие народа. Но он знает, что эта любовь и доверие составляет временами большую силу, а сила в глазах такого политика, как он,— единственное, с чем должно считаться. Поэтому непопулярность союза с русскими все же его смущает. Без сомнения, ему приходится сожалеть, что единственный союз, возможный теперь для Германии, это именно такой, к которому Германия чувствует единодушное отвращение.

Когда я говорю о чувствах Германии, я, разумеется, имею в виду чувства буржуазии и пролетариата. Немецкое дворянство вовсе не питает ненависти к России, так как оно знает Россию только как империю, варварская политика и скорые расправы которой ему нравятся, соответствуют его инстинктам и его собственной натуре. Что касается покойного Николая I, то он вызывал у немецких дворян восхищение, настоящий культ. Этот германизированный Чингисхан или, лучше сказать, этот монголизированный немецкий принц был в их глазах высшим идеалом абсолютного владыки. Теперь они находят повторение того же идеала в своем короле-пугале, будущем германском императоре. Кто-кто, только не немецкое дворянство будет против союза с русскими. Наоборот, оно поддерживает его с удвоенной силой: прежде всего, из глубокой симпатии к деспотическим тенденциям русской политики, а также и потому, что ее король желает этого союза, а пока королевская политика будет стремиться к порабощению народов, эта воля для немецкого дворянства будет священна. Без сомнения, дело обстояло бы иначе, если бы король, вдруг перестав следовать традициям своей династии, объявил освобождение народов. Тогда и только тогда оно способно было бы восстать против него, что, впрочем, не представляло бы большой опасности, так как немецкое дворянство, несмотря на свою многочисленность, совершенно бессильно. Оно не имеет корней в стране и существует только по милости государства как бюрократическая и, в особенности, как военная каста. К тому же, так как совершенно невероятно, чтобы будущий германский импе-

ратор *свободно* и по собственному своему побуждению подписал бы когда-нибудь декрет об освобождении, то можно надеяться, что трогательное согласие, существующее между ним и его верным дворянством, сохранится навсегда и оно до века пребудет верным рабом грубого деспота, готовым не за страх, а за совесть пресмыкаться перед ним и выполнять все его приказания, какими бы гнусными и жестокими они ни были. Совершенно иначе обстоит дело с немецким пролетариатом. Я имею в виду главным образом городской пролетариат. Сельский пролетариат слишком подавлен, слишком принижен как своим необеспеченным положением, так и привычкой к подчинению собственникам-крестьянам; он слишком отравлен систематической ложью, политической и религиозной, которой его пичкают в начальной школе, чтобы самому понять свои чувства и желания. Его мысли редко заходят за безнадежно узкий горизонт его жалкого существования. Конечно, по своему положению и по натуре он социалист, но — сам того не подозревая. Одна только всеобщая социальная революция, более всеобщая и более широкая, чем та, о какой мечтают немецкие демократы-социалисты, будет в состоянии разбудить дьявола, сидящего в нем. Этот дьявол: инстинкт свободы, страстное стремление к равенству, святое возмущение, раз проснувшись в его груди, не уснет уже больше. Но до этого наивысшего момента еще далеко, а пока сельский пролетариат, по совету г-на пастора, останется покорным подданным своего короля, самым послушным орудием в руках любой власти, государственной или частной.

Что же касается крестьян-собственников, они в большинстве скорее склонны поддерживать королевскую политику, чем бороться с ней. Для этого есть много причин прежде всего, антагонизм деревень и городов, существующий в Германии так же, как и везде, и особенно усилившийся там с 1525 г., когда немецкая буржуазия во главе с Лютером и Меланхтоном так постыдно и притом во вред себе самой предала единственную крестьянскую революцию, имевшую место в Германии; затем глубоко

ретроградное воспитание, о котором я уже говорил и которое преобладает во всех германских школах, особенно в Пруссии; эгоизм, консервативные инстинкты и предрассудки, свойственные всем крупным и мелким собственникам; наконец, относительная изолированность сельских трудящихся, которая так сильно задерживает проникновение идей и развитие политических страстей. Из всего этого следует, что немецкие крестьяне-собственники гораздо больше интересуются близко их касающимися общинными делами, чем общей политикой. А так как немецкой натуре вообще более свойственно послушание, чем сопротивление, благочестивая доверчивость, чем бунт, то немецкий крестьянин охотно вверяет мудрости высших, установленных от Бога властей все общие интересы своей страны. Без сомнения, наступит момент, когда и немец кий крестьянин проснется. Это произойдет тогда, когда величие и слава новой Прусско-германской империи, которая основывается теперь не без некоторого мистического и исторического влечения с его стороны, скажутся на нем тяжелыми налогами и экономическим разорением. Это произойдет, когда он увидит, как его маленькая собственность, отягощенная всевозможными долгами, закладными, налогами, растает и растечется сквозь пальцы, чтобы округлить богатство крупного землевладельца; это произойдет, когда для него станет очевидно, что в силу непреложного экономического закона он, в свою очередь, вовлекается в ряды пролетариата. Тогда он проснется и, наверное, также восстанет. Но этот момент еще далек, и, ожидая его, даже Германия, которую нельзя упрекнуть в недостатке терпения, может это терпение потерять.

Фабричный и городской пролетариат находится в совершенно ином положении. Хотя и прикрепленные, как крепостные, нуждою к определенной местности, где они трудятся, рабочие, не имея собственности, не имеют и местного интереса. Все их интересы имеют характер общий, даже не национальный, а международный, потому что вопрос о труде и плате за него — единственный, который прямо, реально, ежедневно и живо

интересует их, но является центром и основанием всех других вопросов, как социальных, так и политических и религиозных, этот вопрос, вследствие роста могущества капитала в промышленности и торговле, все более и более принимает международный характер. Именно этим объясняется небывалый рост *Международного товарищества рабочих*, которое, будучи основано всего шесть лет тому назад, насчитывает уже в одной Европе более миллиона человек.

Немецкие рабочие не отстали от других. В особенности в последние годы они сделали значительные успехи, и, быть может, не далек момент, когда они выступят как могучая сплоченная сила. Правда, к намеченной цели они идут не тем путем, который мне кажется наилучшим. Так, вместо того, чтобы стремиться создать силу открыто революционную, отрицательную, разрушительную по отношению к государству, единственную, которая, по моему глубокому убеждению, может иметь результатом полное и повсеместное освобождение трудящихся и труда, они увлекаются, или, скорее, позволяют своим вожакам увлекать себя мечтами о создании позитивной власти, об учреждении нового рабочего, народного государства (Volkstaat), непременно национального, патриотического и пангерманского, что ставит их в явное противоречие с основными принципами *Международного товарищества* и в очень двусмысленное положение по отношению к Прусско-германской империи, аристократической и буржуазной, о создании которой хлопочет Бисмарк. Они надеются, конечно, что путем сначала легальной агитации, а позднее путем более решительного и энергичного революционного движения им удастся завладеть этой империей и превратить ее в чисто народное государство. Эта политика, на которую я смотрю как на призрачную и губительную, придает их движению прежде всего характер реформаторский, а не революционный, что, впрочем, отчасти зависит также от прирожденных свойств немецкого народа, более склонного к медленным и постепенным реформам, чем к революции. Эта политика имеет, кроме того, еще один недостаток, являющийся, в сущности, лишь

следствием основной ошибки: социалистическое движение германских трудящихся идет на буксире у буржуазной демократической партии. Позднее хотели даже отрицать само существование этого союза, но он был слишком очевидно подтвержден частичным принятием буржуазно-социалистической программы д-ра Якоби как основы для возможного соглашения между буржуазными демократами и пролетариатом Германии, а также различными попытками заключить соглашение на конгрессах в Нюрнберге и Штутгарте. Это во всех отношениях пагубный союз. Он не может принести рабочим никакой пользы, даже частичной, потому что партия демократов и буржуазных социалистов в Германии на самом деле слишком ничтожна, до смешного немощна, чтобы придать рабочим какую-то силу, но она во многом способствовала ограничению и извращению социалистической программы трудящихся Германии. Программа рабочих Австрии, например, пока они не дали себя вовлечь в социал-демократическую партию, была гораздо шире, значительно шире и более практичной, чем теперь.

Как бы то ни было, это скорей ошибка в системе, чем в инстинкте; инстинкт немецких рабочих явно революционен и с каждым днем будет становиться все более и более революционным. Интриганы, подкупленные г-ном Бисмарком, будут стараться напрасно: им никогда не удастся подчинить массу немецких трудящихся своей Прусско-германской империи. Впрочем, время заигрывания правительства с социализмом прошло. Имея отныне на своей стороне рабский и тупой энтузиазм всей германской буржуазии, равнодушие и пассивное подчинение, а отчасти и симпатии деревни, все немецкое дворянство, ждущее только знака, чтобы уничтожить «чернь», и организованное могущество огромных военных сил, вдохновляемых и предводительствуемых тем же дворянством, г-н Бисмарк непременно захочет раздавить пролетариат и истребить до самого корня огнем и мечом эту гангрену, этот проклятый социальный вопрос, в котором сконцентрировался весь дух возмущения, оставшийся в людях и нациях. Как в Германии, так и повсюду будет ве-

стись смертельная война с пролетариатом. Но, призывая рабочих всех стран хорошо подготовиться к борьбе, я заявляю, что эта война не страшит меня. Наоборот, все свои надежды я возлагаю на нее; она одна может вселить боевой дух в рабочие массы. Она сразу положит конец всем этим бесконечным и бесцельным рассуждениям *fin's Blaue binein),* которые усыпляют, истощают, не приводя ни к какому результату, и зажжет в груди европейского пролетариата ту страсть, без которой никогда не бывает победы. Что же касается окончательного торжества пролетариата, кто может в нем сомневаться? Справедливость, логика истории — за него.

Был в начале этой войны один момент, когда немецкий рабочий, несмотря на свою растущую с каждым днем революционность, начал колебаться. С одной стороны, он видел Наполеона III, с другой — Бисмарка с его королем-пугалом, первый означал вторжение, два последних — национальную оборону. Не было ли естественно, что, несмотря на все свое отвращение к этим двум представителям немецкого деспотизма, он на мгновение поверил, что его долг как немца стать под их знамя? Но это колебание было непродолжительным. Как только первые известия о победах немецких войск дошли до Германии, тотчас же стало очевидно, что французы не смогут перейти Рейн, особенно после сдачи Седана и памятного и окончательного падения Наполеона III; когда война Германии с Францией утратила значение законной защиты и приняла завоевательный характер, стала войной немецкого деспотизма против свободной Франции, чувства немецкого пролетариата сразу изменились и открыто обратились против этой войны, в нем пробудилась глубокая симпатия к французской республике. И здесь я спешу отдать справедливость вождям партии демократов-социалистов, всему руководящему комитету, Бебелю, Либкнехту и многим другим, которые среди воплей официального мира и всей буржуазии Германии, взбесившейся от патриотизма, имели мужество громко заявить о священных правах Франции. Благородно, геройски исполнили они свой долг, потому что на самом деле требовалось геройское мужество,

чтобы отважиться говорить человеческим языком среди всей этой рычащей буржуазной животности.

Разумеется, немецкие рабочие — решительные противники союза с Россией и русской политикой. Русские революционеры не должны ни удивляться, ни слишком огорчаться, если случается иногда, что немецкие трудящиеся на сам русский народ переносят ту глубокую и вполне законную ненависть, какую внушает им само существование и все политические акты Всероссийской империи, точно так же, как и немецкие *рабочие* не должны отныне слишком удивляться и слишком обижаться, если случится, что французский пролетариат поставит на одну доску официальную, бюрократическую, военно-дворянско-буржуазную Германию с Германией народной. Чтобы быть справедливыми и не слишком сетовать на это, немецкие рабочие должны судить по самим себе. Следуя примеру и указаниям многих своих вожаков, разве не смешивают они слишком часто в одном чувстве презрения и ненависти Российскую империю и русский народ, не подозревая о том, что этот народ — первая жертва и непримиримый враг империи, всегда готовый восстать против нее, как я неоднократно имел возможность доказывать это в моих речах и брошюрах и повторю здесь снова. Но немецкие рабочие могут возразить, что они основываются не на словах, что их суждения основаны на фактах и что все поступки русских в своих внешних проявлениях были поступками антигуманными, жестокими, варварскими, деспотичными. К сожалению, русским революционерам нечего ответить на это обвинение. Они должны признать, что в известном отношении немецкие рабочие правы: пока народ не свергнул и не разрушил своего государства, он более или менее солидарен с ним и, следовательно, ответствен за его поступки, совершаемые именем народа и его руками. Но если это соображение справедливо для России, то оно должно быть одинаково верно и для Германии.

Конечно, русская империя представляет и воплощает варварскую систему, антигуманную, подлую, презренную, гнусную. Можете применить к ней все прилагательные,

какие только захотите; я ничего не буду иметь против. Друг русского народа, но отнюдь не патриот государства, всероссийской империи, я не представляю себе, чтобы кто-нибудь ненавидел эту последнюю больше меня. Но желая быть справедливым прежде всего, я предложил бы немецким патриотам оглядеться повнимательнее вокруг себя, и, я уверен, они не замедлили бы убедиться, что, помимо прикрытой лицемерием приличной внешности, их Прусское королевство и их старая Австрийская империя до 1866 г. не были сколь-нибудь либеральнее, ни тем более гуманнее, чем всероссийская империя. Что же касается Пруссо-германской, или *кнуто-германской* империи, воздвигаемой ныне немецким патриотизмом на развалинах и в крови Франции, то последняя обещает даже превзойти Россию своими злодеяниями. Посмотрим: при всей своей гнусности причиняла ли русская империя когда-либо Германии, Европе хоть сотую часть того зла, какую Германия причиняет теперь Франции и угрожает причинить всей Европе? Если кто и имеет право презирать Российскую империю и русских, так это поляки. Если русские и обесчестили себя когда-либо и творили ужасы, выполняя кровавые приказы своих царей, так это в Польше. Так вот, я обращаюсь к самим полякам: все русские армии, солдаты и офицеры, совершили ли они хоть десятую часть тех гнусных поступков, какие совершают теперь во Франции все германские армии, солдаты и офицеры? Поляки, повторяю, имеют право презирать Россию. Но немцы не имеют права, нет! если они в то же время не презирают самих себя! Посмотрим, причинила им когда-либо Россия какое-нибудь зло? Разве кто-нибудь из русских императоров мечтал о завоевании Германии? Разве он когда-нибудь отнял у нее провинцию? Разве русские войска приходили в Германию, чтобы уничтожить ее республику, которой, впрочем, никогда и не существовало, — и чтобы вернуть трон ее деспотам, которые никогда и не переставали править?

Только два раза с тех пор, как установились международные отношения между Россией и Германией, русские императоры причиняли этой последней позитивное зло.

Первый раз это был Петр III, который, только что поднявшись на трон, в 1761 г. спас Фридриха Великого и вместе с ним Прусское королевство от неминуемой гибели, приказав русской армии, сражавшейся до того вместе с австрийцами против Фридриха, примкнуть к нему и выступить против австрийцев. В другой раз это был Александр I, который в 1807 году спас Пруссию от полного уничтожения.

Вот неоспоримо две очень плохие услуги, оказанные Россией Германии, и если именно на это жалуются немцы, то я должен признать, что они тысячу раз правы, так как, спасая дважды Пруссию, Россия, несомненно, если не ковала сама, то, по крайней мере, помогала ковать цепи для Германии. Но если это не так, то мне трудно понять, на что могут жаловаться эти добрые немецкие патриоты?

В 1813 году русские пришли в Германию как освободители и, что бы там ни говорили господа немцы, немало способствовали ее освобождению от ига Наполеона. Или, быть может, озлобление против русских ведет свое начало со времен императора Александра I за то, что он не допустил в 1814 г. прусского фельдмаршала Блюхера, вопреки его настойчивому требованию, разгромить Париж? Последнее обстоятельство служит доказательством, что у пруссаков всегда были одни и те же намерения и что по натуре они не изменились. Или они не прощают императору Александру I, что он почти принудил Людовика XVIII дать Франции конституцию вопреки желанию прусского короля и австрийского императора и удивил Европу и Францию, выказав себя, российского императора, более гуманным и более либеральным, чем два великих властелина Германии?

Может быть, немцы не могут простить России гнусного раздела Польши? Увы! Они не имеют на это ни малейшего права, так как они получили добрую часть пирога. Конечно, этот раздел был преступлением. Но среди коронованных разбойников, совершивших его, только один — русский, а немцев — двое: императрица Мария Терезия Австрийская и великий король Пруссии Фри-

дрих II. Я даже мог бы сказать, что все трое были немцы, потому что императрица Екатерина II, гнусной памяти, была чистокровной немецкой принцессой. Фридрих II, как известно, обладал хорошим аппетитом. Не он ли предложил своей доброй кумушке из России также разделить и Швецию, где царствовал его племянник? Инициатива раздела Польши по праву принадлежит ему. Притом Прусское королевство выиграло от дележа гораздо больше, чем два других сообщника по разделу, так как его подлинное могущество началось с завоевания Силезии и этого раздела Польши.

Наконец, не ставят ли немцы в вину Российской империи жестокое, варварское, кровавое подавление двух польских революций, 1830 и 1863 годов? Но опять-таки они не имеют и на это ни малейшего права, потому что в 1830 г., как и в 1863 г., Пруссия была самой близкой соучастницей санкт-петербургского кабинета, любезной и верной поставщицей его палачей. Граф Бисмарк, канцлер и основатель будущей кнуто-германской империи, разве не считал своим приятным долгом выдавать Муравьевым и Бергам все польские головы, попадавшие ему в руки? И разве не те же прусские наместники, которые теперь во Франции проявляют свою гуманность и свой пангерманский либерализм, организовали в 1863, 1864 и 1865 годах в польской Пруссии и в Познанском великом герцогстве, подобно истым жандармам, которыми они и являются по своей натуре и пристрастиям, настоящую охоту на несчастных польских повстанцев, бежавших от казаков, чтобы предать их закованными в цепи русскому правительству? Когда в 1863 г. Франция, Англия и Австрия представили князю Горчакову свои протесты в защиту Польши, только одна Пруссия не захотела, да и не могла присоединиться к протесту, по той простой причине, что начиная с 1860 года все усилия ее дипломатии были направлены к тому, чтобы отговорить императора Александра II сделать хотя бы малейшую уступку полякам.

Когда посол Великобритании в Берлине, лорд Блумфилд, если не ошибаюсь в имени, предложил г-ну Бисмарку подписать от имени Пруссии знаменитый протест

западных правительств, г-н Бисмарк отказался, сказав английскому посланнику: «Как вы хотите, чтобы мы протестовали, когда мы вот уже три года то и дело повторяем России, чтобы она не делала никаких уступок Польше».

Из приведенных соображений с очевидностью следует, что немецкие патриоты не имеют ни малейшего права обращать свои упреки к Российской империи. Если она поет фальшиво, если ее голос отвратителен, то во всяком случае Пруссия, составляющая ныне ум, сердце и руку великой объединенной Германии, никогда не отказывала ей в услужливом аккомпанементе. Существует, правда, один упрек, последний.

«Россия, — говорят немцы, — оказывала с 1815 года до сего дня самое гибельное влияние как на внешнюю, так и на внутреннюю политику Германии. Если Германия оставалась так долго разделенною, если она остается рабскою, то это именно вследствие этого рокового влияния».

Признаюсь, этот упрек всегда мне казался крайне нелепым, недобросовестным и недостойным великого народа; достоинство каждой нации, как и каждого индивида, состоит, по-моему, главным образом в том, что каждый берет на себя всю ответственность за свои поступки, не делая жалких усилий свалить свою вину на других. Разве не нелепы сетования взрослого парня, пришедшего со слезами жаловаться, что кто-то другой совратил его, вовлек в дурное дело? Ну, а что непозволительно мальчишке, тем более непростительно нации, и самое элементарное самоуважение должно было бы удержать ее от подобных жалоб.

Признаюсь, я был глубоко изумлен, найдя этот самый упрек в письме, адресованном в прошлом году г-ном Карлом Марксом, знаменитым главой немецких коммунистов, редакторам маленького русского листка, печатавшегося на русском языке в Женеве. К. Маркс утверждает, что, если Германия еще не организована демократически, то в этом всецело вина России. Он в высшей степени неверно судит об истории своей соб-

ственной страны, поскольку высказывает утверждение, легко опровергаемое не только историческими фактами, но и опытом всех времен и всех стран. Случалось ли когда-нибудь так, чтобы нация, стоящая на более низкой ступени цивилизации, смогла навязать или привить свои собственные принципы другой стране, несравненно более цивилизованной,— если только не путем завоевания? Но Германия, насколько мне известно, никогда не была завоевана Россией. Поэтому возможность усвоения немцами каких-либо русских устоев совершенно невероятна, тогда как более чем вероятно, что Германия, наоборот, благодаря своему непосредственному соседству и неоспоримому перевесу своего политического, административного, юридического, промышленного, торгового, научного и социального развития, имела на Россию значительное идейное влияние, с чем охотно соглашаются и сами немцы, когда говорят не без гордости, что Россия обязана Германии всей той малой долей цивилизации, какая у нее имеется. К большому счастью для нас, для будущего России, эта цивилизация не проникла дальше официальной России, в народ. Но, действительно, мы обязаны немцам нашим политическим, административным, полицейским, военным и бюрократическим воспитанием, законченностью здания нашей империи, далее нашей августейшей династией.

Кто может сомневаться, что соседство великого Монголо-византийско-немецкого Эмира более по душе деспотам Германии, чем ее народам, что это соседство более способствует развитию ее коренного, сугубо национального, германского рабства, чем распространению либеральных и демократических идей, вынесенных из Франции? Германия развивалась бы гораздо быстрее в направлении равенства и свободы, если бы вместо русской империи имела своим соседом Северо-Американские соединенные штаты, например. Но ведь раньше у нее и была другая соседка, отделявшая ее от Московской империи. Это была Польша, правда, не демократическая, а дворянская, подобно феодальной Германии, также основанная на рабстве крестьян, но гораздо менее ари-

стократическая, более либеральная, более просвещенная во всех отношениях, чем эта последняя. И что же? Германия, недовольная этим бурлящим соседством, так противоречащим ее привычкам к порядку, елейному низкопоклонству и верноподданнической зависимости, проглотила добрую половину ее, предоставив другую половину Московскому царству, всероссийской империи, тем самым и сделавшись с того времени ее непосредственной соседкой. А теперь она жалуется на это соседство! Смешно.

Россия также много бы выиграла, если бы вместо Германии имела бы своей соседкой на западе Францию, а на востоке вместо Китая — Северную Америку. Но революционные, или, как начинают их называть в Германии, русские анархисты слишком дорожат достоинством своего народа, чтобы свалить всю вину своего рабства на немцев или китайцев. А между тем они имеют гораздо более исторического права свалить ее как на тех, так и на других. Ведь известно, что монгольские орды, завоевавшие Россию, пришли от границ Китая. Известно, что более двух веков они держали ее под своим игом. Два столетия варварского ига, какое воспитание! К великому счастью, это воспитание почти не коснулось собственно русского народа, массы крестьян, которые и под татарским игом продолжали жить, придерживаясь своего обычного общинного права, не признавая и совершенно не считаясь с какой-либо иной политикой и юриспруденцией, как они живут и до сих пор. Но оно совершенно развратило дворянство, а также и значительную часть русского духовенства, и эти два привилегированных класса, одинаково жестокие, одинаково раболепные, можно считать подлинными основателями Московской империи. Известно, что эта империя была главным образом основана на порабощении народа, и русский народ, не отличающийся вовсе той прирожденной покорностью, которой в высшей степени одарен немецкий народ, никогда не переставал ненавидеть эту империю и восставать против нее. Он был и теперь остается единственным истинным революционным со-

циалистом в России. Его бунты или, точнее, его революции (в 1612 г., 1667 г. и 1771 г.) часто угрожали самому существованию Московской империи, и я твердо убежден, что пройдет немного времени и новая народная социалистическая революция, на этот раз победоносная, сметет ее совсем с лица земли. Известно, что если московские цари, ставшие потом санкт-петербургскими императорами, до сих пор и торжествовали победу над этим упорным и страстным народным сопротивлением, то благодаря политической, административной, бюрократической и военной науке, заимствованной у немцев, которые, одарив нас столькими прекрасными вещами, не забыли принести с собой, не могли не принести не восточный, но протестантско-германский культ государя, лично воплощающего государственный разум, философию дворянского, буржуазного, военного и бюрократического раболепства, возведенного в систему. Это было, по-моему, величайшим несчастьем для России. Ибо восточное рабство, варварское, хищническое, оплот нашего дворянства и нашего духовенства, было очень жестоким, но совершенно естественным следствием неблагоприятных исторических обстоятельств, еще более неблагоприятного экономического и политического положения и глубокого невежества. Это рабство было естественным фактом, а не системой, и, как таковое, могло и должно было измениться под благотворным влиянием либеральных, демократических, социалистических и гуманитарных идей Запада. Оно действительно изменилось до такой степени, что — упомянем только наиболее характерные факты — с 1818 по 1825 год мы видели, как несколько сот дворян, цвет дворянства, принадлежащего к наиболее образованному и богатому классу, подготовили заговор, серьезно угрожавший императорскому деспотизму, с целью образовать на его обломках согласно желанию одних монархическо-либеральную конституцию или согласно желанию других, значительного большинства, федеративную и демократическую республику, основываясь в том и другом случае на полном освобождении крестьян с наделением их землею. С тех пор не было в

России ни одного заговора, в котором бы не участвовала дворянская молодежь, часто очень богатая. С другой стороны, все знают, что по преимуществу сыновья наших священников, студенты академий и семинарий составляют в России священную фалангу революционной социалистической партии. Пусть господа немецкие патриоты перед лицом этих неоспоримых фактов, которых даже их общеизвестной недобросовестности не удастся опровергнуть, соблаговолят сказать мне, много ли было в Германии дворян и студентов-теологов, восстававших против государства и ратовавших за освобождение народа? И однако ни в дворянах, ни в теологах у них недостатка никогда не было. Отчего же происходит эта бедность, чтобы не сказать — отсутствие либеральных и демократических чувств в дворянстве, в духовенстве и, добавлю также, чтобы быть искренним до конца! — и в буржуазии Германии? А это потому, что раболепство, присущее всем этим почтенным классам, представителям немецкой цивилизации, возникнув как естественное следствие естественных же причин, стало системой, наукой, чем-то вроде религиозного культа, и именно вследствие этого оно превратилось в неизлечимую болезнь. Можете ли вы вообразить себе немецкого бюрократа или же офицера немецкой армии, которые были бы способны составить заговор и восстать за свободу, за освобождение народов? Несомненно, нет. Недавно мы были свидетелями заговора офицеров и высших чиновников Ганновера против Бисмарка, но с какой целью? Чтобы возвести на его трон короля-деспота, законного монарха. Ну, а бюрократия русская и русские офицеры насчитывают в своих рядах многих заговорщиков, борющихся за благо народа. Вот разница, и она всецело в пользу России. — Но если порабощающее действие немецкой цивилизации и не смогло окончательно развратить даже привилегированные и официальные сословия России, то все же оно постоянно оказывало неблагоприятное влияние на эти классы. И я повторяю, большое счастье для русского народа, что он не проникся этой цивилизацией точно так же, как не проникся и цивилизацией монголов.

В противовес всем этим фактам могут ли буржуазные немецкие патриоты указать хоть один, который бы доказывал гибельное влияние монголо-византийской официальной России на Германию? Подобная попытка оказалась бы совершенно тщетной, потому что русские никогда не приходили в Германию ни как победители, ни как учители, ни как администраторы, откуда следует, что если Германия и заимствовала что-либо у официальной России — что я решительно отрицаю, — то это могло быть сделано лишь по склонности и для собственного удовольствия.

Поистине, несравненно более соответствовало бы достоинству лучшего немецкого патриота и искреннего социалиста-демократа, каким несомненно является г-н Карл Маркс, и было бы гораздо полезнее для народа Германии, если бы вместо того, чтобы тешить национальное тщеславие, ложно приписывая ошибки, преступления и позор Германии чужеземному влиянию, он постарался бы воспользоваться своей громадной эрудицией для доказательства, в соответствии со справедливостью и исторической истиной, что Германия сама произвела, воспитала и исторически развила в себе все элементы своего нынешнего рабства. Я с удовольствием предоставил бы ему выполнение такого труда, столь полезного и необходимого прежде всего с точки зрения эмансипации германского народа, труда, который, выйдя из-под его пера, опираясь на его удивительную эрудицию, превосходство которой я уже признавал, оказался бы, разумеется, несравненно более полным. Но так как я не надеюсь, чтобы он когда-либо счел удобным и необходимым сказать всю правду по этому вопросу, то я уж сам беру на себя труд доказать в этом письме, что рабство, преступления и настоящий позор сегодняшней Германии совершенно местного происхождения и являются следствием четырех великих исторических причин: дворянского феодализма, дух которого, далеко не побежденный, как во Франции, и доныне благополучно процветает в структуре современной Германии; абсолютизма монарха, санкционированного протестантизмом и через него возведенного

в объект культа; упорного и хронического раболепства германской буржуазии и непоколебимого терпения народа. Наконец, пятая причина, впрочем, весьма близкая к первым четырем, это — зарождение и быстрое образование совершенно механического и совершенно антинационального могущества прусского государства.

В конце этого письма, бросив беглый взгляд на германско-славянский вопрос, я докажу, опираясь на неопровержимые исторические факты, что до 1866 года дипломатическое влияние России на Германию — а иного влияния никогда не было, — как в отношении ее внутреннего развития, так и в отношении ее территориального расширения, в большинстве случаев было равно нулю или почти нулю. В любом случае это влияние гораздо ничтожнее, чем воображали себе эти добропорядочные немецкие патриоты и сама русская дипломатия. И я докажу, что начиная с 1866 года Санкт-Петербургский кабинет в благодарность если не за материальную, то за моральную поддержку, оказанную ему Берлином в Крымскую войну, и более чем когда-либо зависимый от прусской политики, угрожая Австрии и Франции, в значительной мере содействовал осуществлению грандиозных проектов Графа Бисмарка, следовательно, окончательному построению великой Пруссо-германской империи, предстоящее установление которой увенчает, наконец, вожделенные желания немецких патриотов.

Подобно доктору Фаусту, эти достопочтенные патриоты преследовали две цели, две противоположные тенденции: одною из них было всемогущее национальное единство, другою — свобода. Желая примирить эти две несогласуемые вещи, они долго парализовали одну другой до тех пор, пока, наконец, на опыте не убедились в невозможности их согласовать и не решились пожертвовать одной ради другой. И вот таким образом на развалинах не свободы — свободны они не были никогда, — но их либеральных мечтаний они готовятся теперь воздвигнуть великую Пруссо-германскую империю. Отныне они, по их собственному признанию, *свободно* создадут сильную нацию, могущественное государство и рабский народ.

Пятьдесят лет кряду, начиная с 1815 и кончая 1866 годом, немецкая буржуазия питала по отношению к самой себе поразительную иллюзию: она считала себя либеральной, совсем не будучи таковой. В действительности же она утратила последние проблески инстинкта свободы еще во времена Меланхтона и Лютера, позволив им *посредством религии* подчинить себя абсолютной власти своих князей. Уже начиная с этой эпохи покорность и послушание обратились у нее в привычку, в сознательное выражение ее самых заветных убеждений и в результате привели к созданию суеверного культа всемогущества Государства. Бунтарское чувство, эта сатанинская гордость, отрицающая власть какого бы то ни было господина, бога или человека, — чувство, которым исключительно питается в человеке любовь к независимости и свободе, это чувство у немца не только отсутствует, но даже сама его возможность отталкивает, смущает и страшит его. Германская буржуазия не может жить без хозяина: у нее слишком велика потребность в почитании, обожании и подчинении кому угодно. Если это не король, император, ну что ж! тогда это будет коллективный монарх — Государство и все государственные чиновники, как это и было до сих пор во Франкфурте, Гамбурге, Бремене и Любеке, городах, которые носят название республиканских и свободных, отныне поступят во владение нового германского императора, не заметив даже, что они утратили свою свободу.

Немецкий буржуа, стало быть, недоволен не тем, что он должен подчиняться какому-то господину: это его привычка, вторая натура, религия, страсть, — а незначительностью, слабостью, относительной немощью того, кому он должен и хочет подчиняться. Немецкий буржуа, кроме того, обладает непомерной гордостью, присущей всем лакеям, которые переносят на себе важность, богатство, величие и могущество своего хозяина. Этим объясняется ретроспективный культ исторической и почти мифической фигуры германского императора, культ, зародившийся с 1815 года, одновременно с немецким псевдолиберализмом, который постоянно сопровождал его и должен был раньше или позже быть разрушен и задушен

этим культом, как это недавно и произошло. Возьмите все немецкие патриотические песни, сочиненные после 1815 года; я не говорю о песнях рабочих-социалистов, открывающих новую эру, пророчествующих о новом мире, о мире всеобщего освобождения. Нет, возьмите песни патриотов буржуа, начиная с пангерманского гимна Арндта. Какое чувство там преобладает? Любовь к свободе? Нет, это чувство национального величия и могущества. «Где немецкое отечество?» — спрашивается в гимне. Ответ: «Где слышен немецкий язык». Свобода мало вдохновляет этих певцов немецкого патриотизма, можно сказать, что они упоминают о ней из приличия. С искренним же пафосом и энтузиазмом они говорят только о единстве. И далее теперь какие аргументы приводят они, чтобы убедить сделаться немцами жителей Эльзаса и Лотарингии, нареченных французами Революцией и в теперешний столь ужасный для них момент чувствующих себя французами более чем когда-либо? Обещают ли они им свободу, освобождение труда, материальное благополучие, благородное и широкое человеческое развитие? Нет, ничего подобного. Эти аргументы так мало трогают их самих, что они даже не понимают, как они могли бы убедить других. Впрочем, они не решились бы зайти так далеко во лжи во время гласности, когда ложь становится делом трудным, если вообще возможным. Всем, и им в том числе, отлично известно, что ни одной из этих прекрасных вещей в Германии не существует и что Германия может сделаться великой кнуто-германской империей, лишь надолго отказавшись от них даже в мечтах, ибо действительность оказалась сегодня слишком пугающей и жестокой, чтобы в ней нашлись время и место для мечтаний.

А поскольку всех этих прекрасных человеческих вещей в действительности нет, то о чем говорят им публицисты, ученые, патриоты и поэты немецкой буржуазии? Они говорят о прошлом величии Германской империи, о Гогенштауфенах и об императоре Барбароссе. Что они, с ума сошли, превратились в идиотов? Нет, они — немецкие буржуа, немецкие патриоты. Но почему, черт возьми, они, эти добрые буржуа, эти превосходные не-

мецкие патриоты, так почитают это великое католическое, императорское и феодальное прошлое Германии? Черпают ли они, подобно жителям итальянских городов, в XII, XIII, XIV и XV веках воспоминания о былом могуществе, о свободе, о разуме, о славе буржуазии? Были ли тогда буржуазия или, говоря вообще, немецкий народ менее, чем теперь, закрепощены, менее угнетены своими князьями-деспотами и своим спесивым дворянством? Нет, без сомнения, было гораздо хуже, чем теперь. Но что в таком случае хотят отыскать в прошедших веках эти немецкие ученые буржуа? Могущество своего хозяина. Это — честолюбие лакеев.

Видя, что сейчас происходит, сомневаться больше невозможно. Немецкая буржуазия никогда не любила, не понимала свободу, не стремилась к ней. Она живет в своем рабстве спокойная и счастливая, как крыса в сыру, но ей хочется, чтобы сыра было побольше. Начиная с 1815 года и до наших дней, она желала только одного; но этого одного она добивалась со страстным, энергичным упорством, достойным лучшего применения. Она желала чувствовать себя под властью могучего господина, пусть он будет даже свирепый и жестокий деспот, лишь бы он давал ей в награду за ее необходимое рабство то, что она называет своим национальным величием, лишь бы он заставил во имя немецкой цивилизации трепетать все народы, включая и народ немецкий.

Мне возразят, что буржуазия всех стран выражает в данное время те же стремления, что, перепуганная, она повсюду спешит укрыться под покровительство военной диктатуры, своего последнего прибежища от все более и более угрожающих выступлений пролетариата. Повсюду она отказывается от своей свободы во имя спасения своего кошелька и отказывается от своего права, чтобы спасти привилегии. Буржуазный либерализм во всех странах существует лишь по имени и есть не что иное, как обман.

Да, это верно. Но, по крайней мере, итальянский, швейцарский, голландский, бельгийский, английский и французский буржуазный либерализм в прошлом дей-

ствительно существовал, между тем как либерализма германской буржуазии никогда и не было. Вы не отыщете его следов ни до, ни после Реформации.

История немецкого либерализма

Гражданская война, столь пагубная для могущества государств, наоборот, именно вследствие этого разрушительного действия на государство всегда благоприятна для пробуждения народной инициативы, а также для умственного, нравственного и даже материального развития народов. Причина этого весьма проста: необходимость, за отсутствием руководства свыше, самим устраивать свою судьбу нарушает в массе их бараньи сноровки, столь драгоценные для всех правительств и дающие последним возможность пасти и стричь народное стадо, как им заблагорассудится. Гражданская война нарушает животное однообразие их ежедневного, машинального существования, лишенного мысли, и, заставляя их призадуматься над междоусобными распрями князей или партий, оспаривающих друг у друга право притеснять и эксплуатировать их, приводит их чаще всего если не к сознательному, то по крайней мере к инстинктивному уяснению себе той глубокой истины, что права одних из них так же неосновательны, как и права других, и что их намерения одинаково неблаговидны. А как только одна дремавшая дотоле мысль пробудится, она неизбежно захватывает и все остальное. Народный ум приходит в движение, сбрасывает вековую неподвижность; нарушая границы бездумной веры, освобождаясь из-под ига традиционных и окаменелых представлений и понятий, занимавших у него место всякой мысли, он подвергает всех своих вчерашних кумиров строгой, страстной критике, направляемой его здравым смыслом и честной совестью, которые зачастую значат больше, чем научные истины. Так пробуждается народный ум. Вместе с умом в нем пробуждается и священный, сугубо человеческий инстинкт возмущения, ис-

точник всякого освобождения, и одновременно подымаются его нравственность и материальный уровень, братья-близнецы свободы. Эта столь благодетельная для народа свобода находит опору и черпает воодушевление в самой гражданской войне, которая, разъединяя его притеснителей, его эксплуататоров, его наставников и его господ, неизбежно уменьшает зловредное могущество тех и других. Когда господа грызутся между собой, бедный народ, освободившись, по крайней мере отчасти, от однообразия общественного строя или, лучше сказать, от окаменелой системы анархии и беззакония, навязанных ему ненавистной властью под именем общественного строя, может немного перевести дух. К тому же каждая из враждебных партий, ослабленная разъединением и борьбой, нуждается в симпатии масс для победы над другой партией. За народом начинают ухаживать, как за любовницей, перед ним заискивают, ему льстят. Его забрасывают всевозможными обещаниями, и когда народ достаточно умен, чтобы не довольствоваться одними посулами, ему делают всевозможные реальные уступки, политические и материальные. И если тогда он не сумеет добыть себе свободу, то винить в этом должен себя самого. Таким путем, какой только что описан, или более или менее сходным с ним шло освобождение городских средневековых общин во всех странах Западной Европы. По тем приемам, с помощью которых они освобождались, и в особенности по тем политическим, духовным и социальным последствиям, которые они умели извлечь из своего освобождения, можно судить об их уме, о господствующих стремлениях и присущем им национальном темпераменте.

Так, уже в конце XI века мы застаем в Италии значительный расцвет ее муниципальных свобод, ее торговли и ее зарождающихся искусств. Итальянские города умеют извлекать выгоду из памятной борьбы императоров с папами, начатой с целью завоевания независимости. В этом же веке во Франции и в Англии достигает широкого распространения схоластическая философия, и как следствие этого первого пробуждения мысли в вере и первого не-

ясно выраженного бунта разума против веры мы видим на юге Франции зарождение ереси вальденсов. В Германии же — ничего. Она трудится, молится, поет, строит свои храмы, высшее выражение своей грубой и наивной веры, и безропотно повинуется своим священникам, своим дворянам, своим принцам и своему императору, которые угнетают и грабят ее без всякого стыда и жалости.

В XII веке образуется великая лига независимых и свободных городов Италии, союз, организованный против императора и папы. Вместе с политической свободой естественно начинается пробуждение и бунт разума. Мы видим великого Арнольда Брешианского, сожженного в Риме за ересь в 1155 году. Во Франции сжигают Петра де Брюи и преследуют Абеляра; но что еще важнее, возникает истинно народная и революционная ересь альбигойцев, направленная против владычества папы, священников и феодальных сеньоров. Преследуемые, они бегут во Фландрию, Богемию, даже в Болгарию, но только не в Германию. В Англии король Генрих I вынужден подписать хартию, основание всех последующих свобод. Среди этого движения лишь одна верная Германия остается неподвижна и безгласна. Ни одной мысли, ни одного движения, которые бы указывали на пробуждение независимой воли или какого-либо стремления в народе. Только два факта заслуживают быть отмеченными. Прежде всего, создание двух новых рыцарских орденов, ордена Тевтонских крестоносцев и ордена Ливонских меченосцев. На эти ордена была возложена миссия подготовить величие и могущество будущей кнуто-германской империи путем вооруженной пропаганды католицизма и германизма в Северной и Северо-Восточной Европе. Всем известен обычный и неизменный метод, который пускали в ход эти милые проповедники Христова Евангелия для обращения в христианство и германизации славянских, варварских и языческих народностей. Впрочем, это тот же самый метод, который их достойные преемники применяют сегодня, чтобы *морализовать, цивилизовать и германизировать* Францию; эти три разных глагола в устах и в мыслях немецких патриотов имеют одинаковый смысл.

На практике же они означают обстоятельную *its.* массовую резню, пожары, грабеж, насилие, разорение одной части населения и порабощение остальной. В завоеванных странах вокруг окопанных лагерей этих вооруженных цивилизаторов формировались впоследствии немецкие города. В центре обосновывался епископ, непременно благословлявший все совершенные или предполагаемые набеги этих благородных разбойников; вместе с епископом появлялась целая свора священников, силой крестившая бедных язычников, избегнувших резни; затем этих рабов принуждали строить храмы. Влекомые стремлением к святости и славе, прибывали, наконец, добрые немецкие буржуа, смиренные, раболепные, подло почтительные по отношению к дворянской спеси, падающие ниц перед всеми установленными властями, политическими и религиозными, одним словом, преклонявшиеся перед всем, что представляло собой какую-либо силу, но до крайности жестокие, преисполненные презрения и ненависти к побежденному местному населению. К этому еще нужно прибавить, что буржуазные выходцы соединяли с этими полезными, хотя и неблагородными качествами силу, ум, редкое упорство в труде и невероятную способность к росту и воинствующей экспансии. Все это, вместе взятое, делало этих трудолюбивых паразитов очень опасными для независимости и целостности национального характера даже в тех странах, где они водворились не по праву завоевания, но из милости, как, например, в Польше. Вот таким-то образом оказались германизированными в один прекрасный день Восточная и Западная Пруссия и часть великого герцогства Познанского.— Другой немецкий факт, имевший место в этом веке,— это возрождение римского права, осуществленное, конечно, не по народной инициативе, но особой волей императоров, которые, покровительствуя и способствуя изучению Пандектов, составленных Юстинианом, заложили основы современного абсолютизма.

В XIII веке немецкая буржуазия, казалось, начинает, наконец, пробуждаться. Война гвельфов и гибеллинов, продолжавшаяся около столетия, внесла диссонанс в ее

песни и мечты и, наконец, вывела ее из благочестивой летаргии. Начало было недурно. Следуя, несомненно, примеру итальянских городов, у которых были обширные торговые связи со всей Германией, более шестидесяти немецких городов образовывают торговую и по необходимости политическую грозную лигу, знаменитый Ганзейский союз.

Если бы немецкая буржуазия обладала инстинктом свободы, хотя бы зачаточным, единственно возможным в те отдаленные времена, она могла бы завоевать свою независимость и утвердить свое политическое могущество даже в XIII веке, как это сделала гораздо раньше итальянская буржуазия. Притом политическое положение немецких городов в эту эпоху очень походило на положение итальянских городов, с которыми они были вдвойне связаны, как притязаниями Священной империи, так и более существенными торговыми отношениями.

Подобно республиканским городам Италии, немецкие города могли рассчитывать только на самих себя. Они не могли, как французские коммуны, опираться на возрастающее могущество монархической централизации; власть императоров, зависевшая гораздо больше от их личных способностей и от их личного влияния, чем от политических учреждений, и, следовательно, изменявшаяся вместе со сменой личностей, никогда не могла упрочиться и утвердиться в Германии. Притом, всегда занятые итальянскими делами и своей нескончаемой борьбой против пап, императоры проводили три четверти своего времени вне Германии. Вследствие этой двойной причины могущество императоров, всегда непрочное и оспариваемое, не могло представить из себя, подобно могуществу французских королей, серьезную и достаточную опору для освобождения коммун.

Немецкие города также не смогли, подобно английским общинам, вступить в союз с земельной аристократией против императорской власти, чтобы потребовать свою часть политической свободы; владетельные дома и все феодальное немецкое дворянство в противоположность английской аристократии всегда отличалось пол-

ным отсутствием политического чутья. Это был просто сброд грубых разбойников, жестоких, глупых, невежественных, любящих только жестокую и грабительскую войну, преданных разврату и пьянству. Они только и умели, что нападать на городских купцов на больших дорогах или же грабить сами города, когда чувствовали себя достаточно сильными для этого, но отнюдь не умели понять пользы союза с этими последними.

Немецкие города в деле защиты себя от притеснений, регулярного и нерегулярного грабежа императоров, владетельных принцев и дворян могли рассчитывать только на свои собственные силы и на союз между собой. Но чтобы этот союз Ганза, бывший почти исключительно союзом торговым, мог оказать им достаточное покровительство, было необходимо, чтобы он по характеру и значению стал явно политическим союзом, чтобы он вошел как признанная и значительная сила в государственную систему и чтобы империя считалась с ним как во внешних, так и во внутренних своих делах.

Обстоятельства вполне благоприятствовали этому. Могущество империи было значительно ослаблено борьбой гибеллинов и гвельфов; а поскольку немецкие города чувствовали себя достаточно сильными, чтобы образовать лигу взаимной защиты от коронованных и некоронованных грабителей, угрожавших им со всех сторон, то ничто не мешало им придать этому союзу гораздо более позитивный политический характер, то есть характер огромной коллективной силы, внушающей уважение. Они имели возможность сделать даже больше: пользуясь более или менее фиктивным союзом, который мистическая Священная империя создала между Италией и Германией, немецкие города могли бы объединиться или образовать федерацию с итальянскими городами, как они заключили союз с фламандскими городами, а позднее даже с некоторыми польскими городами. Само собой разумеется, они должны бы были это сделать не на исключительно немецкой, но на широко интернациональной основе. И кто знает, такой союз, присоединивший к прирожденной немного тяжеловесной и грубой силе немцев ум, поли-

тические способности и любовь к свободе, свойственные итальянцам, не придал ли бы он политическому и социальному развитию Запада совершенно иное направление, несравненно более благоприятное для цивилизации всего мира. Один только большой изъян мог появиться из-за подобного союза; это — образование нового политического мира, могучего и свободного, вне земледельческих масс и, следовательно, направленного против них. При подобной политической комбинации итальянские и германские крестьяне еще больше были бы предоставлены произволу феодальных сеньоров, чего, впрочем, не удалось совсем избежать, так как муниципальная организация городов имела своим следствием глубокое отчуждение крестьян от буржуа и от рабочих и в Италии, и в Германии.

Но перестанем мечтать за этих добрых немецких буржуа! Они сами мечтают достаточно; беда только в том, что никогда свобода не была предметом их мечтаний. У них никогда не было, ни тогда, ни после, необходимого умственного и нравственного предрасположения постичь, полюбить, пожелать и создать свободу. Дух независимости им всегда был неведом. Сама мысль о протесте и возмущении внушает им страх и отвращение. Бунт несовместим с их покорным и терпеливым характером, и их мирно и покорно трудолюбивыми привычками, и их благоразумным и вместе с тем мистическим культом власти. Можно сказать, что все немецкие буржуа обязательно являются на свет с шишкой почтения, общественного порядка и послушания. С такими предрасположениями никогда не добьешься освобождения и даже в самых благоприятных условиях останешься рабом.

Так обстояло дело с лигой ганзейских городов. Она никогда не выходила за пределы умеренности и благоразумия, добиваясь только трех вещей: чтобы ей предоставили мирно богатеть с помощью ее промышленности и торговли; чтобы признали ее внутреннюю организацию и судопроизводство; чтобы не требовали от нее слишком огромных денежных пожертвований взамен оказываемых ей покровительства и снисходительности. Что касается общих дел империи, как внутренних, так и внешних,

то немецкая буржуазия охотно предоставляла исключительную заботу об этом «важным господам» (den grossen Herren), будучи сама слишком скромною, чтобы в них вмешиваться.

Подобная политическая умеренность должна была с необходимостью сопровождать крайнюю медлительность интеллектуального и социального развития нации, точнее, являться определенным ее симптомом. И действительно, мы видим, что в продолжение всего XIII века немецкий ум, несмотря на значительное торговое и промышленное развитие, несмотря на все материальное процветание немецких городов, абсолютно ничего не произвел. В том же самом веке в Парижском университете, несмотря на короля и папу, уже преподавалась доктрина, смелость которой могла бы привести в ужас наших метафизиков и теологов, утверждавшая, например, что мир, будучи вечным, не мог быть сотворен, и отрицающая бессмертие души и свободу воли. В Англии мы встречаем великого монаха Роджера Бэкона, предшественника современной науки и истинного изобретателя компаса и пороха, хотя немцам и очень хотелось бы приписать себе это последнее изобретение. В Италии писал Данте. В Германии же — беспросветный интеллектуальный мрак.

В четырнадцатом веке Италия уже обладает превосходной национальной литературой: Данте, Петрарка, Боккаччо; на политической арене фигурируют такие люди, как Риенци и Микеле Ландо, рабочий-чесальщик из Флоренции. Во Франции коммуны, представленные в Генеральных штатах, окончательно определяют свой твердый политический характер, поддерживая королевскую власть против аристократии и папы. Это также век Жакерии, первого восстания французской деревни, воспоминание о котором должно пробуждать энтузиазм в сердцах искренних социалистов, подобно тому, как оно будит презрение и ненависть в сердцах буржуа. В Англии начинает проповедовать Джон Уиклиф, истинный инициатор религиозной реформации. В Богемии, славянской стране, имевшей несчастие сделаться частью Германской

империи, мы находим в народных массах, среди крестьян, такую любопытную секту, как фратичелли, которые в борьбе между небесным деспотом и сатаной дерзают брать сторону сатаны, этого духовного главы всех революционеров, прошедших, настоящих и будущих, истинного творца человеческого освобождения, по свидетельству Библии, отрицателя небесной империи, подобно тому, как мы являемся отрицателями всех земных империй, создателя свободы, того, кого Прудон в своей книге о Справедливости приветствует с таким неподражаемым красноречием. Fraticelli приготовили почву для революции Гуса и Жижки. Наконец, в этом веке зарождается швейцарская свобода.

Восстание немецких кантонов Швейцарии против деспотизма дома Габсбургов — факт, настолько противоречащий национальному духу Германии, что он своим необходимым, непосредственным следствием имел основание новой швейцарской нации, крещенной именем восстания и свободы и, как таковой, с тех пор отделенной от Германской империи непроходимой преградой.

Немецкие патриоты любят повторять вместе со знаменитой пангерманской песенкой Арндта, что «их отечество простирается настолько же далеко, насколько звучит их язык, возносящий хвалы Господу».

Если бы они больше прислушивались к подлинному смыслу их истории, чем к внушениям их безудержной фантазии, то должны были бы сказать, что их отечество простирается настолько же далеко, насколько господствует рабство народов, и что оно кончается там, где начинается свобода.

Не только Швейцария, но и города Фландрии, хотя и связанные с германскими городами материальными интересами, интересами возрастающей и развивающейся торговли, и несмотря на то, что они составляли часть Ганзейского союза, начиная именно с этого века стремятся отдалиться все более и более от городов германских под влиянием того же самого духа свободы.

В Германии на протяжении всего этого века, при все возрастающем материальном благополучии не замечается

ни малейшего умственного или социального движения. В политике заслуживают быть отмеченными только два факта: первый — это заявление имперских принцев, которые, подражая примеру французских королей, объявляют, что империя должна быть независима от папы и что выше императора один только Бог; второй — обнародование знаменитой Золотой Буллы. Этими фактами окончательно организуется империя и учреждается институт семи принцев-выборщиков в честь семи подсвечников Апокалипсиса.

Наконец, мы в XV веке. Это век Возрождения. Италия в полном расцвете. Во всеоружии вновь открытой философии античной Греции она разбивает мрачную темницу, в которой в продолжение десяти веков католицизм держал человеческий дух. Падает вера, зарождается свободная мысль. Это — блестящая и радостная заря человеческой эмансипации. Под небом свободной *Италии* родятся без счету независимые и смелые мыслители. Сама церковь становится там языческой. Папы и кардиналы, презирая св. Павла, поклоняются Аристотелю и Платону, проникаются материалистической философией Эпикура и, забыв христианского Юпитера, клянутся только Бахусом и Венерой, что не мешает им, однако, время от времени заниматься преследованием свободных мыслителей, увлекательная пропаганда которых угрожает уничтожить веру народных масс, источник их могущества и доходов. Горячий и знаменитый проповедник новой веры, религии человечества Пико делла Мирандола, умерший таким молодым, особенно навлекает на себя громы Ватикана.

Во Франции и в Англии — застой. Первая половина этого века занята гнусной и бессмысленной войной, начавшейся из-за самолюбия королей и неразумно поддержанной английской нацией, войной, отодвинувшей на целый век назад Англию и Францию. Как пруссаки в настоящее время, англичане XV века хотели разорить Францию, подчинить ее себе. Они даже овладели Парижем — что при всем их желании немцам еще не удалось сделать до сих пор — и сожгли Жанну д'Арк в Руане, как немцы теперь вешают вольных стрелков. В конце концов они

были изгнаны из Парижа и из Франции, чем — будем надеяться — окончится и немецкое нашествие.

Во второй половине XV века во Франции мы видим зарождение подлинного королевского деспотизма, усиленного этой войной. Это — эпоха Людовика XI, неотесанного грубияна под стать Вильгельму I с его Бисмарками и Мольтке, зачинателя бюрократической и военной централизации Франции, создателя Государства. Он благоволит еще иногда опираться на своекорыстные симпатии своей верной буржуазии, которая с удовольствием смотрит, как король рубит родовитые и гордые головы своих феодальных сеньоров, но буржуазия уже чувствует по манере, с какой он обращается с ней, что если бы она не захотела поддерживать его, он сумел бы ее принудить к тому. Всякая независимость, дворянская или буржуазная, духовная или светская, ему одинаково ненавистна. Он уничтожает остатки феодального строя и рыцарство; учреждает военные ордена: это для дворянства. Он облагает налогами свои верные города по своему усмотрению и диктует свою волю Генеральным штатам. Это для буржуазной свободы. Он, наконец, запрещает читать *номиналистов* и предписывает чтение *реалистов**. Это для свободы мысли. Но все *же,* несмотря на такое суровое притеснение, Франция в конце XV века дает миру Рабле, истинно народного галльского гения, глубоко одаренного бунтарским духом, который характеризует собою век Возрождения.

В Англии, несмотря на ослабление народного духа, естественное следствие гнусной войны против Франции, мы видим в продолжение всего XV века учеников Уиклифа, проповедующих, несмотря на жестокие гонения, доктрину своего учителя и приготовляющих таким образом почву для религиозной революции, разразившейся веком позже. В то же время путем индивидуальной пропаганды, не видной на поверхности, но тем не менее живучей, в Англии так же, как и во Франции, свободный

* *Номиналисты,* материалисты, насколько могли ими быть схоластические философы, не признавали реальности отвлеченных идей; *реалисты,* наоборот, правоверные мыслители, поддерживали *реальное* бытие этих идей.

дух Возрождения стремится создать новую философию. Фламандские города, гордые своей свободой и сильные своим богатством, с полным правом вливаются в культурное и научное развитие, все более и более отделяясь от Германии.

Что касается Германии, то мы видим, что она спит крепким сном в продолжение всей первой половины этого века. Однако в недрах империи и в самом ближайшем соседстве с Германией произошло событие огромной важности, достаточное, чтобы вывести из оцепенения всякую другую нацию. Я имею в виду религиозное восстание Яна Гуса, великого славянского реформатора.

С чувством глубокой симпатии и братской гордости думаю я об этом великом национальном движении славянского народа. Это было больше, чем религиозное движение, это был победоносный протест против немецкого деспотизма, против аристократически-буржуазной цивилизации немцев; это было восстание древней славянской общины против немецкого государства. Два великих славянских восстания имели место уже в XI веке. Первое было направлено против благочестивых притеснений бравых тевтонских рыцарей, предков современных прусских поместных дворянчиков. Славянские повстанцы сожгли тогда все церкви и истребили всех священников. Они вполне справедливо ненавидели христианство, представшее перед ними в самой своей отвратительной, германистской форме: под личиной любезного рыцаря, добродетельного священника и честного буржуа, всех троих — чистокровных немцев и как таковых представителей власти прежде всего, представителей грубого, наглого и жестокого гнета. Второе восстание было спустя тридцать лет в Польше. Это было первое и единственное чисто польское крестьянское восстание. Оно было подавлено королем Казимиром. Вот каково суждение об этом событии великого польского историка Лелевеля, в патриотизме которого и даже в известной любви к классу, называемому им *«благородная демократия»*, никто не может усомниться:

«Партия Мазлава (предводителя мазовецких крестьян-повстанцев) была народной и была связана с язычеством.

Партия Казимира была аристократической и сторонницей христианства» (т. е. германизированной). Далее он добавляет: «Несомненно, на это бедственное событие нужно смотреть как на победу, одержанную над низшими классами, судьба которых могла вследствие этого только ухудшиться. *Порядок был восстановлен,* но социальный курс с тех пор круто повернулся против низших классов» *(Histoire de la Pologne, par loachim Lelewel, t. II, p. 19).*

Богемия позволила германизировать себя еще более, чем Польша. Как и последняя, она никогда не была завоевана немцами, но она позволила им глубоко развратить себя. Став членом Священной империи со времени ее основания как государства, она, к сожалению, никогда не могла освободиться от нее и приняла все ее клерикальные, феодальные и буржуазные институты. Города и дворянство Богемии частью германизировались; дворянство, буржуазия и духовенство, не будучи немцами по рождению, превратились в них благодаря крещению, воспитанию и своему политическому и социальному положению. Примитивно организованные славянские общины не признавали ни священников, ни классов. Одни богемские крестьяне не заразились этой немецкой проказой и стали, разумеется, жертвой этого, что объясняет их инстинктивную симпатию ко всем народным ересям. Так, мы видели, что уже в XII веке по Богемии распространилась ересь вальденсов; в XIV в. — ересь фратичелли; а к концу этого века на очереди стояла ересь Уиклифа, сочинения которого были переведены на богемский язык. Все эти ереси стучались также и в двери Германии; прежде чем добраться до Богемии, они должны были даже пройти через Германию. Но в недрах немецкого народа они не встретили ни малейшего отзвука. Неся в себе зародыш бунта, они проскользнули бесследно по ее поверхности, не проникнув в глубину, не затронув ее, не нарушив ее глубокого сна. Но зато все они находили благоприятную почву в Богемии, народ которой, порабощенный, но не германизированный, проклинал от всего сердца и это рабство, и всю аристократически-буржуазную цивилизацию немцев. Этим объясняется, почему на пути религиоз-

ного протестантизма чешский народ опередил на целый век народ немецкий.

Одним из первых проявлений этого религиозного движения в Богемии было массовое изгнание всех немецких профессоров из Пражского университета, ужасное преступление, которое немцы никогда не могли простить чешскому народу. И все нее, если присмотреться ближе, придется согласиться, что этот народ был тысячу раз прав, изгнав этих дипломированных раболепных развратителей славянской молодежи. Вспомните только: за исключением очень короткого периода, приблизительно около тридцати пяти лет, между 1813 и 1848 гг., когда *дерзкий* либерализм и даже французский демократизм контрабандой проскользнул и утвердился в немецких университетах в лице двух-трех десятков знаменитых ученых, проникнутых искренним либерализмом, чем были немецкие профессора до этой эпохи и чем они сделались вновь под влиянием реакции 1849 года? Они были и остались льстецами всех властей, профессорами раболепства. Происходя из немецкой буржуазии, они добросовестно выражают ее стремления и дух. Их наука — верное выражение рабского сознания. Это — идеальное освящение исторического рабства.

Немецкие профессора XV века в Праге были по крайней мере такими же раболепными лакеями, как и современные профессора Германии. Эти душой и телом преданы Вильгельму I, свирепому будущему государю кнуто-германской империи. Те были заранее раболепно преданы всем императорам, которых соблаговолили бы выбрать семь германских апокалипсических принцев-выборщиков для Священной Германской империи. Их мало интересовало, кто хозяин, лишь бы он был; общество без господина казалось им чудовищной аномалией, возмущав шей их буржуазно-германское воображение. Это было, по их мнению, ниспровержением германской цивилизации.

Притом, какие науки преподавались ими, этими немецкими профессорами XV века? Католическо-римская теология и кодекс Юстиниана, два орудия деспотизма. Прибавьте сюда схоластическую философию, и это в ту

пору, когда, оказав в прошедшие века несомненные услуги освобождению духа, она остановилась и застыла в своем окаменелом педантизме, осаждаемая современным мышлением, которое оживляло предчувствие — если не присутствие — живой науки. Прибавьте сюда еще немного варварской медицины, преподаваемой, как и все остальное, на варварском латинском языке, и перед вами весь научный багаж этих профессоров. Стоило ли держать их ради этого? Тем более, что кроме развращения молодежи своим преподаванием и своим раболепным примером они еще были очень деятельными, очень усердными агентами этого рокового дома Габсбургов, который смотрел уже на Богемию как на свою добычу.

Ян Гус и Иероним Пражский, его друг и ученик, много способствовали их изгнанию. Характерно, что когда император Сигизмунд, нарушив данный им охранный лист, велел их сперва осудить Констанцским собором потом обоих сжечь, одного в 1415 году, другого в 1416 году, перед лицом всей Германии при огромном стечении немцев, съехавшихся издалека для присутствия на этом зрелище, ни один немецкий голос не поднялся, чтобы протестовать против этого беззакония и отвратительной жестокости. Нужно было ждать еще сто лет, чтобы Лютер реабилитировал в Германии память этих двух великих славянских реформаторов и мучеников.

Но если немецкий народ, вероятно, еще дремавший и грезивший, оставил без протеста это ужасное преступление, то чешский народ ответил на него грозной революцией. Поднялся великий, ужасный Жижка, этот герой, этот мститель народный, память о котором, как обет грядущего, еще живет в недрах богемской деревни, — и во главе своих таборитов, обойдя всю Богемию, сжег церкви, уничтожил священников и смел всю императорскую, или немецкую, сволочь, что тогда означало одно и то же, потому что все богемские немцы были сторонниками императора. Вслед за Жижкой Прокоп Великий наполнил ужасом сердце немцев. Сами пражские буржуа, разумеется, бесконечно более умеренные, чем крестьяне-гуситы, заставили выпрыгнуть из окна, по древнему обы-

чаю этой страны, сторонников императора Сигизмунда в 1419 г., когда этот подлый клятвопреступник, этот убийца Яна Гуса и Иеронима Пражского имел бесстыдство и циничную наглость выставить себя в качестве претендента на освободившуюся Богемскую корону. Пример, достойный подражания! Пример того, как следует обращаться друзьям всеобщего освобождения со всеми, кому вздумается предстать перед народными массами в качестве *официальной власти,* под какой бы то ни было маской, под каким бы то ни было предлогом и под каким бы то ни было наименованием!

В продолжение семнадцати лет подряд эти грозные табориты, живущие между собою в братском согласии, разбивали все саксонские, франконские, баварские, рейнские и австрийские войска, которые император и папа посылали против них крестовым походом; они очистили Моравию и Силезию и перенесли ужас своего нашествия в сердце самой Австрии. В конце концов они были разбиты императором Сигизмундом. Почему? Причина та, что они были ослаблены интригами и предательством чешской партии, которая, однако, состояла из коалиции местного дворянства и пражской буржуазии, немцев по воспитанию, по положению, по идеям и нравам, если не по происхождению, присвоивших себе, в противоположность таборитам — коммунистам и революционерам, — наименование *каликстинцев,* т. е. людей, требующих *мудрых, возможных* реформ, бывших, одним словом, в Богемии того времени представителями той самой политики лицемерной умеренности и плутоватого бессилия, которую теперь там не без успеха поддерживают гг. Палацки, Ригер, Браунер и К°.

С этого момента народная революция быстро пошла к упадку, уступив место сначала дипломатическому влиянию, а веком позднее — абсолютному господству австрийской династии. Умеренные и ловкие политики, воспользовавшись торжеством проклятого Сигизмунда, овладели правительством, как им это удастся, вероятно, сделать, к ее вящему несчастью, и во Франции по окончании этой войны. Они послужили, одни сознательно

и с большой пользой для своих карманов, другие глупо, сами того не подозревая, орудиями австрийской политики, как Тьеры, Фавры, Симоны, Пикары и многие другие будут служить орудиями Бисмарка. Австрия магнетизировала и вдохновляла их. Спустя двадцать пять лет после уничтожения Сигизмундом гуситов эти ловкие и осторожные патриоты нанесли последний удар независимости Богемии, разрушив руками своего короля Подебрада город Табор, укрепленный лагерь таборитов. Так же жестоко поступают буржуазные республиканцы Франции, заставляющие своего президента или короля принимать жестокие меры против социалистического пролетариата, этого последнего оплота будущего и единственного защитника национального достоинства Франции.

В 1526 году корона Богемии, наконец, досталась Австрийской династии, которая уже никогда не выпустит ее из своих рук. В 1620 г. после агонии, длившейся немного менее ста лет, Богемия, преданная огню и мечу, опустошенная, разграбленная, разбитая, с населением, уменьшившимся наполовину, утратившая все, что еще оставалось от ее независимости и ее национальных политических прав, оказалась закованной в цепи под тройным игом: императорской администрации, немецкой цивилизации и австрийских иезуитов. Будем надеяться, во имя счастья и спасения человечества, что этого не произойдет с Францией.

В начале второй половины XV века немецкая нация представила, наконец, доказательство жизнеспособности своего гения, казалось, уснувшего навеки, и это доказательство, нужно сознаться, было блестящим: она изобрела книгопечатание, и при его посредстве она включилась в культурную жизнь всей Европы. Ветер Италии, сирокко свободной мысли, подул на нее, и под этим жгучим веянием растопилось ее варварское равнодушие, ее ледяная неподвижность. Германия становится гуманистичной и человечной.

Помимо распространения книг связь с Италией поддерживалась еще и путем личных сношений. Немецкие путешественники, возвращавшиеся из Италии в конце

этого века, приносили оттуда новые идеи, евангелие человеческого освобождения, и пропагандировали их с религиозной страстностью. На этот раз драгоценные семена не пропали даром. Они нашли в Германии почву, готовую для их восприятия. Эта великая нация, пробужденная к мысли и деятельности, внесла свой вклад в идейное течение века. Но увы! ее духовный подъем длился не более двадцати пяти лет.

Надо различать движение Возрождения и движение религиозной Реформации. В Германии первое движение опередило второе лишь на несколько лет. Был короткий период, между 1517 и 1525 гг., когда эти два движения, казалось, слились, хотя по духу они были совершенно противоположны друг другу: первое, представленное такими людьми, как Эразм, Рейхлин, великодушный и героический Ульрих фон Гуттен, поэт и гениальный мыслитель, ученик Пико делла Мирандолы и друг Франца фон Зикингена, Эколампадия и Цвингли, являющийся в некотором роде связующим звеном между чисто философским переворотом Возрождения, чисто религиозным преобразованием веры протестантской Реформацией и революционным восстанием масс, вызванным началом этой последней; второе, представленное главным образом Лютером и Меланхтоном, двумя отцами нового, исключительно религиозного и богословского течения в Германии. Первое из этих течений, глубоко гуманистическое, стремилось через посредство философских и литературных трудов Эразма, Рейхлина и других к полному освобождению духа и к разрушению глупых верований христианства; и в то же время, в лице более практических и более революционных деятелей, таких, как Ульрих фон Гуттен, Эколампадий и Цвингли, оно ставило своею целью освобождение народных масс из-под ига дворян и князей. Движение же Реформации, фанатически религиозное, богословское и, как таковое, преисполненное почтения ко всему божескому и презрения ко всему человеческому, суеверное до такой степени, что верило в возможность видеть дьявола и бросать ему в голову чернильницу, — как это произошло, говорят с Лютером

в замке Вартбург, где еще и теперь показывают на стене чернильное пятно, — должно было неизбежно стать непримиримым врагом свободы духа и свободы народов.

Был, однако же, один момент, как я уже сказал, когда эти оба течения, такие противоречивые по существу: первое революционное по принципу, второе — в силу условий, должны были реально слиться в один поток. Этому отчасти способствовала двойственность, присущая самому Лютеру. Как богослов он был и должен был быть реакционером; но по натуре своей, по темпераменту, по инстинкту он был страстным революционером. У него была натура человека из народа, могучая натура, вовсе не созданная для того, чтобы терпеливо сносить какой бы то ни было гнет. Перед одним Богом, в которого он слепо верил и благодать которого ощущал в сердце своем, готов он был преклониться; и во имя Бога удалось *кроткому* Меланхтону, ученому богослову, и только богослову, его другу и его ученику, а на самом деле руководителю и укротителю этой львиной натуры, направить его решительно в сторону реакции.

Первое рычание этого сурового и великого немца было совершенно революционно. Действительно, трудно себе представить что-либо революционнее его воззваний против Рима; его обвинений и угроз, брошенных им в лицо германским принцам; его страстной полемики против лицемерного, утопающего в роскоши деспота и реформатора Англии Генриха VIII. Начиная с 1517 года до 1525 года только и слышно было в Германии, что громовые раскаты этого голоса, призывавшего, как казалось, немецкий народ ко всеобщему обновлению, к революции.

Его призыв был услышан. Немецкие крестьяне поднялись с тем грозным кличем, кличем социалистов: *«Война дворцам, мир хижинам!»*, который в наши дни превратился в еще более грозный призыв: «Долой всех эксплуататоров и всех опекунов человечества, свобода и равенство в труде и пользовании земными благами, братство всех людей да расцветет на развалинах всех государств!»

Это был критический момент для религиозной Реформации и для всей политической судьбы Германии. Если

бы Лютер захотел стать во главе этого великого народно-социалистического движения, сельское население восстало бы против своих феодальных владельцев, городская буржуазия поддержала бы его и с империей, с деспотизмом владательных принцев и с наглостью дворянства в Германии было бы покончено. Но для того, чтобы дать этому движению развиться, нужно было, чтобы Лютер не был богословом, более заботившимся о прославлении Творца небесного, чем о достоинстве человеческом, если бы его не возмущало, а, напротив, радовало, что угнетенные люди, бесправные крепостные вместо того, чтобы думать о спасении своих душ, дерзали требовать свою долю человеческого счастья *на этой земле;* нужно было также, чтобы городские буржуа Германии не были немецкими буржуа.

Подавленное и дезорганизованное равнодушием, а зачастую также и явной недоброжелательностью городов и теологическими проклятиями Меланхтона и Лютера гораздо более, чем вооруженной силой дворян и князей, это грозное крестьянское восстание в Германии было побеждено. Спустя десять лет также было подавлено другое восстание, последнее, вызванное в Германии религиозной Реформацией. Я имею в виду попытку мистико-коммунистической организации анабаптистов Мюнстера, столицы Вестфалии. Мюнстер был взят, и Иоанн Лейденский, пророк анабаптистов, казнен при рукоплесканиях Меланхтона и Лютера.

Но еще за пять лет до этого печального финала народной революции, в 1530 году, оба германских богослова наложили роковую печать на все будущее страны, как религиозное, так и социальное. Я говорю об Аугсбургском исповедании, представленном Лютером и Меланхтоном германскому императору и князьям, которое одним ударом парализовало свободный душевный подъем, отвергло даже ту свободу совести, во имя которой была совершена Реформация. Но еще пагубнее был тот пункт нового исповедания, который признавал протестантских князей естественными покровителями и главами религиозного культа и устанавливал новую официальную церковь, кото-

рая не замедлила сделаться даже более абсолютной, чем римско-католическая, и такой же раболепной относительно светской власти, как церковь византийская. Таким образом, Реформация, в своем конечном результате, дала в руки протестантских императоров и владетельных князей орудие страшного деспотизма и повергла всю Германию, протестантскую, а также и католическую, по меньшей мере в трехвековое грубейшее рабство, которое — увы! — и доныне не расположено, как мне кажется, уступить свое место свободе.

Чтобы убедить в духе раболепства, характерном для германской лютеранской церкви и в наши дни, как и прежде, достаточно прочесть формулу декларации или клятвенного обещания, которое должен подписать и поклясться исполнять каждый пастор, прежде чем приступить к отправлению своих обязанностей. Оно не превосходит обязанности, но совершенно равно по своему раболепству присяге русского духовенства. Каждый пастор в Пруссии клянется быть всю свою жизнь покорным и преданным слугою своего господина и своего государя — не Господа Бога, а короля прусского; клянется точно и неуклонно исполнять все святые повеления и никогда ни ради чего не поступаться священными интересами его величества и, кроме того, клянется внушать такое же абсолютное почтение и послушание своей пастве и *доносить правительству о всех мыслях, о всех делах и о всех начинаниях своей паствы, идущих вразрез с волей и интересами королевского правительства.* И вот таким-то рабам доверяется исключительное руководство народными школами в Пруссии! Это столь хваленое обучение есть не что иное, как отравление масс, систематическое культивирование доктрины рабства.

Для Швейцарии было большим счастьем, что заседавший в том же году Страсбургский собор, руководимый Цвингли и Бюсе, отверг эту конституцию рабства, называемую религиозной и действительно являвшуюся таковой, поскольку именем самого Бога она освящала абсолютную власть князей. Будучи почти исключительно порождением богословской и ученой головы профессора Меланхто-

на, созревшая на почве глубокого, безграничного, непоколебимого и раболепного преклонения, которое каждый буржуа и немецкий профессор испытывает к личности своего господина, эта доктрина была слепо принята немецким народом, *потому что его князья приняли ее*. Новый симптом исторического рабства, не только внешнего, но и внутреннего, давящего на народ.

Это вполне понятное со стороны германских протестантских князей стремление разделить между собою обломки духовной власти папы и каждому сделаться маленьким папой в пределах своего государства мы встречаем также и в других монархических протестантских странах Европы, например, в Англии или в Швеции, но ни в той, ни в другой этой тенденции не удалось восторжествовать над гордым чувством независимости, пробудившимся в народах. В Швеции, Дании и Норвегии народ и особенно класс крестьян сумел отстоять свою свободу и свои права как от притязаний дворянства, так и от посягательств монархии. В Британии борьба официальной англиканской церкви со свободными церквами, пресвитерианцами Шотландии и индепендентами Англии, заканчивается великой и памятной революцией, от которой ведет свое начало национальное величие Великобритании. Но в Германии этот вполне естественный деспотизм князей не встретил подобного противодействия. Все прошлое германского народа, полное грез, но бедное свободой мысли и действия, чуждое свободных проявлений народной инициативы, наложило на весь его характер печать приниженной и почтительной покорности, и в этот критический момент своей истории германский народ не нашел в себе ни необходимой энергии, ни достаточной независимости, ни темперамента, чтобы отстоять свою свободу против традиционной и жестокой власти своих бесчисленных владык, князей и господ. В первый момент энтузиазма он выказал необычайно высокий подъем духа, и казалось даже, что пределы Германии слишком узки, чтобы сдержать взрыв ее революционной энергии. Но это был только момент, только порыв и как бы преходящее и искусственное проявление болезненно воспаленного

мозга. Скоро он выдохся; тяжеловесный, малодушный и бессильный, раздавленный своей собственной тяжестью, он покорно позволил Лютеру и Меланхтону отвести себя на поводу в лоно церкви и надеть на шею спасительное и привычное ярмо своих князей.

Он во сне видел свободу и пробудился еще большим рабом, чем когда-либо. С тех пор Германия стала подлинным центром реакции в Европе. Не довольствуясь проповедью рабства посредством своего примера и посылки своих принцев, принцесс и своих дипломатов для насаждения и распространения его во всех европейских странах, она избрала рабство предметом своих наиболее глубоких научных умозрений. Во всех других странах администрация, взятая в самом широком смысле как организация бюрократической и фискальной эксплуатации, осуществляемой государством над народными массами, рассматривается как искусство: искусство водить на поводу народ, держать его в суровой дисциплине и стричь его, не позволяя слишком много кричать при этом. В Германии это искусство преподается как наука во всех университетах. Эту науку можно было бы назвать современной теологией, теологией культа Государства. В этой религии земного абсолютизма государь занимает место Господа Бога, бюрократы являются священниками, а народ, разумеется, жертвой, постоянно приносимой на алтарь Государства.

Если верно, что только инстинкт свободы, ненависть к притеснителям и способность восставать против всевозможной эксплуатации и деспотизма служит мерилом человеческого достоинства наций и народов,— а в правильности этого суждения я глубоко убежден, — то нужно сознаться, что с тех пор, как существует германская нация, и до 1848 г. только одни немецкие крестьяне доказали своим восстанием в XVI веке, что этой нации не вполне чуждо это достоинство. Что же касается немецкой буржуазии, то, судя по ее чувствам, по ее поступкам, нам ничего не остается, как признать ее предназначенной к осуществлению идеала добровольного рабства.

Письмо интернационалам Болоньи
Объяснительные и подтверждающие документы № 1

Декабрь 1871 г.,
Локарно, Швейцария

На Генеральном совете только что была объявлена война. Но не пугайтесь, дорогие друзья, существование, мощь и реальное единство Интернационала от нее не пострадают; поскольку его единство не в верхах, не в некой единообразной теоретической догме, навязанной массе пролетариата, не в более или менее диктаторском правлении, вроде установленного только что в Риме конгрессом рабочих под влиянием Мадзини — оно *внизу: в сходстве материального положения, страданий, потребностей и реальных стремлений пролетариата всех стран*; власть Интернационала вовсе не в Лондоне, *она в свободной федерации автономных рабочих секций всех стран* и в организации снизу доверху практической солидарности между ними. Вот принципы, которые мы защищаем сегодня против узурпаторских и диктаторских поползновений Лондона, которые, если бы восторжествовали, убили бы Интернационал наверняка.

Генеральный совет Интернационала, находись он в Лондоне или ином месте, допустим и возможен лишь тогда, когда он облечен только скромными атрибутами Централь-

ного бюро корреспонденции. Это также в общем-то единственная роль, которую ему отводят наши общие уставы. Но как только он хочет стать реальным правительством, он немедленно становится абсолютно невозможным чудовищем. Представьте себе нечто вроде всемирного коллективного монарха, навязывающего свой закон, свою мысль, свое движение, свою жизнь пролетариям всех стран, сведенным к состоянию машин! Это была бы забавная пародия на честолюбивую мечту Цезарей, Карлов Пятнадцатых, Наполеонов в виде социалистической и республиканской всемирной диктатуры. Она бы прикончила самостоятельную жизнь всех остальных секций, что означало бы смерть Интернационала.

Такие доктринеры и властолюбцы, как Мадзини, так и Маркс, всегда смешивают единообразие с единством; формальное, догматическое и руководимое сверху единство с единством живым и реальным, которое может следовать только из самого свободного развития всех индивидуальностей и всех коллективов и из федеративного и абсолютно свободного союза, на базе их собственных интересов и их собственных потребностей, рабочих ассоциаций внутри и вне коммун; коммун в регионах, регионов в нациях, и наций в большом и братском, человеческом, интернациональном Союзе, организованном на федеративных началах одной лишь свободой на базе совместной работы всех и наиболее полного экономического и общественного равенства.

Вот программа, настоящая программа Интернационала, которую мы противопоставляем новой диктаторской программе Лондона. Мы, то есть — Конфедерация секций Юры, к которой я принадлежу. Мы не одиноки: огромное большинство, можно сказать почти все французские, испанские, бельгийские, а также, я надеюсь, итальянские интернационалы. К нам уже присоединились некоторые итальянские секции, и мы не сомневаемся, что среди них будет и ваша — одним словом, весь латинский мир с нами. У английских и американских рабочих чересчур развито чувство собственной независимости и привычка к самостоятельной жизни и действию, чтобы забивать себе голову или хотя бы принимать во внимание бисмарковские

претензии Генерального совета, которые тот даже не осмелился им сообщить. Только чисто тевтонский мир подчиняется им с той страстью к дисциплине или добровольному рабству, которые его отличают сегодня. Мысль, которая только что к несчастью возобладала внутри Генерального совета, — исключительно немецкая мысль. Представленная главным образом Марксом — немецким евреем, очень умным и весьма знающим человеком, убежденным социалистом, который оказал огромные услуги Интернационалу, но в то же время очень тщеславным, очень честолюбивым, интригующим как настоящий еврей, каковым он, собственно, и является — эта мысль, как я сказал, представленная Марксом, главой авторитарных коммунистов Германии, а также его другом Энгельсом, также очень умным человеком, секретарем Генерального совета по Италии и Испании, и другими немецкими членами Генерального совета, менее умными, но не менее интригующими и не менее фанатично преданными их диктатору-мессии Марксу, — эта мысль им внушена расовым чувством. Именно пангерманизм, пользующийся недавним триумфом военного абсолютизма Пруссии, эта всепожирающая и всепоглощающая мысль Бисмарка, идея пангерманского государства, подчиняющего более или менее всю Европу господству немецкой расы, которую они считают призванной возродить мир, — это мысль, губительная для свободы и смертельная для латинской и славянской расы, старается сегодня полностью подчинить себе руководство Интернационала. Этой чудовищной претензии пангерманизма, мы должны противопоставить союз латинской и славянской расы, — не с этой чудовищной Всероссийской империей, которая является ни чем иным как разновидностью Германской империи, навязываемой славянским народам татарским кнутом, не с этим чудовищем, которое называется панславизмом и которое не будет чем-то иным, нежели триумфом и господством этого кнута в Европе — нет, союз латинской экономической и общественной революции с экономической и общественной революцией славян; революции, которая, будучи основана на экономическом освобождении народных масс, и которая, беря

в основу своей организации самостоятельность свободно объединенных рабочих ассоциаций, коммун, регионов и наций, выплавит новый интернациональный мир на развалинах всех государств — мир, имеющий в качестве материальной базы равенство, души — свободу, предметом действия — работу, а разумом — только науку, и который станет триумфом человечества.

Этому латино-славянскому союзу незачем идти войной на пролетариат Германии, сегодня, к несчастью, сбитому с пути своими руководителями. Общее правило: народные массы никогда не проповедуют тщеславия и национальных амбиций; их всегда эксплуатируют руководители, которые, естественно, испытывают большой интерес к расширению границ мира, подвергаемого их алчной эксплуатации. Таким образом, вместо того, чтобы искать с ним войны, латино-славянский союз будет пытаться, напротив, усиливать и умножать связи самой тесной солидарности с пролетариатом Германии, стараясь пронести в его ряды горячей и неутомимой пропагандой этот принцип, эту страсть свободы, разрушающую все искусственные нагромождения нового деспотизма, который его нынешние руководители хотели бы построить на его плечах, чересчур привыкших к рабству. Только она одна сможет дать и обеспечить ему то, что он ищет и чего желает также страстно, как пролетариат всех других стран, — человеческого существования.

Я возвращаюсь к Генеральному совету в Лондоне. Его претензии тем смешнее и абсурднее, что его совершенно беспорядочный и только временный состав и принципы деятельности должны были бы обязать его к гораздо более скромным чувствам. Было бы еще понятно, если бы он присвоил себе право — по моему мнению в любом случае несправедливое и губительное для свободы, за исключением случаев войны — право навязывать свои законы всем национальным группам Интернационала, если бы он был действительно представителем этих групп. Но для этого нужно, что он был составлен из делегатов, названных и обновляемых на выборной основе ежегодно, либо раз в два года этими группами. Было бы нужно, чтобы каждая страна была там представлена по крайней мере двумя делегатами,

специально избранными национальным конгрессом всех ее секций. Тогда было бы нужно, чтобы каждая национальная группа могла расходовать ежегодно от 4 до 6 тысяч франков, оплачивая каждому из своих делегатов, с учетом расходов на корреспонденцию, от 2 до 3 тысяч франков в год, так как жизнь в Лондоне дороже чем в другом месте. Эта оценка неполна, но по большей части также мало значима, поскольку с самого начала ему придавалась весьма скромная роль и назначение, предписанные Общими Уставами, в результате чего начиная с первого конгресса Интернационала в Женеве (1866 г.), конгресса в Лозанне (1867 г.), Брюссельского (1868 г.) и последнего конгресса в Базеле (1869 г.) наконец, оказалось удобнее продлевать на временной основе существование все того же Генерального совета, давая ему право кооптировать новых членов, нежели обновлять его каждый год. Таким образом, за очень малым исключением, с тех пор как Интернационал существует, это все тот же Генеральный совет; тот самый, который еще до Женевского конгресса назывался Генеральным советом или временным Центральным комитетом, и который принял окончательное название Генерального совета только вследствие голосования этого конгресса. Он в подавляющем большинстве составлен из немцев и англичан. Все другие нации только представлены там очень бедно, иногда их национальными представителями, которые, находясь в Лондоне, имели счастье понравиться Марксу и компании, а иногда, за их отсутствием, представителями другой нации, в большинстве случаев немцами. Таким образом сегодня даже Италия и Испания представлены там немцем Энгельсом, Америка — немцем Эккариусом, Россия — немецким евреем Марксом, что просто смешно. Чтобы представлять Францию, пренебрегая, например, Бержере, который редактирует «Кто идет!» («Qui Vive») в Лондоне, равно как и другими энергичными, преданными и умными представителями Коммуны и давними членами французского Интернационала, они взяли Серрайе, ничтожество, который до того никогда даже не состоял в Интернационале; и это по той простой причине, что все серьезные французы, блюдущие свое достоинство и независимость, не хотели и не могли подчиниться

Марксу, в то время как Серрайе, желающий стать или скорее казаться чем-то значимым под носом у своих более серьезных соотечественников, охотно подчинился диктатуре немецкого еврея.

В действительности именно немецкая группировка властвует и правит всем в Генеральном совете. Его английские члены, как настоящие островитяне, которыми они и являются, игнорируют континент, и занимаются исключительно лишь организацией рабочих масс в своей собственной стране. Таким образом все, что делалось в Генеральном совете, было сделано только немцами под исключительным руководством Маркса.

В остальном до сентября 1871 года действие Генерального совета с чисто международной точки зрения, было совершенно ничтожно, настолько ничтожно, что он никогда не выполнял даже обязанностей, которые ему последовательно поручали конгрессы. Так, например, сводки об общем положении Интернационала, которые он должен был публиковать каждый месяц, не публиковались никогда. — Для этого имелось много причин. Прежде всего, Генеральный совет всегда был очень беден. Мы все, хорошо знающие состояние финансов Интернационала, много смеялись и продолжаем смеяться, когда читаем в различных официальных и официозных газетах разных стран басни об огромных суммах, которые Лондон рассылает повсюду, чтобы возбуждать революцию. Реальность состоит в том, что Генеральный совет всегда находился в чрезмерно стесненном финансовом положении. Он не должен был бы в нем находиться, если бы все секции во всех странах, основанные под знаменем Интернационала, посылали бы ему регулярно по 10 сантимов на члена, как предписано уставами. Большинство секций не сделало этого до сих пор.

Вторая причина бездеятельности Генерального совета такова: до 1871 года не было никакой возможности установления в нем немецкого господства. Французские и бельгийские секции и частично секции французской Швей-

обществ Германии и немецкой Швейцарии начали принимать участие в дискуссиях на конгрессах Интернационала только с 1869 года. Они появились впервые в значительном числе на последнем конгрессе в Базеле (сентябрь 1869 года), предварительно образовав социал-демократическую пангерманскую партию, по прямому вдохновению и под косвенным руководством Маркса, который, сам находясь в Лондоне, представлял и представляет себя в рядах как пролетариата самой Германии, так и Австрии главным образом через своего приверженца, такого же еврея как и он сам, Либкнехта, и через многих других фанатичных сторонников, в большинстве случаев также евреев.

Евреи составляют сегодня в Германии настоящую власть. Будучи сам евреем, Маркс имеет вокруг себя как в Лондоне, так и во Франции и многих других странах, но, главным образом, в Германии, толпу еврейчиков, более или менее умных и образованных, живущих главным образом его умом и перепродающих в розницу его идеи. Оставляя себе монополию на большую политику — я бы сказал на большое интриганство — он охотно оставляет им эту маленькую, грязную, ничтожную часть, и надо сказать, что в этом отношении, всегда послушные его импульсам, его высокому руководству, они оказывают ему большие услуги: беспокойные, раздражительные, любопытные, нескромные, болтливые, суетящиеся, интригующие, эксплуатирующие, какими являются евреи повсюду, коммерческие агенты, беллетристы, политиканы, журналисты, брокеры от литературы одним словом, и одновременно финансовые брокеры, они овладели всей прессой Германии, начиная с самых абсолютистски-монархических до непримиримо радикальных и социалистических газет. Уже давно они царят в мире денег и больших финансовых и коммерческих спекуляций: стоя одной ногой в банке, они за эти последние годы поставили другую ногу в социализм, умостив, таким образом, свой зад в повседневную литературу Германии... Можете себе представить, сколь тошнотворной должна

жорливого коллективного паразита, организованного внутри себя не только через границы государств, но даже через все различия политических взглядов — этот мир в настоящее время, по большей части, по крайней мере, находится в распоряжении Маркса с одной стороны и Ротшильда с другой. — Я знаю, что Ротшильды, какими бы реакционерами они ни были, высоко ценят достоинства коммуниста Маркса; и что, в свою очередь, коммунист Маркс чувствует себя неодолимо увлеченным инстинктивной привлекательностью и почтительным восхищением к финансовому таланту Ротшильдов. Их соединяет еврейская солидарность — та столь мощная солидарность, которая поддерживалась в течение всей истории.

Это должно казаться странным. Что может быть общего между социализмом и высокими банковскими сферами? Ах! Дело в том, что авторитарный социализм, коммунизм Маркса желает мощной централизации государства, а там где есть такая централизация, должен обязательно быть Центральный банк государства. А там где существует такой банк, евреи могут быть уверены в том, что они не умрут ни с холоду, ни с голоду.

Основная мысль немецкой социал-демократической партии — это создание огромного так называемого народного, республиканского и социалистического пангерманского государства. Государства, которое должно объединить всю Австрию, славян в том числе, Голландию, часть Бельгии, по крайней мере часть Швейцарии и всю Скандинавию. Как только все это было бы объединено, с естественной необходимостью дело бы дошло до объединения всего остального. Деморализующее влияние этой партии ощутилось год назад в Австрии и ощущается теперь в Швейцарии.

В 1868 году, у пролетариата Австрии было великолепное самодеятельное движение. В своих народных ассамблеях рабочие Вены и многих других больших городов Австрии громко заявили, что будучи составленными из представителей различных рас, немцев, славян, венгров, итальянцев, они не хотят, и не могут сообща поднять какой-либо национальный флаг, оставляя за каждой страной абсолютно

свободное развитие ее собственной национальности, такой же священной, как естественное право, каковым является личная индивидуальность каждого человека. Совместно они хотели поднять только знамя освобождения трудящихся, знамя социальной революции, знамя братства народов, которое должно было реять над развалинами всех *политических* отечеств, составленных в качестве так называемых национальных государств, отделенных друг от друга тщеславно, завистливо, амбициозно, враждебно, говоря одним словом, *буржуазно* (любое государство является лишь эксплуатацией пролетариата, организованной в пользу буржуазии). *Политическая* родина никогда не является отечеством народных масс — она всегда родина эксплуатирующих и привилегированных классов. Отечество народа естественно, а не искусственно, и его главное, реальное основание — в Коммуне. Вот почему Мадзини, теолог и буржуа, атаковал с такой яростью программу Парижской коммуны, и вот почему генерал Гарибальди, великое сердце которого бьется в унисон с сердцем народа, который интуитивно чувствует главные инстинкты и действия народа, объявил себя сторонником Парижской коммуны и Интернационала против Мадзини.

Вследствие этого, в огромной Народной ассамблее рабочие Вены торжественно и единогласно отвергли все пангерманские и патриотические предложения буржуазных демократов Германии и проголосовали за послание тесного союзнического братства всем социалистическим революционным трудящимся Европы и мира. Они инстинктивно предугадали всю программу Интернационала.

Но с осени 1868 года, руководители, пропагандисты и агитаторы, главным образом евреи из только что образованной на севере Германии, как всегда под влиянием Маркса, социал-демократической партии, начали склонять к своей точке зрения австрийских евреев, и совместно они принялись гипнотизировать, поучать, сбивать с толку немецких рабочих Австрии. Они не работали напрасно. Месяц или два назад, те же немецкие рабочие Вены, собранные снова в большую народную ассамблею и уже организованные согласно программе и под управлением руководителей

социал-демократической партии, под их исключительно тевтонским влиянием отныне истолковывают космополитизм в смысле пангерманизма. Они объявили себя сторонниками большой немецкой родины, то есть так называемого народного пангерманского государства, от которого они глупо ожидают освобождение пролетариата, как будто большое государство может иметь иную миссию, нежели поработить пролетариат.

Мы рассмотрим этот вопрос в другой раз, дорогие друзья. А пока, как вы понимаете, это новое решение имело естественным следствием вывод за рамки движения пролетариата всех ненемецких рабочих Австрии.

В Швейцарии, как мы видим сегодня, снова под прямым влиянием и во имя принципов все той же программы тевтонской социал-демократии, все рабочие немецких кантонов, в особенности в Цюрихе и Базеле, но также и в Арговии и Берне, требуют чего? Отмены федеральной системы и превращения Швейцарской конфедерации — гаранта свободы Швейцарии, в единое централизованное государство. Знаете ли вы, что это означает? Это — начало поглощения, завоевания по крайней мере немецкой Швейцарии Германией; но не только немецкой Швейцарии, всей Швейцарии, так как реформы, которые готовятся и сейчас обсуждаются, если они пройдут, будут иметь прежде всего неизбежным следствием полное подчинение италоязычных и франкоязычных швейцарцев руководству, правительству и администрации исключительно немецких швейцарцев, а затем, через их посредство, — пруссакам. И все это для вящего удовольствия всех немецких и швейцарских евреев, которые будут жиреть на этих махинациях...

Таков дух программы, которую делегаты социал-демократической партии Германии, Австрии и немецкой Швейцарии, прибывшие в большом количестве на Базельский конгресс в сентябре 1869 года, пытались навязать там, при единодушной поддержке всех делегатов Генерального совета из Лондона, немецких и английских, заботливо отобранных самим Марксом и, естественно, всех как один — его фанатичных сторонников.

Разумеется, этот ход был подготовлен заранее. Однако он потерпел неудачу благодаря единодушной оппозиции французских, бельгийских, франкоязычных швейцарских, итальянских и испанских делегатов. Это было полное фиаско. Все предложения, пытавшиеся пристроить социалистическое и революционное движение пролетариата Европы в хвост буржуазного радикализма и иудо-пангерманского коммунизма немцев, были отвергнуты. Отсюда гнев.

С тех пор на общих конгрессах, эти настоящих форумах пролетариата цивилизованного мира, был поставлен крест в умах вожаков, то есть немцев из Генерального совета в Лондоне — в умах Маркса и его последователей.

До 1869 года роль Генерального совета в Интернационале, так, как она была определена нашими общими уставами и решениями конгрессов в Женеве, Лозанне и Брюсселе, была очень ограничена; у него была лишь весьма скромная миссия быть ничем иным, как *центральным бюро корреспонденции и коммуникаций* между национальными группами различных стран — в особенности между тремя региональными группами: англо-американской, немецкой и латинской, которые, естественно, мало общались между собой. — В остальном у него не было никакой законодательной миссии, ни даже управляющей, что бы об этом ни говорил Мадзини. Законодательной властью, если таковая была, обладали исключительно конгрессы. Но даже резолюции конгрессов, хотя и уважаемые, как выражение воли и мысли большинства, вовсе не считались обязательными. Реальная база Международного товарищества, его мысль, его жизнь полностью состояла в автономии, стихийном действии и свободной федерации, снизу доверху, его секций.

Это было и это еще остается привычным во всех секциях Интернационала, за исключением Германии, где, похоже, сейчас возобладала бисмарковская дисциплина, согласно которой после каждого конгресса, делегаты, возвратившиеся в свои секции, должны дать им детальный отчет обо всех дискуссиях, которые имели место на конгрессе, объяснить причины своих голосований и предоставить на утверждение или отклонение секций резолюции, проголосованные большинством конгресса. Отсюда следует, что

сами конгрессы, ценные в том отношении, что они сопоставляли чаяния, стремления, различные тенденции различных групп, стремились их согласовать и объединить, не авторитарно, а вследствие самой этой встречи, этого возобновляемого ежегодно братского соприкосновения, для этого они вовсе не имели и не должны были иметь суверенную власть, так как результат этой власти состоял бы в том, чтобы подчинить какое-либо меньшинство закону большинства, и чаще всего даже не большинства секций, а искусственному большинству, созданному неожиданностью или интригой меньшинства внутри конгресса; одним словом превратить Интернационал в политическое Государство, с фиктивной свободой и реальным рабством для массы пролетариата.

Мы хотим единства, но единства реального, живого, которое происходит из свободного союза потребностей, интересов, стремлений, идей индивидов, равно как и местных ассоциаций, и которые, следовательно, являются выражением и результатом, всегда реальным и искренним, наибольшего развития их свободы, существования и стихийного действия, но не единства, навязанного либо насилием, либо парламентскими уловками. — Одним словом мы искренние коммуналисты и федералисты, то есть мы строго придерживаемся духа и буквы наших общих уставов — учредительного закона Интернационала.

Это — единственно обязательный закон для всех секций, и на едином основании этого закона все секции автономны, суверенны, и в то же время реально связаны между собой международной солидарностью, не догматической, не руководящей, но практической.

Эта *практическая международная солидарность — высший и абсолютно обязательный закон Интернационала*, может кратко быть изложена в следующих терминах:

Каждый член Интернационала: индивиды, профессиональные или иные секции, группы или федерации секций, местные, региональные, национальные федерации, равно обязаны поддерживать и взаимно помогать друг другу до последней возможности, в борьбе каждого и всех против экономической эксплуатации и политического угнетения

буржуазного мира. Рабочие всех профессий, всех коммун, всех регионов и всех наций составляют большое и единое международное братство, организованное для этой борьбы против буржуазного мира; а тот, кто увиливает от этой практической солидарности в борьбе, будь то индивид, секция, или группа секций, тот — предатель.

Вот наш действительно единственно обязательный закон. Кроме того, имеется положение первоначального устава, которое возлагает на каждую секцию обязанность платить ежегодно Генеральному совету 10 центов за каждого из своих членов, посылать ему каждые три месяца детальное сообщение о своем внутреннем положении и удовлетворять все его требования, *когда они соответствуют Общим Уставам*, вот и все. Что касается остального, то есть всего того, что составляет собственную жизнь, собственное развитие, программу и собственные регламенты секций, их теоретические идеи, а также пропаганду этих идей, их организации и их взаимную федерацию, в случае если ничего из этого не противоречит принципам и обязательствам, ясно выраженным в общих уставах, все это остается в полном ведении секций.

Это абсолютное отсутствие единой догмы и центрального управления в нашем большом Международном товариществе, эта почти абсолютная свобода секций, возбуждают доктринерство и авторитаризм пророка государственной власти — Мадзини. И однако именно эту свободу он называет анархией, ту которая основана на подлинном источнике и творческой базе нашего реального единства, на действительном тождестве положения и стремлений пролетариата всех стран. Именно эта свобода создала настоящее соответствие идей и всю мощь Интернационала.

Так как до 1871 года, как я это уже сказал, действие Генерального совета было совершенно ничтожно. — Он стал интриговать и образовал эту партию социал-демократии в Германии, то есть он развратил движение немецкого пролетариата. Это было положительное зло. Он занялся также организацией Интернационала в Англии и в Америке. Это было хорошо. Но в остальной части Европы, в Бельгии, во Франции, во всей французской Швейцарии, в Италии, в Ис-

пании, он не сделал абсолютно ничего. И однако, именно в течение этого периода его вынужденной бездеятельности Интернационал замечательным образом расширился в большинстве этих стран — Брюссель, Париж, Лион и тогда, но не теперь, Женева, образовали столько пропагандистских центров, секции всех стран установили братские отношения и самостоятельно объединялись в федерации, вдохновленные одной идеей.... Именно так члены секции Союза Социалистической Демократии, основанного в конце 1868 года в Женеве, основали первые секции Интернационала в Неаполе, Мадриде и Барселоне. Сегодня Интернационал в Испании, первые ростки которого были принесены туда итальянцем, стал там настоящей силой. И Генеральный совет не только не принял никакого участия в этой пропаганде и в создании секций, он их игнорировал до тех пор, пока новые секции, как испанские и итальянские, так и французские, не уведомили его о своем образовании.

Кое-кто мог бы спросить, какая польза могла быть от существования Генерального совета, влияние которого на ход и развитие большей части, а именно, всех латинских и славянских стран Европы, было полностью ничтожным. О, полезность этого существования была огромна. Генеральный совет *был видимым знаком интернационализма* для всех национальных и местных секций. Учтите, что секции Интернационала — это рабочие секции; что они состоят из малообразованных людей, мало приученных к мировоззренческим концепциям и, кроме того, раздавленных изматывающей работой и еще более изматывающими заботами о ежедневном нищенском существовании. Предоставленные сами себе, эти секции вряд ли распространили бы свои идеи и свою практическую солидарность за границы своей собственной коммуны и своей собственной профессии. Могут сказать, что были общие уставы, программа и регламент Интернационала. Но этого было недостаточно. Рабочие в большей своей массе читают мало и легко забывают то, что читают. Таким образом, простого существования на бумаге этой программы и этого регламента, их простого теоретического знания было недостаточно. Мы знаем по опыту, что рабочие начинают реально их пони-

мать только тогда, когда они реализуют их на практике, и одно из первых условий этой практики, это как раз это единодушное сведение секций всех стран к общему международному центру. Все секции, рабочие-интернационалисты всех стран, встречались, обнимались, братались там, так сказать, мысленно, идейно.

Реальные взаимоотношения с Генеральным советом, по правде говоря, были никакими. Но десять сантимов, которые каждый рабочий, какой бы страны и секции он ни был, посылал через свой секционный комитет и свой федеральный комитет в Генеральный совет в Лондоне, были для него явным и видимым признаком его членства в широких и человеческих началах интернационализма. Это было для него реальным отрицанием тесных рамок национальности и буржуазного патриотизма.

Сама отдаленность Генерального совета, реальная неспособность, в которой он оказался, и еще находится сегодня, вмешиваться эффективным образом в дела секций, региональных федераций и национальных групп, являлись даже благом. Не имея возможности вмешиваться в повседневные дебаты секций, он пользовался там только большим уважением, и в то же время не мешал секциям жить и развиваться совершенно свободно. Правдой является то, что он был уважаем примерно так, как уважают богов, скорее умозрительно. Однако он не был настолько удален, чтобы вовсе не мог ничего сказать при необходимости. Но за ним признавали это право говорить, только когда речь шла о том, чтобы напомнить какой-либо секции или группе забытую ими статью Общих Уставов, стражем и, при необходимости, толкователем которых его считали, за исключением созыва конгресса, в присутствии которого он прекращал существовать. — И поскольку по крайней мере до 1869 года он никогда не выходил из своей роли и тщательно соблюдал все национальные и местные свободы, то когда он говорил, его голос выслушивался всеми уважительно. Так как он был и еще остается по большей части составленным из людей, принимавших активное участие в создании самого Интернационала, он обладал тем большим моральным весом, чем реже им пользовался

и до тех пор, пока никогда не злоупотреблял им. При всех затруднениях, которые проявлялись либо в секции, либо в региональной или национальной федерации, к нему охотно обращались, не как к опекуну или начальнику, а как к испытанному другу. — И если о чем-то жалели, то лишь о его лени и небрежности. Так как он почти никогда не отвечал, и всегда слишком поздно.

Наконец, у него были еще две больших практических проблемы, с которыми надо было справиться, и об этом нужно сказать, а именно: нехватка времени — его члены, не получая никакого вознаграждения должны были работать чтобы жить, и нехватка средств — он всегда расплачивался по счетам с большим трудом.

Первая из его задач состояла в том, чтобы ознакомить каждую национальную группу с тем, что происходит во всех других группах. Эту задачу ему напоминал каждый конгресс. Он никогда ее не исполнял;

Другой задачей, в случае забастовки рабочих-интернационалистов в какой-либо стране, был призыв им на помощь рабочих-интернационалистов всех других стран. Однако, в этих случаях призыв Генерального совета приходил всегда слишком поздно.

Но эти более или менее вынужденные недостатки Генерального совета, в достаточной мере компенсировались собственной деятельностью секций и отношениями реального братства, которые стихийно сложились между различными национальными группами. Именно через эту стихийную федерацию секций и групп, через их постоянную переписку, а не благодаря действиям Генерального совета, мало-помалу сложилось реальное единство мысли, действия и практической солидарности рабочих различных стран в Интернационале.

Таким образом, между 1866 годом, эпохой первого конгресса в Женеве, и 1869 годом, эпохой последнего конгресса в Базеле, внутри Интернационала образовались три большие группы: латинская, включающая франкоязычную Швейцарию, Бельгию, Францию, Италию и Испанию; германо-австрийская и англо-американская. Славянская группа еще только в процессе образования. Ее в полном

смысле еще не существует. Реальный союз, происходящий из собственного роста действий и стихийных отношений секций между собой, в конечном счете существует только в каждой из этих отдельных групп, объединенных внутренне чем-то вроде особого единства, более однородного в смысле расы, положения, мыслей и устремлений. — Союз этих больших групп между собой гораздо менее реален; в его основании только общие уставы, для необходимой гарантии — беспристрастное, но реальное действие Генерального совета, и, наконец, и главным образом — конгрессы.

Таким было положение Интернационала до 1869 года.

В 1869 году мы увидели, как Генеральный совет, который уже давно вынашивал в столь умном мозгу Маркса проекты всемирной монархии, бросил в атаку немецких делегатов Социал-демократической рабочей партии, чтобы предпринять на конгрессе в Базеле первую попытку ее осуществления. Немцы и англичане, отобранные Марксом, сторонники так называемого народного государства, потерпели полное поражение. Наша партия, включающая бельгийских, французских, франкоязычных швейцарских, итальянских и испанских делегатов, противопоставив этому флагу авторитарного коммунизма и освобождения пролетариата государством, знамя абсолютной свободы, или как они говорят анархии, знамя сокрушения государств и организации человеческого общества на их руинах, одержала яркую победу. Маркс тогда понял, что на конгрессах логика и сам инстинкт трудящихся будет за нас, и ему никогда не победить. И с тех пор, он и его партия начали готовить государственный переворот.

Но будучи ловкими политическими деятелями, они понимали, что прежде чем пытаться его осуществить, его надо вначале подготовить. Но как его подготовить? Средствами всегда используемыми всеми честолюбивыми политиками и научно констатированным третьим политическим позитивистом после Аристотеля и Тацита — Макиавелли, теми самыми средствами, которыми сегодня столь искусно пользуется партия Мадзини: клеветой и интригой. Никто не мог бы воспользоваться этим лучше, чем Маркс, поскольку прежде всего у него к этому талант, а кроме того

в его распоряжении целая армия евреев, которые в такого рода войнах — настоящие герои.

После Базельского конгресса, вся немецкая печать, и, частично, в статьях, написанных немецкими евреями, также французская печать, но, главным образом, первая, набросились на меня с неслыханным ожесточением. Маркс и компания оказали мне честь, сделав из меня, не имевшего в действительности никакого иного намерения, кроме как быть другом своих друзей, братом своих братьев, и всегда верным слугой нашей идеи, нашей общей страсти, лидера партии. Они сдуру вообразили — это действительно значило оказать слишком много чести моему предполагаемому могуществу — что я один смог взбунтовать и организовать против них французов, бельгийцев, швейцарцев, итальянцев и испанцев в одно компактное и подавляющее большинство. И они поклялись меня погубить. Атака началась с одной очень респектабельной парижской газеты «Пробуждение» («le Réveil»). Господин Гесс, немецкий еврей, так называемый социалист, но, прежде всего, поклонник золотого тельца, вначале хозяин Маркса, затем его соперник, а сейчас покорный и хорошо дисциплинированный последователь, написал против меня гнусную статью, которая изображала меня явными намеками с выражениями симпатии и даже уважения, чем-то вроде агента то ли Наполеона III, то ли Бисмарка, то ли российского императора, то ли всех трех одновременно. При первой же моей претензии, Делеклюз от имени редакции отрекся от этой статьи. *Господин Гесс* был там к своему стыду. Меня не пытались больше атаковать во французских газетах. — Но зато этому полностью предались немецкие газеты — Ах, мои дорогие друзья, вы не знаете, что такое эта полемика в газетах: это глупо, презренно и, главным образом, грязно. — Социалистическая газета, официальная газета Социал-демократической партии, редактируемая другим другом и учеником Маркса, евреем как и он, Либкнехтом, газета, впрочем, во многих отношениях респектабельная и весьма поучительная, опубликовала серию статей третьего еврея, Боркхейма, другого слуги Маркса, в которых просто говорилось, что Герцен и я были от русскими шпионами,

оплаченными русским правительством. Я уже опускаю все прочее. Впрочем, я не был единственным оклеветанным и оболганным. Со мной в этом положении оказалось много моих друзей. Вначале мы переживали это и требовали справедливости. Наконец, мы закалились и даже не читаем более того, что продолжают писать против нас.

Параллельно клевете продолжалась интрига. Она потерпела неудачу во всех других странах. Но она удалась в Женеве. Маленький русский еврей, глупый, но богатый, бессовестный, наглый, лживый интриган до мозга костей стал там ставленником, агентом, слугой Маркса. Именно он редактирует теперь «Равенство» («l'Egalité») в Женеве. Пользуясь моим отъездом и проживанием в Локарно, они столько интриговали, спекулировали, объединяясь с самыми презренными людьми, что добились полной деморализации и разрушения Интернационала в Женеве. Именно вследствие этого в 1870 году произошел раскол между Федерацией секций Юры и Федеральным советом Женевы. Это очень грязная история, детали которой Вы найдете в материалах, которые публикуются теперь в «Нейшателе» («Neuchâtel»). Генеральный совет в Лондоне, естественно, принял сторону Женевы, то есть гнусности против справедливости и самих принципов Интернационала.

Вот результаты вмешательства Центра — его бездеятельность нас объединяла, его вмешательство нас разделяет.

Исход войны, триумф немцев, провал Франции и поражение Парижской коммуны породили в сердце Маркса новые надежды. Частично разрушенные, частично рассеянные интернационалы Франции не могли больше противиться, как он думал, осуществлению его честолюбивых планов.

В нынешних условиях, среди международных преследований, объектом которых стал Интернационал, невозможно собрать конгресс; и к тому же Маркс, совершенно никакой оратор и потому боявшийся за свои планы, отданные на суд общественности, вовсе не хотел конгресса. Он ухватился за реальный или мнимый предлог невозможности его созыва, чтобы собрать в Лондоне тайную конференцию, на которую позвали только самых доверенных,

тех, в ком были уверены. Даже открытая конференция не имела бы абсолютно никакой силы, поскольку согласно нашим общим уставам признаются только права конгрессов. Просмотрите эти уставы, и вы увидите, что на конгрессах каждая профессиональная ассоциация, не только группа или федерация секций, но каждая секция имеет право быть представленной одним или двумя делегатами; кроме того, все вопросы, которые должны там решаться, должны быть сообщены всем секциям за два или даже три месяца заранее, чтобы они могли их изучить, обсудить и дать инструкции своим делегатам с полным знанием дела. На последней Конференции (собранной в Лондоне в прошлом сентябре) никакое из этих условий не было соблюдено. Туда направили только по одному делегату на группу. Италия не прислала никого. Федерацию Юры не соизволили даже предупредить. Несколько членов Парижской коммуны, скрывавшиеся в Лондоне, были приглашены на заседания. Но после ссор с Марксом, большая их часть оттуда удалилась. Большинство там составляли английские приверженцы Маркса, немцы и немецкие евреи — испанский и бельгийский делегаты, а также делегаты французских беженцев протестовали против решений этой Конференции.

Эти решения жалки. Они наделяют Генеральный совет диктаторскими правами; ему предоставляется право отлучать новые секции, право цензуры газет Интернационала. Как и догма Мадзини в Риме, догма Маркса в Лондоне объявлена единственно верной. Впрочем, вы еще прочитаете или уже прочли эти решения — «указы» или декреты Генерального совета — Это триумф государственного переворота. Это была бы смерть Интернационала, если мы не восстановим порядок всемирным протестом; если во имя самих наших принципов и наших фундаментальных уставов мы не аннулируем и Лондонскую конференцию, и все ее решения, и если мы не вынудим Генеральный совет вернуться в границы, предписанные ему этими уставами.

Все те, кто желает свободы, все те, кто хотят стихийного и коллективного действия пролетариата, а не интриг и правления честолюбивых индивидов, будут с нами.

Личные отношения с Марксом
Подтверждающие документы № 2

Декабрь 1871 г.,
Локарно, Швейцария

Но пусть вас это не пугает. Вместо того, чтобы вредить существованию, развитию и расширению Интернационала, этот конфликт, напротив, будет способствовать тому, чтобы еще больше укрепить его, еще лучше определяя его принципы и цель. Этот конфликт был так же неизбежен, как он был неизбежен внутри итальянской демократии, как конфликт, который отделяет вас теперь от сторонников Мадзини. Вы убеждены, не так ли, что ваш разрыв, разрыв огромного большинства итальянской демократической партии с меньшинством секты Мадзини, вместо того, чтобы нанести ущерб этой партии, будет иметь следствием только стимулирование в ней все более народного, свободного и обязательно социалистического развития, увеличит мощь ее идей, ее действенность и с их помощью число ее преданных и серьезных членов.

Точно так же мы убеждены, что огромный протест, который поднимается сегодня в Интернационале против наших собственных мадзинийцев, будет благоприятен для его большего и подлинного развития, так как у нас тоже есть мадзинийство, которое тормозит наш прогресс. Мадзинийство не по отношению к религии, оно — атеистично, как и мы, но в отношении своих авторитарных тенденций.

Это старая история: власть портит даже наиболее умных, наиболее преданных людей. Разумеется, такие люди как Маркс, Энгельс и несколько других немцев, доминирующих сегодня в Генеральном совете в Лондоне, — умные и преданные люди. Они оказали огромные услуги Интернационалу, не как члены Генерального совета, — роль Генерального совета, как это и должно было быть во имя самой свободы развития Интернационала, весьма ограничена нашими общими уставами, а его денежные средства, довольно значительные на бумаге, но ничтожные в действительности, не позволяли ему до сих пор выполнять даже задачи, возложенные на него этими уставами, равно как и резолюциями конгрессов. Так что если Интернационал столь внушительно развился и увеличился за несколько лет, то это надо приписывать не действию Генерального совета, ничтожному по определению, а справедливости и добротности его принципа, который является ничем иным, как наиболее верным и продуманным выражением самых искренних, самых глубоких, самых страстных чаяний пролетариата всех стран. Таким образом, люди, которых я только что назвал, оказали огромные услуги Интернационалу не как члены Генерального совета, бессильного по праву и по факту, а своей пропагандой и своим индивидуальным действием. Маркс — человек очень большого ума и, кроме того, ученый в самом широком и серьезном смысле этого слова. Это глубокий экономист, по сравнению с которым Мадзини, экономические знания которого чрезвычайно поверхностны, может быть с трудом назван школьником. Кроме того, Маркс пламенно предан делу пролетариата. Никто не имеет право в этом сомневаться; так как вот уже скоро 30 лет, как он служит ему с настойчивостью и верностью, в которых никогда нельзя было усомниться. Он отдал всю свою жизнь этому делу. — Мадзини, чье сегодняшнее бессилие изыскивает себе слабое утешение в яде несправедливой ругани, вымышленных баснях и клевете, Мадзини утверждает, что Маркс вдохновляется только ненавистью, а не любовью. Давайте договоримся: глубокая, серьезная, страстная человеческая любовь всегда удваивается ненавистью. Нельзя любить справедливость, не от-

вергая несправедливость, ни свободу, не отвергая властолюбие, ни человечество, не отвергая интеллектуальный и духовный источник всех деспотизмов, безнравственный вымысел небесного деспота — Боженьки. Нельзя любить угнетаемых, не отвергая угнетателей, ни, следовательно, любить пролетариат без ненависти к буржуазии. Маркс любит пролетариат, то есть он ненавидит буржуа. Нельзя страстно служить в течение тридцати лет подряд делу, его не любя, и надо иметь мерзкую предрасположенность к клевете, чтобы осмелиться отрицать любовь Маркса к делу пролетариата.

Добавим, наконец, ко всем этим великим и несомненным достоинствам, то, что он был инициатором и главным вдохновителем основания Интернационала.

Вот его заслуги. — Теперь, у любой медали есть оборотная сторона, любой свет дает тени, и у любого человеческого индивида есть свои недостатки. Поэтому никогда нельзя доверять власть ни одному человеку, каким бы гениальным и увенчанным добродетелями он ни был, ни меньшинству, каким бы умным и благонамеренным оно ни являлось, над большой общностью народа; поскольку следуя закону, присущему самой власти, любая власть непременно несет в себе злоупотребление властью, и любое правительство, будь оно даже избрано на всеобщих выборах, неодолимо стремится к деспотизму.

У Маркса стало быть есть свои недостатки. Они таковы:

1) Прежде всего, у него общий недостаток всех профессиональных ученых: он *доктринер*. Он всецело верит в свои теории и с высоты своих теорий пренебрежительно относится ко всем. Знающий и умный, он, конечно, имеет свою партию, ядро слепо преданных друзей, которые клянутся его словами, думают только его мыслями, желают только того, что хочет он, одним словом, которые его боготворят и обожают, и которые этим поклонением его портят и уже значительно испортили. — Ему пришлось в ней вполне серьезно считать себя Папой социализма или скорее коммунизма, так как он всей своей теорией — авторитарный коммунист, желающий, как Мадзини, хотя с другими идеями и намного более реальным, более призем-

ленным образом, нежели Мадзини, освобождения пролетариата централизованной мощью государства.

2) К этому поклонению самому себе в своих абсолютных и абсолютистских теориях Марксу добавилась, как естественное следствие, ненависть не только к буржуа, но и ко всем тем, даже социалистам-революционерам, кто осмеливается ему противоречить и отстаивать идеи, отличные от его теорий.

Маркс — странная вещь для столь умного и самоотверженного человека, которая может быть объяснена только его воспитанием ученого и немецкого беллетриста и, в особенности, его раздражительной природой еврея — Маркс чрезмерно тщеславен и тщеславен до непристойности и до сумасшествия. Если кто-либо имел несчастье задеть его самым невинным в мире образом в этом болезненном тщеславии, всегда обидчивом и всегда раздраженном, он становится его непримиримым врагом; и тогда он считает допустимыми любые средства и на самом деле использует самые постыдные, самые недопустимые из них, чтобы унизить его в глазах общественного мнения. Он лжет, изобретает и старается распространить наиболее грязную клевету против него. — В этом смысле Мадзини все-таки был прав, говоря о его отвратительном характере; но прошу вас заметить, дорогие друзья, что Мадзини сам, несмотря на естественную величину своей души, резко увеличившуюся от его растущего бессилия, в этой последней полемике со своими противниками, прибегнул примерно к тем же методам.

Дело в том, что Мадзини и Маркс, столь разные во всех других отношениях, — и эта разница далека от того, чтобы быть всегда не в пользу Маркса — движимы одной и той же страстью: *политические и религиозные амбиции* у одного, научные и доктринерские у другого; *потребность править, воспитывать и организовывать массы* согласно своей идее. У Мадзини, высшая степень личного бескорыстия, чистота и возвышенность души которого известны, это потребность видеть торжество своих идей, своей партии, своих апостолов. У Маркса, инстинкты которого гораздо менее бескорыстны, чем у Мадзини, это страстное

желание видеть торжество своих идей, пролетариата, а с пролетариатом и своей собственной персоны. Намерение, таким образом, выше и, главным образом, бескорыстнее у одного, более эгоистично у другого; но и в том, и в другом случае оно приводит к одним и тем же махинациям.

Зло — в стремлении к власти, в любви к правлению, в жажде авторитета. И Маркс глубоко поражен этим злом.

3) Этому во многом способствует его теория. Глава и вдохновитель, если не главный организатор партии немецких коммунистов, в целом он слабый организатор, имеющий скорее талант к разделению интригой, чем к организации. Он — *авторитарный коммунист, и сторонник освобождения и новой организации пролетариата государством*, то есть сверху вниз, через разум и научный подход просвещенного меньшинства, исповедующего, естественно, социалистические взгляды, и осуществляющего *законную власть* над *невежественными и глупыми массами* для блага их же самих. — Это примерно тот же политический строй, что и у Мадзини, только с различными программами. Это частично объясняет их большую взаимную ненависть и их равную неспособность быть справедливыми друг к другу. Они разделены не только своими идеями, своими программами, они одновременно конкуренты в борьбе за одну и ту же власть. Так как оба, один для своих идей и их апостолов, другой для своих идей и себя самого, не удовлетворяясь надеждой управлять однажды своей собственной страной, мечтают о *всемирной власти, о всемирном государстве*: Мадзини посредством Италии, вначале организованной согласно его идеям и становящейся затем правительницей мира, Маркс посредством Германии, немецкой расы, которая согласно ему должна возродить мир. — Мадзини — итальянист, а Маркс — *пангерманист* до мозга костей.

Между ними есть разница, которая говорит в пользу Мадзини. Мадзини любит своих верных друзей, своих апостолов больше, чем себя самого; он очень снисходителен, иногда даже слишком снисходителен к ним, и он довольно щедр, чтобы прощать от всего сердца несправедливость, оскорбления, ошибки своих друзей против него самого как

личности. То, чего он не прощает, — это измены своей религии, своим божественным идеям...

Маркс любит свою собственную персону гораздо больше, чем своих друзей и своих апостолов, и любая дружба не выдержит самой легкой раны, нанесенной его тщеславию. Он гораздо охотнее простит неверность своей философской и социалистической системе; он будет считать это доказательством глупости, или по крайней мере интеллектуальной неполноценности своего друга, и это доставит ему удовольствие. Не видя в нем более соперника, способного быть ему равным, возможно он будет любить его больше. Но он никогда не простит никому личного неуважения: надо его обожать, боготворить его, чтобы быть любимым им; по крайней мере бояться его чтобы терпеть от него; он любит окружать себя раболепствующими, прислужниками, льстецами. Тем не менее, в его близком окружении есть несколько выдающихся людей.

Но в общем надо сказать, что в ближнем окружении Маркса очень мало братской искренности, зато много задних мыслей и дипломатии. Это что-то вроде глухой борьбы и неожиданных компромиссов между различными самолюбиями. И там, где тщеславие идет в ход, братству совершенно нет места. Каждый держится настороже, поскольку опасается быть принесенным в жертву, раздавленным в свою очередь. Весь круг Маркса, это что-то вроде взаимного контракта между составляющими его тщеславиями. Маркс там главный распределитель почестей, но также постоянно вероломный и притворяющийся, никогда не откровенный и открытый подстрекатель травли против индивидов, которые бросили на него тень, или которые имели несчастье не оказать ему той почтительности, которую он ожидал от них.

Как только он организует травлю, она не останавливается ни перед какой низостью, ни перед какой подлостью. Сам еврей, он имеет вокруг себя, как в Лондоне, так и во Франции, но, главным образом, в Германии, толпу еврейчиков, более или менее умных, интригующих, суетящихся, спекулирующих, как евреи повсюду. Банковские или коммерческие агенты, писаки, политики, корреспонденты

газет всех мнений и цветов, брокеры от литературы, одним словом, и одновременно финансовые брокеры, одной ногой в банке, другой — в социалистическом движении, и задом усевшиеся на повседневной литературе Германии. Они захватили все газеты, и вы можете вообразить, сколь тошнотворной должна быть эта литература.

Итак, весь этот еврейский мир, образующий эксплуатирующую секту, народ-пиявку, единого прожорливого паразита, тесно и глубоко организованного не только сквозь границы государств, но и через все разнообразие политических мнений, этот еврейский мир сегодня по большей части находится в распоряжении Маркса с одной стороны, и Ротшильдов с другой. Я уверен, что Ротшильды, со своей стороны, ценят заслуги Маркса, и что Маркс, с другой, чувствует инстинктивную привлекательность и большое уважение к Ротшильдам.

Это может показаться странным. Что он может быть общего между коммунизмом и высокими банковскими сферами? Но дело в том, что коммунизм Маркса желает мощной централизации государства, а там, где есть централизация государства, сегодня обязательно должен иметься Центральный банк государства, а там, где подобный банк существует, паразитирующая нация евреев, спекулирующая на работе народа, всегда найдет средства к существованию...

Как бы там ни было, является фактом, что наибольшая часть этого еврейского мира, сейчас в распоряжении Маркса, в особенности, в Германии. Достаточно, чтобы он указал на кого-либо, как объект гонений, чтобы поток оскорблений, наиболее грязной ругани, нелепой и гнусной клеветы, поднялся против того во всех социалистических и несоциалистических, республиканских и монархических газетах. В Италии, где чувство взаимной деликатности и уважения человека, по крайней мере формально, столь строго соблюдается, не могут себе представить грязный тон и действительно гнусный характер газетной полемики немецкой прессы. Евреи-писаки отличаются, главным образом, в искусстве инсинуаций, трусливых, грязных и вероломных. Редко они обвиняют открытым образом, но намекают, что «они слышали, как утверждают, это могло бы

показаться неверным, но, однако ...», и затем вам швыряют в лицо самую нелепую клевету.

Я об этом знаю кое-что на собственном опыте. Маркс и я, мы — старые знакомые. Я его впервые встретил в Париже в 1844 году. Я уже был эмигрантом. Мы были на довольно дружеской ноге. Он был тогда намного более продвинут, чем я. Он и сегодня остается не столь продвинутым, сколь несравненно более ученым, чем я. Я не знал тогда ничего о политэкономии, не отделался еще от метафизических абстракций, и мой социализм был только инстинктом. Он, хотя и моложе меня, был уже атеистом, ученым-материалистом и вдумчивым социалистом. Именно в эту эпоху он выработал первые основания своей нынешней системы. Мы виделись довольно часто, так как я весьма уважал его за науку и страстную и серьезную приверженность делу пролетариата, хотя и постоянно смешанную с личным тщеславием. Я с жадностью искал разговоров с ним, всегда поучительных и возвышенных, когда они не вдохновлялись мелочной злобой, то, что случалось, увы, слишком часто. Однако никогда между нами не было полной откровенности. Наши темпераменты не выносили друг друга. Он называл меня сентиментальным идеалистом, и он был прав; я называл его вероломным и скрытным тщеславцем; и я был тоже прав.

В 1848 году наши мнения разделились. И я должен сказать, что правда была гораздо более на его стороне, чем на моей. Он только что основал секцию немецких коммунистов как в Париже, так и в Брюсселе, и в союзе с французскими и несколькими английскими коммунистами, образовал, при поддержке своего друга и неразлучного спутника Энгельса, первое Международное товарищество коммунистов различных стран в Лондоне. Там он написал вместе с Энгельсом от имени этого товарищества чрезвычайно значимую работу, известную под названием *Коммунистический манифест*.

Я, опьяненный революционным движением в Европе, был гораздо более взволнован отрицательной, чем положительной стороной этой революции, то есть в большей степени свержением того, что было, чем строительством и организацией того, что должно было быть.

Однако, здесь был пункт, где был прав я, а не он. Как славянин, я хотел освобождения революцией славянской расы из-под немецкого ярма, то есть разрушения русской, австрийской, прусской и турецкой империй, и реорганизации народов, снизу доверху, их собственной свободой, на базе полного экономического и общественного равенства, а не силой власти, какой бы революционной она себя ни называла, и какой бы разумной она ни была в действительности.

Уже тогда разница систем, которая нас разделяет сегодня, вырисовалась теперь уже совершенно осмысленным с моей стороны образом. Мои идеи и мои устремления должны были очень не нравиться Марксу, прежде всего потому, что они не были его; затем потому, что они были противоположны его убеждениям авторитарного коммуниста; наконец, потому, что как немецкий патриот, он не допускал тогда, как не допускает и сейчас, права славян освободиться от ярма немцев, думая, сегодня, как и тогда, что немцы призваны их цивилизовать, то есть волей-неволей германизировать.

Чтобы наказать меня за смелость продолжать осуществление идеи, отличной и даже противоположной его собственной, Маркс отомстил тогда в своем духе. Он был редактором «Рейнской газеты», которая публиковалась в Кельне. В одном из ее номеров я прочитал сообщение из Парижа, где говорилось, что *госпожа Жорж Санд* (с которой я был связан в свое время) *будто бы сказала кому-то*, что надо остерегаться Бакунина, поскольку *возможно он действительно* нечто вроде русского агента.

Это обвинение свалилось на меня внезапно, как булыжник на голову, в тот самый момент, когда я был в самом разгаре революционного процесса, и в течение нескольких недель полностью парализовало мои действия. Все мои немецкие и славянские друзья отдалились от меня. Я был тогда первым русским, который активным образом вмешался в революцию. И мне не нужно вам объяснять, какие обычные, традиционные чувства недоверия испытывает на первых порах любой западный ум, когда он слышит о русском революционере. — Тогда я написал вначале *госпоже Санд*. Она поспешила ответить мне, направив копию

письма, которое послала в редакцию «Рейнской газеты», в котором она категорично и сурово уличала ее во лжи. Я находился в Бреслау, и послал одного друга, поляка, в Кельн, чтобы потребовать полного опровержения по всей форме. Маркс отрекся, переложив ошибку на парижского корреспондента, и заявил, что газета опубликовала это сообщение в его отсутствие; что он меня слишком долго знает, чтобы он мог когда-либо и т. д., и т. д., силой комплиментов и заверений в дружбе и уважении — все осталось на своих местах.

Я встретил его несколькими месяцами позже в Берлине. Общие друзья вынудили нас обняться. И тогда, посреди наполовину шутливого, наполовину серьезного разговора, Маркс мне говорит: «Знаешь ли ты, что я нахожусь теперь во главе столь хорошо дисциплинированного тайного коммунистического общества, что, если бы я сказал одному из его членов: „Иди, убей Бакунина", он бы тебя убил». — Я ему ответил, что, если у тайного общества нет других дел, чем убивать людей, которые ему не нравятся, то оно может быть только обществом прислужников или нелепых хвастунов...»

После этого разговора мы больше не виделись до 1864 года.

В 1849 году я был арестован. — Осужденный и приговоренный к смертной казни в Саксонии, я был выдан в Австрию в 1850 году, поскольку, несмотря на то, что мои два товарища (Рокель и Хаубнер) и я, мы втроем отказались просить о пощаде, король Саксонии не захотел казнить никого. Осужденный и приговоренный к смертной казни в Австрии, я был выдан в 1851 году в Россию. Австрия дала обещание королю Саксонии меня не казнить, обещание, которое Россия должна была подтвердить все тому же королю Саксонии, который был страстным ботаником, и который, как видите, вовсе не был злым человеком. В России, я провел 6 лет в крепости. В 1857 году я был выслан в Сибирь, а в 1861 году убежал из Сибири через Японию, Тихий океан, Сан-Франциско, Панамский перешеек, Нью-Йорк. В конце декабря 1861 года я прибыл в Лондон.

Там я встретил моих соотечественников Герцена и Ога-

рева и через них познакомился с Мадзини. И вот что Герцен, Огарев и Мадзини мне рассказали.

В то время как я был далек от развлечений в немецких и русских крепостях и в Сибири, Маркс и компания распространяли сплетни, писали, публиковали против меня как в английских, так и немецких газетах самые гнусные слухи, говоря, что это полная ложь, будто я заключен в какую-то крепость; что напротив, император Николай принял меня с распростертыми объятьями, предлагая мне все удобства, все радости жизни, что я провожу время с женщинами легкого поведения и шампанским и т. д., и т. д.

Это было гнусно, но это было также и глупо... Впрочем, они были достаточно наказаны, и я должен быть вечно признателен Мадзини и его благородному другу поляку Ворцелю, главе польской демократии, энергично выступивших на моей стороне в то время как я отсутствовал и не мог защищаться сам. — Едва я прибыл в Лондон, как английская газета, редактируемая неким Уркартом, полубезумным туркофилом, написала, что русское правительство, очевидно, послало меня, чтобы заниматься шпионажем. Я ответил в газете, требуя от клеветника-анонима назвать себя и обещая ответить ему не с пером в руке, но рукой без пера. — Он принял всерьез сказанное, и меня оставили в покое.

Я оставался весь 1862 год в Лондоне, естественно, не пытаясь встретиться с Марксом. В начале 1863 года я уехал в Швецию для того, чтобы там работать для русской революции, которая должна была прийти на помощь польской революции; я даже принял участие в экспедиции морем, которая должна была перенести нас на берега Польши. Преданные английским капитаном парохода, который должен был нас туда отвезти, мы едва смогли ускользнуть от русского военного корабля, который нас преследовал. В конце 1863 года я возвратился из Швеции в Лондон, и оттуда уехал через Бельгию, Францию и Швейцарию в Италию, снабженный рекомендательными письмами Мадзини и моего предшествующего друга Аурельо Саффи ко всем друзьям. — Был в Капрера, где имел честь познакомиться с генералом Гарибальди. — Я провел зиму и часть лета

в Тоскане, и в августе 1864 года возвратился через те же страны в Швецию. В октябре я снова возвратился в Лондон. — Именно тогда я получил от Маркса записку, которая еще хранится у меня, и в которой он спрашивает, могу ли я принять его у себя на следующий день. Я ему ответил, что да, и он пришел. У нас тогда случилось объяснение; он мне поклялся, что никогда ничего не говорил и не делал против меня, что, напротив, он всегда сохранял ко мне большое уважение и искреннюю дружбу. — Я знал, что сказанное было неправдой, но я действительно не таил к нему никакой злобы. Впрочем, возобновление знакомства больше интересовало меня в другом отношении. Я знал, что он мощно способствовал основанию Интернационала. Я прочитал манифест, который он написал от имени временного Генерального совета, значительный, серьезный и глубокий манифест, как все то, что выходит из-под его пера, когда он не занимается личной полемикой. Наконец, мы расстались внешне очень хорошими друзьями, однако, без того, чтобы я нанес ему ответный визит.

Я возвратился во Флоренцию, где провел целую зиму; оттуда весной 1865 года я уехал в Неаполь и остался там до сентября 1867 года — эпохи первого конгресса Лиги мира и свободы, в Женеве.

Мы обменялись несколькими письмами с Марксом. Затем мы снова потеряли друг друга из виду.

Как раз во время этого конгресса мира в Женеве, старый коммунист Филипп Беккер, как и он, один из основателей Интернационала, и его друг, хотя на немецкий фасон, то есть не желающий лучшего, чем сказать худшее, и готовый повесить, если он может это сделать, не компрометируя себя, вручил мне от имени Маркса первый том, единственный, появившийся до настоящего времени, труда чрезвычайно важного, ученого, глубокого, хотя и очень абстрактного, озаглавленного «*Капитал*».

В этом случае я совершил огромную ошибку: я забыл написать Марксу, чтобы его поблагодарить. Несколькими месяцами позже...

(На этом месте рукопись обрывается.)

Товарищам Федерации секций интернационала Юры

Февраль-март 1872 г.,
Локарно, Швейцария.

Братья и друзья!

Как вам небезызвестно, уже более двух лет, начиная с последнего конгресса Интернационала, состоявшегося в Базеле в сентябре 1869 года, я стал объектом самой глупой и самой гнусной клеветы со стороны части социалистической печати Германии, равно как со стороны органа женевской Федерации, «Равенства» («l'Egalité»), газеты, которая, будучи серьезным представителем серьезного социализма, кончила тем, что попала в руки русского еврейчика, наглого лгуна и бесстыдного интригана, если только стыд у него вообще есть.

Это нечто вроде оголтелого заговора, и если называть вещи своими именами, грязный заговор немецких и русских евреев против меня.

Что я сделал, чтобы заслужить эту честь? Я до сих пор спрашиваю себя об этом, и признаю, что был бы сильно затруднен ответом на этот вопрос. Вам, кто меня знает, известно, что я никогда не занимался чем-либо иным, и без какого-то умысла, амбиции, интереса или личного тщеславия полностью отдавал себя, все мои возможности и силы

триумфу идей и делу, которое мы считаем святым. Это было мое право и одновременно мой долг.

Я никогда не атаковал людей. Но я энергично боролся с идеями, которые мне кажутся вредными и ложными; и среди этих идей, та, которую я отвергаю и сегодня со всей страстью, инстинктивной и в то же время продуманной, на которую я способен, — эта злополучная идея *авторитета и политической власти*, которую наши противники, несомненно, искренне убежденные, но, на мой взгляд, весьма дурно намеренные, стараются переселить в программу и организацию Интернационала.

Таково мое преступление, преступление, инициатором которого, как об этом говорят, я вовсе не являюсь, но выступаю как сообщник вместе с вами. Таким образом, таково преступление нас всех. И если бы наши противники довольствовались тем, что обрушились бы на нас за наши *анархические* идеи, мы, безусловно, не могли бы ни в чем их упрекнуть. Это было бы их право, как и наше — защищать и распространять наши идеи.

К несчастью для Интернационала и для них самих, они не захотели, не смогли удовлетвориться той умеренностью, которая была им предписана как интересами их собственного достоинства и справедливости, так и высшими интересами нашего великого Товарищества, от которого они ожидают, так же как и мы сами, окончательного освобождения пролетариата. Сфера идей показалась им слишком безличной, слишком чистой; и как говорит пословица: гони природу в дверь, она влетит в окно. Им нужна была грязь. Грязь, кто этого не знает, — главная составляющая иудо-тевтонской полемики.

Евреи составляют сегодня в Германии настоящую силу. Уже давно они царят как суверенные хозяева в банковском деле. Но за последние тридцать лет они также сумели образовать нечто вроде монополии в литературе. В Германии почти не осталось газет, у которых редактор не был бы евреем, а журналистика с банковским делом держатся за руки, оказывая взаимно ценные услуги.

Очень интересная раса, эта раса евреев! Она одновременно и узконациональная, и в высшей степени интерна-

циональная, но в смысле эксплуатации. Именно она создала международную торговлю и столь мощный экономический инструмент, называемый кредитом. Вот, безусловно, ее неоспоримые права на признание человечества.

Как и все другие нации земли, со всеми достоинствами и недостатками, которые ее отличают, она — неизбежный продукт истории. Потому было бы несправедливым упрекать ее за свои преступления; но так как она составляет сегодня несомненную силу, разумно и необходимо хорошенько изучить ее новую роль, чтобы отдавать себе отчет в том, что она может нам принести либо вредного, либо полезного, и чтобы знать, как мы должны защититься от одного и воспользоваться другим.

Евреи всегда были очень умной и очень несчастной расой, бесчеловечной, жестокой и жертвенной одновременно, гонителями и гонимыми. Они поклонялись с самого детства Богу-убийце, самому варварскому и одновременно самому тщеславно эгоистичному из всех богов, известных на земле, жестокому и мстительному Иегове, который сделал из них избранный народ. Их первый законодатель, Моисей, приказал им истребить все народы, чтобы создать свою собственную державу. Таким было их начало в истории.

К большому счастью для других наций, сила еврейского народа не сравнялась с его жестокостью. Всегда побежденный, задолго до окончательного триумфа римлян переселенный насильно своими завоевателями-ассирийцами, вавилонянами, египтянами и персами в самые дальние части Азии, он провел века в вынужденной эмиграции. И именно во время этой эмиграции в сердце евреев образовался и углубился культ Иерусалима, символ национального единства. Ничто не объединяет так сильно, как несчастья.

Размытые и рассеянные по всей Азии, презираемые, угнетаемые, но всегда умные рабы, они стали еще более чем прежде нацией: интернациональной нацией Азии и части Африки. Оторванные от земли, данной им Иеговой, и, не имея возможности более посвящать себя сельскому хозяйству, они должны были отыскать другой выход для своей страстной и беспокойной активности. Этот выход не мог быть иным, чем торговля; и, таким образом, евреи ста-

ли в высшей степени торговым народом. Во всех странах они обнаружили своих соотечественников, как и они, жертв иностранного угнетения, презираемых, преследуемых, как и они, и, как и они, движимых естественной и глубокой ненавистью ко всем нациям-завоевателям. Это объясняет как с течением времени между всеми еврейскими племенами, рассеянными по Азии и Африке, между евреями всех государств образовалось обширное коммерческое товарищество взаимовыручки и взаимопомощи, а также совместной эксплуатации всех иностранных наций; народ паразитов, живущих потом и кровью своих завоевателей.

Завоевания Александра Великого и окончательное разрушение Иерусалима Титусом, в царствие своего отца, императора Веспасиана, и перевозка более чем миллиона еврейских рабов в Италию, привело к распространению их по Европе, и окончательно сформировало у них тот интернационально-эксплуататорский и узконациональный характер, который их отличает по сегодняшний день. Жестокая травля, которой они подвергались в течение всего средневековья во всех странах, во имя Бога справедливости и любви, единственного и вполне достойного сына их Иеговы, в итоге определили их в высшей степени враждебные наклонности к христианским народам Европы. И как всегда и даже более чем прежде, они ответили на глупое, жестокое и несправедливое угнетение ожесточенной эксплуатацией.

С католической церковью и папами они разделили честь первыми разгадать всесилие денег, и они стократно увеличили его, создав кредит. Первые векселя на предъявителя и первые банковские билеты были, как известно, выпущены евреями Италии, и, благодаря своим отношениям с евреями всех других стран, они вскоре распространились по всей Европе. Созданием кредита евреи влили душу в международную торговлю, которая начала развиваться, уже начиная с XII века, и с самого начала они сделались почти исключительными хозяевами этой души.

С кредитом родился или скорее развился в устрашающей пропорции ростовщический процент, эта вечно кровоточащая рана вначале благородных владельцев, а позже и

сельскохозяйственного населения. На западе Европы есть еще много стран, где владеющие или не владеющие землей крестьяне просто сожраны евреями; но, главным образом, в восточной Европе, в славянских и венгерских землях Австрии, в великом герцогстве познаньском в Пруссии, по всей Польше, в Литве и Белоруссии в том числе, в Молдавии и Валахии, еврейская эксплуатация промышляет самыми безжалостными и непомерными грабежами. Поэтому во всех этих странах народ ненавидит евреев. Он их ненавидит до такой степени, что любая народная революция там сопровождается массовым убийством евреев: естественное следствие, которое вовсе не способствует их превращению в сторонников социальной и народной революции.

Поэтому нужно заметить, что евреи во всех наших восточных странах главным образом консервативны. Цивилизация, в том виде как она существует сегодня везде, означает научную эксплуатацию труда народных масс в пользу привилегированных меньшинств, и евреи — безудержные сторонники цивилизации. И так как великие бюрократические и централизованные государства являются одновременно следствием, условием и как бы достойным венцом этой чудовищной эксплуатации, они, конечно, сторонники государства. Они, естественно, испытывают отвращение к неистовству народных масс, и совершенно не являются анархистами.

Также необходимо отметить, что во всех странах Восточной Европы евреи восприняли немецкий язык как свой национальный; вследствие чего наши казаки вполне серьезно считают, что сами немцы не что иное, как окрещенные евреи. Евреи стали, таким образом, чем-то вроде представителей и носителей немецкой цивилизации, немецких порядка, дисциплины и государства в этих более или менее варварских странах Восточной Европы: ценным и мощным инструментом, которым *господин Бисмарк*, конечно же, не будет пренебрегать. Когда в 1848 году крестьяне великого герцогства познаньского взбунтовались во имя польской национальности, среди евреев этого герцогства, предки которых, надо сказать, были гостеприимно приняты польским населением, в то время как они безжа-

лостно преследовались во всех других странах, случилось ужасное волнение. Они прибежали толпой в Кенигсберг, в Бреслау, в Берлин, испуская крики отчаяния, и клянясь своим Иеговой, что они немцы, что хотят жить и умереть как немцы, и что, следовательно, все эти польские провинции должны быть как можно скорее объявлены неотъемлемыми частями Германии. На этот патриотический крик все евреи Германии ответили братским криком, и с помощью всеядного пангерманского аппетита чисто тевтонской буржуазии, они докричались до того, что Франкфуртское национальное собрание, составленное из самых ученых голов Германии, в конце концов действительно декретировало насильственное онемечивание всех этих древних польских провинций, без сомнения к вящей славе гуманизма цивилизации и международной справедливости.

Я сказал, что евреи восточной Европы — заклятые враги любой подлинно народной революции, и я думаю, что без какой-либо предвзятости и за очень малым исключением это применимо и к евреям Западной Европы. Еврей — буржуа, то есть эксплуататор по определению. Как мы только что видели, вся история сделала его таким — эксплуататором, в каких бы условиях и формах это ни выражалось. В варварских странах, где местной буржуазии не существует, и где имеются только две крайности: владетельный дворянин с одной стороны и работающий крестьянин с другой, евреи становятся обязательными посредниками, эксплуатирующими, без сомнения, различным образом и тех, и других; а в более цивилизованных странах они образуют отдельный слой, который сегодня стремится более или менее смешаться с местной буржуазией, но никогда с народом.

Даже эта смесь с буржуазией страны их рождения скорее кажущаяся, чем реальная. В сущности, евреи каждой страны действительно дружны лишь с евреями всех стран, независимо от всех различий, которые могут существовать в их социальном положении, уровне образования, политических взглядах и их религиозных культах. Теперь уже не суеверный культ Иеговы формирует еврея; окрещенный еврей остается, тем не менее, евреем. Имеются

католические, протестантские, пантеистические и неверующие евреи, реакционные, либеральные евреи, даже евреи-демократы и евреи-социалисты. Прежде всего, они евреи, и это устанавливает между всеми личностями этой своеобразной расы, через все религиозные, политические и социальные противоречия, которые их разделяют, нерасторжимый союз и взаимную солидарность. — Это мощная цепь, одновременно широко космополитичная и узконациональная в смысле расы, которая связывает между собой банковских королей, Ротшильдов, или наиболее высокоразвитые научные умы с невежественными суеверными евреями Литвы, Венгрии, Румынии, Африки и Азии. Я не думаю, что сегодня в мире существует хотя бы один еврей, который не трепещет от надежды и от гордости, услышав священное имя Ротшильдов.

Известный немецкий статистик, *господин Кольб*, считает, что сегодня в мире имеется примерно семь миллионов евреев, исповедующих еврейскую религию. Давайте добавим к ним два или три миллиона более или менее окрещенных евреев, и у нас получится десятимиллионная нация, которая хотя и разбросана по всем уголкам земли, остается тесно соединенной даже более чем самые политически централизованные нации. Это ли не огромная сила? И эта сила была создана более чем двадцатью пятью веками травли. Только самая широкая свобода сможет ее рассеять; но чтобы достичь этой цели потребуется еще много веков.

Говорят о неизгладимом характере католического священника. Но еще более неизгладимым является тип еврея, не только по внешности, которая поражает с первого взгляда, но также, и возможно даже более, с точки зрения интеллектуальных и духовных способностей и наклонностей.

Широко космополитичный и узконациональный одновременно, это первая черта. Буржуа и эксплуататор с головы до ног, инстинктивно враждебный любому реальному народному освобождению, это второе. Естественное следствие: он все же сторонник буржуазной цивилизации, буржуазного порядка, господства банков и мощной централизации государств. Он им является не только из корысти, но и по искреннему убеждению. Любой еврей, каким бы

просвещенным он ни был, сохраняет традиционный культ власти: это наследство его расы, очевидный признак его восточного происхождения.

Очень реалистичный в своих повседневных интересах, еврей в высшей степени идеалистичен в своем внутреннем мире. Будь то грозный Иегова или золотой телец, абстрактное научное знание или угнетающая сила государства, ему надо обожать какую-то абстракцию, тем более что эта абстракция тотчас же превращается в повод или предлог для эксплуатации масс, этой живой плоти извечно приносимой в жертву во имя триумфа всех религий, всех абстракций и всех государств.

Еврей, таким образом, авторитарен по положению, по традиции и по своей природе. Таков общий закон, который допускает лишь очень мало исключений, да и сами эти исключения при ближайшем рассмотрении только подтверждают правило. Бунт, источник любой свободы, чужд таланту этого народа; он его заклеймил и проклял навечно в образе Сатаны. Он иногда восставал против Иеговы, но чтобы поклоняться золотому тельцу, своему второму я, необходимому дополнению Иеговы.

В этом культе власти и уставной дисциплины, равной евреям в Европе оказалась только немецкая буржуазия. Страстные и убежденные рабы, буржуа, как и немецкие дворяне, охотно сгибают голову перед своим правителем и перед каждым чиновником, военным или гражданским, явным представителем силы правителя. Евреи, оказывая полное и обязательное почтение ко всем властям страны, где они живут, ищут предпочтительно собственные власти и собственных руководителей среди наиболее умных и влиятельных людей своей расы. Они их боготворят, обожают их, что создает для этих руководителей настоящую силу.

Великие умы никогда не были в недостатке у еврейского народа, одной из самых умных рас земли. Не говоря уже о великих анонимах, некоторые следы которых дошли до нас под именами Иисуса Христа и апостола Павла, давших новую религию Европе, если рассматривать только современную эпоху, в XVII-*ом веке* встречаем прекрасный образ

Спинозы, последнего еврея, преследуемого своей расой, а в XVIII-*ом веке* образ Мендельсона, благородного друга Лессинга. Наш век богат знаменитыми евреями. В первом ряду стоят без сомнения Ротшильды, короли королей, арбитры мира и войны в Европе. Рядом с ними в музыкальном мире блистают имена Мейербейера и Мендельсона; в политической литературе и поэзии имена Берна и Гейне. Наконец, в наши дни — респектабельный глава немецкого радикализма Якоби и выдающийся социалистический писатель, главный инициатор создания Международного товарищества рабочих Карл Маркс. Немногие нации произвели столько же замечательных людей в столь короткий промежуток времени.

То, что отличает положение этих современных знаменитостей, делающих честь нашему веку, так это то, что вместо того, чтобы быть преследуемыми и распятыми своей расой, как ранее их великие предшественники: Спиноза, Иисус Христос, апостол Павел, они, напротив, глубоко уважаемы, обожаемы и превозносимы. И вполне справедливо, поскольку это мощные умы, делающие честь своей расе.

Но рядом с этими великими умами имеется мелкая сошка — бесчисленная толпа еврейчиков: банкиров, ростовщиков, промышленников, коммерсантов, литераторов, журналистов, политиков, социалистов, то есть, в любом случае, спекулянтов. Они перепродают в розницу то, что другие производят оптом, и живут, как бедный Лазарь, объедками роскошного стола их хозяев, крайне скромными и льстивыми слугами которых они всегда являются: суетливая и беспокойная порода, движимая нуждой с одной стороны, и с другой этой вечно неуемной деятельностью, страстью к сделкам и спекулятивным инстинктом, равно как мелочными и тщеславными амбициями, которые образуют отличительные черты этой расы. Именно они захватили сегодня немецкую журналистику и наводнили в качестве второстепенных вожаков Социал-демократическую рабочую партию, к великому вреду для пролетариата Германии. Они называются Морисами Гессами, Боркхеймами, Либкнехтами и массой других более или менее неизвестных имен.

Они превратили немецкую журналистику в арену грязи. Они не знают никакого другого оружия, кроме грязи. Трусливые и в то же время коварные намеки, гнусная и глупая ложь, грязная клевета вот то, что составляет их повседневную полемику. Можно сказать, что они питаются только помоями, как некоторые насекомые, которые заполоняют улицы летом! Не требуйте от них ни справедливости, ни чести, ни логики в идеях. Всего этого для них вовсе не существует, они знают только лесть для одних и оскорбления для всех остальных.

Можно было бы подумать, что столь мало интеллектуальная и весьма подлая полемика не может иметь никакого влияния на общественное мнение. Но человеческая природа такова, что каким бы глупым ни было злословие, сказанное о человеке, большинство людей верит ему охотнее, чем доброму слову; и Дон Базиль в комедии Бомарше очень метко сказал об этом: «Клевещите всегда, что-нибудь, да останется». Публика, поглощенная повседневными хлопотами, и слышащая царящий вокруг нее шум лишь в полуха, не имеет ни времени, ни желания углубленно изучать вопросы и явления; и когда ей повторяют на все лады, и, как правило, с той настойчивостью, которая отличает гадкую злобу, что такой-то — плут, он продался, он — предатель, она, в конце концов, начинает этому верить, не требуя иных доказательств. Вот то, что образует силу этих поганых еврейчиков, и то, что делает их действительно грозными, несмотря на их очевидную глупость.

Взятый по отдельности, каждый из них убог, ничтожен, бессилен. Но их легион и, что еще хуже, весьма дисциплинированный легион, ожидающий только знака своего хозяина, чтобы начать брызгать всей своей слюной на тех, кто стал объектом их бешенства: бешенства всегда скрытого, ненависти без страсти и гнева. Они счастливы уже от того, что им предоставлен случай проявиться. Оскорблять, клеветать — это их жизнь.

Такова, мои дорогие друзья, свора, травлю которой я имел несчастье на себя навлечь. Что я сделал для того, чтобы ее заслужить? Я вас уверяю, что еще не знаю этого. Предполагаю, однако, что то, что я русский, во многом

тому способствовало. **Они не могут мне простить того, что я — русский, казак, или, как писал пресловутый Мадзини в своем теологическом гневе, калмык, осмелившийся возвысить свой варварский голос на конгрессах Европы; они не могут простить мне, главным образом, то, что я осмелился говорить о немецкой цивилизации без должного уважения.**

Что ж вы хотите, я признаю, что действительно испытываю весьма посредственные чувства к этой столь хваленой цивилизации. У меня самое большое уважение к науке немцев, основанной на фактах, по моему мнению, настоящей, единственной законной славе этой страны, но не к патентованным представителям этой науки, не к ученым профессорам Германии, из которых, по крайней мере, 90% — слуги и теоретики, крайне приверженные пангерманскому деспотизму. Я испытываю искреннюю и глубокую симпатию к пролетариату Германии, включая трудящихся деревни и города, в том числе также к той части самой мелкой буржуазии, которая, видя, как растущее благополучие индустрии, торговли и, главным образом, банков, все более и более толкает ее в нищету, находит в себе достаточно мужества, разума и сердца, чтобы искренне встать на сторону пролетариата.

Я глубоко уважаю этот пролетариат, так как он нисколько не солидарен с той неприятной вещью, которая называется цивилизацией Германии. Он не участвует ни в ее дивидендах, ни в ее преступлениях, ни в ее стыде, он, напротив, ее первая жертва; и достаточно вытащить его из-под господства цивилизованной Германии и перенести на свободную землю Северной Америки, чтобы, проявив свою настоящую природу, он сразу же превратился в энергичного, преданного, убежденного поборника гуманной справедливости и самой широкой свободы. Я уважаю немецкий пролетариат, поскольку все гуманное будущее Германии в нем.

За исключением этих двух великих сущностей, одной реальной, другой абстрактной, одной, обещающей великое будущее, другой, в какой-то мере искупающей бесчестье убогого настоящего, я презираю в Германии все осталь-

ное. Как настоящий славянин, как настоящий варвар, я испытываю отвращение к этой буржуазной цивилизации, одновременно наглой и рабской, которая, кажется, мечтала обо всех известных вам прекрасных вещах в своей великой литературе второй половины прошлого века и первой половины этого века, только чтобы осуществить в жизни полную им противоположность.

Какой контраст в действительности между этой литературой и этой жизнью! Первая, вдохновленная лишь одной великой мыслью: освобождение, триумф человечества! Вторая, направленная лишь на его унижение и порабощение под кованым сапогом своего пангерманского императора.

Соединив странным и единственным в истории браком несомненную отвагу, не страстную и блестящую как у французов, а холодную, продуманную и, оттого более страшную, с покорным низкопоклонством рабов, науку с грубостью, сухую частную мораль, ставшую, впрочем, сегодня гораздо больше видимостью, чем реальностью, с наглым политическим беззаконием, немецкий дворянин, немецкий буржуа, немецкий профессор и подавляющее большинство студенчества Германии, состоящего, главным образом, из бюрократов и зеленых педантов, не проникнуты ли они до мозга костей одновременно очарованием и суеверным страхом перед властями? Педантичный формализм бюрократии и искусная грубость военной дисциплины, не они ли составляют наивысшее, реальное выражение их общественной жизни? Их религия — государство, и они с гордостью лакеев охотно выносят всю ее тяжесть и самые унизительные обиды, лишь бы это государство, пангерманская империя, проявило себя очень мощным извне, то есть явно угрожающим независимости и свободе всех соседних народов.

Эта нация мечтателей чрезмерно жестока в своих действиях. На этот счет еще можно было бы питать иллюзии до 1870 года, до 1866 года. С некоторым принуждением, и закрывая глаза на многочисленные симптомы, которые, уже с 1815 года, начали выдавать настоящую природу национальных чаяний буржуазии Германии, читая прекрас-

ные книги ее профессоров, речи ее ораторов, патриотические стихи ее поэтов, можно было вообразить, что у этой буржуазной Германии была серьезная страсть к свободе. Сегодня иллюзия более невозможна, и надо быть слепым, чтобы совершенно не замечать, что то, чего она всегда хотела, это вовсе не свободы, а мощного и завоевательного единства. Пангерманизировать все соседние народы — вот *единственная политическая страсть, дополнение и необходимый венец* другой великой страсти буржуазии всех стран: страсти к прибыли, к все большему обогащению принудительным трудом порабощенного пролетариата!

После последней войны уже не только славяне, а Франция, Европа, весь мир знает то, что означает в своих реальных проявлениях гуманность немецких патриотов. Армия и, в особенности, офицеры Германии, от седых генералов-командующих до самых молодых безбородых лейтенантов, своими подвигами превзошли и оставили далеко позади все зверства, совершенные русскими офицерами в Польше. Они хладнокровно истребляли порознь и массово, грабили, опустошали, поджигали, обогащались кражами; и все это с восхитительным бесстрастием и хладнокровным цинизмом, что дало понять удивленной Европе, что они совершали все эти преступления без гнева и страсти, вдумчиво и убежденно. Они определили, таким образом, меру морали и цивилизации дворянской Германии; и вся буржуазная Германия поспешила громко проявить свои глубокие симпатии к столь ужасным подвигам; она оказалась полностью солидарной, воодушевляя этот триумф, как начало величия и политической мощи Германии.

Немецкие профессора превозносят эти бесчеловечные победы и этот неслыханный триумф германской жестокости, как первую реализацию будущих исторических судеб Германии. Германия, столь презираемая как политическая сила, еще несколько лет тому назад, сегодня заставляет дрожать всю Европу: какое счастье! и какая слава! Раз так, пусть будет внутреннее рабство, ибо оно составляет необходимый элемент внешней мощи. Можно даже смириться с неизбежными обидами раболепной бюрократии и произволом придирчивой полиции, как и с наглостью дворянских

лейтенантов армии, так как этой ценой покупается величие Германии, страх, если не уважение соседних народов! А, впрочем, смириться, позволить себя обижать, одним словом, быть рабами, разве это не обычное и традиционное состояние буржуа в Германии? И привычка, разве она не делает с течением времени более переносимыми самые невыносимые вещи, за исключением нищеты и голода?

Нищета и голод — вот две благодетельные феи, которые навсегда гарантируют пролетариат Германии от любой солидарности с буржуазной цивилизацией Германии, и которые никогда не позволят ему стать соучастником ее стыда и ее преступлений.

Не правда ли, примечательный факт, что, когда официальная и буржуазная Германия торжествует, все другие народы Европы приходят в уныние? Что радость немцев — это угроза для Европы? Не характеризует ли это будущие судьбы пангерманской империи? И действительно, триумфы этой империи не означают ли ничто иное, как порабощение Европы; вследствие чего освобождение Европы должно иметь необходимым результатом и условием разрушение пангерманской империи; и кто осмелится считать меня преступником за то, что я хочу освобождения Европы?

Я хорошо знаю, что эти добрые профессора и политики-патриоты Германии, по крайней мере, те среди них, кто, строя иллюзии на собственный счет, считаются еще либеральными, успокаивают себя той идеей, что создание и укрепление германского единства посредством бюрократического, полицейского и военного деспотизма Пруссии — это только переходный период, несомненно, неприятный и тягостный, но абсолютно необходимый, чтобы завоевать позже свободу. Есть даже те, кто мечтает об учреждении великой единой пангерманской республики, не знаю в каком году XX века. Пока же, говорят они, надо смириться и терпеть. Немецкий патриотизм требует именно жертвы.

Смириться и терпеть! Весьма легкая задача для тех, чье платоническое смирение и добродетельное страдание щедро оплачены полновесными экю, отчеканенными при дворе Его императорского прусского Величества. Вещь, невозможная для пролетариата, который, в действительно-

сти, в одиночку несет всю тяжесть этого деспотического перехода, и для которого страдание тотчас же выражается нищетой и означает истощение, болезнь, голод и смерть. Отсюда я заключаю, будучи почти уверен, что, движимый необходимостью, присущей его положению, и расстраивающей все патриотические и искусные замыслы гг. профессоров и псевдо-либералов Германии, — именно немецкий пролетариат сам станет разрушителем империи.

Если это не будет он, если только свобода не придет к нему извне, что всегда было вещью чрезмерно двусмысленной и опасной, Германия никогда не выйдет из своего позорного рабства. «Сначала единство, потом свобода!», — кричат эти дисциплинированные и выхолощенные либералы. Старая песня, которую мы уже слышали от Мадзини, и согласно которой полицейское и военное положение является лишь переходом, без сомнения неприятным, тягостным, но абсолютно необходимым, чтобы потом достичь свободы. У Мадзини еще было законное оправдание, так как до 1866 года Италия была под иностранным ярмом. Надо было изгнать чужестранцев, это ясно, и нужно было вначале концентрировать все усилия на этом. Но как только этот великий акт свершился, почему же Италия так и не стала свободной?

Некогда, когда пролетариат был еще весьма разумным, смиренным, спокойным, они (с буржуазией, — *прим. пер.*) могли еще стать союзниками с некоторой степенью политической свободы, разумеется, в пользу привилегированных классов. Сегодня даже эта привилегированная свобода стала невозможной. Так как в условиях грандиозного пробуждения пролетариата Европы все конституционные барьеры — бессильны. Чтобы его содержать нужно очень сильное правительство: военная диктатура современной Италии дает тому урок. Пропагандой своей одновременно теологической и политической идеи великого централизованного государства, единого, исходящего из всеобщего избирательного права и, правда, украшенного республиканскими формами правления, но концентрирующего в руках очень сильного правительства все полномочия и руководящего от имени Бога и народа как суверенный хо-

зяин материальной, духовной, социальной и политической жизнью всей нации, Мадзини во многом способствовал тому, чтобы задушить в лучшей части итальянской буржуазии последние следы инстинкта свободы, и побудил ее рассматривать народные массы, то есть собственно народ, как грубый и инертный инструмент, от имени которого все должно провозглашаться и делаться, но который нужно всегда приносить в жертву во имя величия и мощи государства, то есть для исключительного и беззаконного благополучия привилегированных классов.

Итальянская буржуазия с большой радостью приняла это учение; но она не захотела искать слишком неопределенного, слишком далекого его воплощения в идеальной республике Мадзини, счастливо найдя его в режиме Его Величества Виктора Эммануила, короля Италии. Это не устраивает мадзинийскую церковь, которая оказывается таким образом отстраненной от великих и малых функций государства, в которых она смогла бы широко развернуть всю свою силу самоотверженности, самопожертвования и влияния, которыми она чувствует себя наделенной милостью своего Бога. Как следствие она протестует. Но эти протесты стали более чем когда-либо бессильными. Им недостает двух сил, без которых ничто не делается в социальном мире: прежде всего, симпатий народа, который все больше отворачивается, и с все более и более явным отвращением, от ее одновременно интриганской и суровой авторитарности, от ее вечно стерильной и удручающей политико-религиозной пропаганды, от ее действий, ставших нелепыми и систематически приводящими к неудачам. Огромная масса итальянского пролетариата хочет, в свою очередь, *самостоятельности*, и движимая этим мощным инстинктом жизни, который всегда встречается в народе, равно как и его восхитительным здравым смыслом, она поворачивается спиной к мадзинийцам, чтобы войти в спасительные и освободительные врата Интернационала.

Другой силы, которой абсолютно не хватает мадзинийской церкви — это страсти к свободе; страсти, которая, когда она жива, реальна в сердцах людей, способна будить спящих, распространяться, вызывать в сердцах неутоли-

мый огонь и создавать сама по себе средства, необходимые для исполнения ее целей. Мать свободы — это инстинкт бунта, сатанинское *Нет,* эта абсолютная противоположность богословскому *Да.* Но мадзинийское учение — это, прежде всего религиозная доктрина, и не естественно ли тогда, что принцип бунта и, следовательно, также принцип свободы устранены из нее совсем? В мадзинийских работах вы несомненно обнаружите на каждой странице это великое слово «свобода», но это ничто иное, как благочестивый плагиат, богословский обман. Наиболее фанатичные ультракатолики сегодня требуют даже того, что они называют католической свободой. Точно так же, согласно учению Мадзини, свобода людей не имеет иного смысла, нежели их рабство перед Богом и набожное подчинение божественным законам, донесенным его пророками, «*гениальными людьми, увенчанными добродетелью*».

Понятно, что теории Мадзини должны были разрушить даже воспоминания о свободе в сознании его верных учеников. И как только эта страсть была бы задушена, не осталось бы никаких политических институтов, способных воскресить ее в сердцах людей. В Италии, как и в иных местах, эта страсть нашла прибежище, главным образом, в массе пролетариата, где она все больше идентифицируется с другой великой страстью, столь же законной и мощной — страстью к материальному освобождению. Но в Италии, существуют еще героическая молодежь, признающая не как диктатора, не как хозяина, но как полководца генерала Гарибальди: вышедшая из буржуазии, она оказывается деклассированной, лишенной наследия в итальянском обществе, и, следовательно, способной воспринять с искренним энтузиазмом, без буржуазных задних мыслей, дело пролетариата. И действительно, сбросив теологическое и политическое ярмо Мадзини, и будучи ведомой лишь свободной мыслью, с одной стороны, и глубоким чувством социальной справедливости, с другой, она сегодня страстно отдается этому великому делу, создавая тем самым новое будущее.

Подобной молодежи не существует ни в какой другой стране Западной Европы. В особенности в Германии, где

буржуазная молодежь является более благонамеренной и устарелой, нежели старики. Те, по крайней мере, еще позволяют себе иногда невинные мечты об утопических свободе и равенстве; многие из них любят поэзию, философию и науку как таковые, а не по какому-либо прибыльному расчету; в то время как их сыновья, пренебрегающие, впрочем, достаточно обоснованно, платоническими мечтами своих отцов, с гордостью называют себя позитивистами в наиболее буржуазном, то есть исключительно в самом индивидуалистическом смысле этого слова. Грубые радости пива, табака и вакхических игрищ, перемежающиеся то тут, то там разными галантными проделками, ставшими сегодня скорее прямолинейными, чем сентиментальными, составляют все их настоящее. А слово *«карьера»* подводит итог всем их надеждам на будущее. Сама наука, это божество, когда-то мистически почитаемое в Германии, для них стала только средством, так как в Германии надо знать огромное количество бесполезных и полезных вещей, чтобы проложить себе дорогу либо в бюрократию, либо в армию. Надо быть одновременно раболепным и педантом, два условия, которые немецкая молодежь сегодня прекрасно выполняет. Попробуйте-ка найти в ее рядах героев свободы! Знающие, вдумчивые, настойчивые и холодные, при необходимости им хватает смелости, но им абсолютно не хватает достоинства и уважения к человеку. Всегда покорные и способные на любое преступление по приказу своих руководителей, это — ужасные инструменты завоевания и порабощения в руках деспота.

Естественно, что в состоянии передовой цивилизации, в котором находится сегодня Германия, подобная грубость не могла бы, не осмелилась бы существовать, не ища оправдания и чего-то вроде узаконивания в каком-то идеале, иллюзии или абстракции. Только невежественная и невинная грубость дикаря имеет мужество выставить себя напоказ цинично, голышом. Цивилизованная и искусная грубость нуждается в стыдливой пелене, ширме, и для народа, и для себя самой. Эта пелена, эта ширма, этот идеальный предлог найден: это *великая цивилизаторская миссия германской расы*.

Послушайте, гг. профессора и псевдо-либералы Германии, *поройтесь-ка хорошенько в сердцах многих, я могу даже сказать, не рискуя обмануться, большинства буржуазных руководителей новой Социал-демократической рабочей партии Германии, и вы найдете там это патриотическое, наглое убеждение, что латинская раса умерла; что славянская раса, погруженная в безысходное варварство, неспособна цивилизоваться сама собой и потому будет крайне счастлива, если ее приобщат к цивилизации известными средствами, и что во всем мире современных экономических и политических институтов остаются только две живые цивилизаторские сильные расы: прежде всего чистые германцы, затем англосаксы, да и то потому, что они рассматриваются как ветвь германской расы*. От этой пангерманской теории до практической, жестокой, грубой бисмарковской пангерманизации вначале Европы, а затем и остальной земли, — на благо человечества, само собой, — только один шаг. Итак, они просят только сделать этот шаг.

Послушайте их: они уже мечтают вслух о добровольно-силовом присоединении немецкой Швейцарии, большей части Бельгии, всей Голландии, Дании, не считая славянских народов, которых они всегда рассматривали как свои исторические жертвы. Послушайте их хорошенько! Они не остановятся даже на Европе. Слегка понизив голос, они скажут нам, что в Соединенных штатах Америки насчитывается уже 5 миллионов немецких граждан, и что, с помощью новых эмиграций из Германии, надо надеяться, дойдет рано или поздно до пангерманизации всей Америки. Если императора Вильгельма подчеркнуто обхаживает генерал Грант и обожает *господин Банкрофт*, полномочный посол США в Берлине, не находит ли он там уже сегодня громадную поддержку, что пробуждает ревность у его верной союзницы, России?

Вот реальная, живая, активная сторона столь превозносимой цивилизации немцев. Это, повторюсь еще и еще раз, *чудовищный союз науки и насилия ради порабощения человечества.*

Эту истину, которую Европа начинает понимать только сегодня, славянские народы изучили за века на собствен-

ной шкуре, что объясняет глубокую ненависть, которую они питают к немцам. Возьмите поляков, например; конечно, они ненавидят русских, и у них есть на то тысяча причин. Но спросите их, какая нация вселяет им больше всего ненависти, немцы или русские, они вам единодушно ответят, что немцы. Эту живучую и глубокую ненависть вы обнаружите у всех славянских народов Австрии и Турции, я бы сказал у всех народов Восточной Европы, у румын, у греков, возможно, меньше у венгров. Но венгры сами в глубине души питают примерно те же чувства, и если сегодня они делают вид, что не слишком ненавидят немцев, то лишь потому, что их национальный инстинкт, пытающийся обосновать свое политическое превосходство путем подчинения славян Венгрии, вынуждает их искать союз с Германией.

Та же антипатия начинает уже рождаться у народов Запада, соседних с Германией; она очень яростна в Дании; в Швеции она сильна не меньше той, что внушает там Россия, и это многого значит; и, несмотря на флегматичный характер голландской нации, можно предположить, что чтобы вызывать ее возмущение и ненависть, достаточно угрожающих претензий пангерманских патриотов, громко выраженных с наглостью лакеев, особо гордых страхом, внушаемым их хозяином. В Бельгии это уже свершившийся факт, а о Франции даже не стоит говорить. В Швейцарии есть два противоположных течения, но антигерманское настроение бесспорно преобладает. Даже Англия, которая когда-то склонялась к Германии, сегодня заметно охладела к ней. Эта бедная победоносная рабыня напрасно будет искать вокруг себя друзей; везде она встретит только ненависть и антипатию.

Но нигде эта ненависть не проявляется настолько же энергично, как у славянских народов. Каждый славянский ребенок получает ее с молоком матери и наследует ее как отличительный признак своей расы. Повсюду, где говорят на славянском языке, это прозвище германца — *немец*, брошенное в лицо человеку, является оскорблением.

Эта ненависть, какой бы совершенно естественной и исторически законной она ни была, — огромное несчастье.

Так как ненависть никогда не бывает справедливой к тому, на кого она направлена, ни спасительной для того, кто ее испытывает. Ненависть не рассуждает и, смешивая в одну кучу виновных и невиновных, тем же чувством страстного отторжения значительно увеличивает число и силу врагов.

То, что славянские народы могут и должны ненавидеть — всю официальную и официозную, дворянскую, буржуазную, литературную и научную Германию, все то, что составляет политическую нацию. Но у них нет никакой причины, ни какого-либо права ненавидеть пролетариат, крестьян, рабочих Германии. Это такие же жертвы, как и они сами, вековые жертвы того же официального, дворянского, буржуазного угнетения, и, следовательно, их естественные союзники, друзья по несчастью.

Если бы славянский пролетариат хотел и мог рассмотреть этот вопрос хладнокровно, он бы скоро понял, что славянское дворянство и славянская буржуазия, эксплуатирующие его труд, и подавляющее большинство его политических вождей, так называемых славянских патриотов, — Палацкие, Ригеры, Браунеры и им подобные, эксплуатирующие его наивность, то заключая от его имени чудовищные союзы с всероссийским царем, то используя его как подножку для не менее зловещих амбиций австрийской олигархии, являются для него еще более опасными врагами, чем сами немцы, как раз потому, что они — туземные угнетатели, эксплуататоры и лжецы; и он пришел бы к тому, чтобы объединиться с пролетариатом Германии против всех привилегированных классов, против всех государств и против всех политических деятелей, как немецких, так и славянских.

Таков единственный путь освобождения и спасения для славянских народов. К несчастью, традиционная и вечно живая ненависть ко всему, что исходит от Германии, всему, что носит имя немцев, мешает им это признать. Эта ненависть устанавливает между самыми удаленными и самыми разными славянскими народами, что-то вроде глубинной связи, отрицательной, если угодно, но весьма мощной. Именно она составляет, образно говоря, душу и силу *панславизма*.

Впрочем, панславистские тенденции славянских народов совершенно естественны. Эти народы горят нетерпением сбросить ненавистное иго немцев, венгров, турок. Нет ничего законнее этого желания, но осуществить его вовсе не просто. С точки зрения численности славяне составляют, несомненно, самую мощную расу Австрии: более 16 миллионов на 9 миллионов немцев, 5 миллионов венгров, остальные румыны и итальянцы; в целом около 36 миллионов жителей. Если добавить к славянам Австрии славян Турции, то получим население примерно 22-23 миллиона. Если к этому прибавить поляков и других славян Пруссии, то у нас будет более 25 миллионов.

Это громадная величина. Но это славянское население не образует компактной массы; оно рассеяно и разделено немецкими, венгерскими, итальянскими и турецкими народностями. Затем, оно составляет не единый народ, а несколько народов, говорящих на различных диалектах, хотя и более или менее похожих, и исповедующих различные религиозные культы; одни протестанты, их меньше всего, другие католики, и, наконец, православные. Каждый из этих народов имеет, кроме того, свои особенные исторические традиции, и большинство этих народов находятся в совершенно различном положении в экономическом и политическом смысле.

Нельзя также сказать, что среди них царит совершенная гармония стремлений и чаяний. Между многими из них существует глубокая ненависть или преобладает зависть. Например, поляки и галицийские русины ненавидят друг друга и постоянно враждуют. Причины этой ненависти надо искать в истории: русины, ныне униаты, в прошлом греко-православные, очень жестоко обращались в католичество иезуитами, которых весьма усердно поддерживала польская знать, остающаяся, как известно, рьяно католической до сих пор, и которая считала раскольников-русинов рабами. Сегодня же, под влиянием своих священников, многие из которых состоят на жаловании у русского правительства, у русинов ярко выражена симпатия к России, в то время как поляки, довольно безразличные к славянскому вопросу, склоняются скорее в сторону венгров.

Чехи, со своей стороны, не живут в совершенной гармонии ни с поляками Силезии, ни со словаками северной Венгрии. Ими руководят весьма честолюбивые и склонные к интригам политические деятели, мечтающие о восстановлении великого королевства Богемии, в котором, согласно их идее, словаки и силезцы должны стать неотъемлемой частью. Это не устраивает ни силезцев, ни словаков, которые отказываются принимать чешский язык в качестве государственного и намереваются сохранить свою самостоятельность. Наконец, у южных славян Венгрии и Австрии есть такие же претензии на господство и та же национальная зависть; равно как в Турции, где сербы намереваются восстановить душанскую империю, о которой болгары даже слышать не хотят.

Эти разногласия, столь благоприятные для начинаний великих государств-завоевателей, тщательно культивируются и разжигаются золотом Австрии, России, а теперь в равной степени и Пруссии. Они рождаются, даже помимо любого иностранного и продажного влияния, из ошибочного и гибельного направления, взятого идеями и тенденциями славянской молодежи.

Если исключить польские провинции, где дворянство, как известно, господствует, так же как и у венгров, — что объясняет симпатию, существующую между польской и венгерской политикой, — во всех других славянских областях Австрии и Турции, не существует совсем или почти каких-либо славянских дворянских классов. Дворяне — немцы, даже когда некоторые из них, как многие семьи в Богемии, носят славянские имена. На севере Австрии славянское население делится на буржуа, коммерсантов, промышленников или государственных служащих, на рабочих фабрик и городов, и на крестьян. Этот последний класс наиболее многочисленен. В южных провинциях Австрии и Венгрии, где торговля и индустрия очень слабо развиты, класс, собственно говоря, рабочих, так же как и буржуа-коммерсантов и промышленников, совсем невелик, труженики полей составляют там подавляющее большинство; но в странах, исповедующих греческий православный культ, и где, следовательно, священники женаты, к классу обще-

ственных служащих присоединяется еще и класс священников. В турецкой Сербии, с одной стороны, есть только служащие и священники, и, с другой стороны, только крестьяне, буржуазия там практически не существует. В Болгарии имеется класс довольно богатых торговцев.

Именно дети промышленной, коммерческой или бюрократической буржуазии и дети православных или протестантских священников составляют патриотическую, активную и более или менее образованную славянскую молодежь. Именно она порождает славянские волнения. То, что благоприятно отличает ее от буржуазной молодежи Германии и то, что дает ей великую силу, это не политическое, но искреннее братство, в котором она живет с пролетариатом, как со славянскими рабочими, так и крестьянами. Она действительно любит свой народ, и она им очень любима; и, надо сказать, главное основание этой взаимной приверженности — непреходящая, вечная ненависть к немцам и общее желание, которое горячо чувствуют обе стороны, стряхнуть их ненавистное иго, чтобы иметь возможность совершенно свободно развить и проявить славянские душу и чаяния.

В чем заключается эта душа и эти инстинктивные чаяния? Я уже писал об этом*: *Это отрицание государства, это социальное и экономическое устройство вне государства*. Славяне никогда не были расой завоевателей, и, следовательно, у них никогда не было ни политического чувства, ни устремлений. Это отсутствие политических страстей и взглядов, несомненно, явилось в прошлом одной из главных причин их неполноценности и их порабощения игом рас-завоевателей: немцев, венгров, татар и турок, которые основали свои государства на их рабстве. Но для будущего это является несомненным залогом великой исторической миссии; так как славяне там самым оказываются солидарными с основными чаяниями пролетариата Европы, которые направлены, сознательно или бессознательно, но, на мой взгляд, несомненно и неизбежно, к упразднению всех государств, к окончательному разрушению всех этих политических, религиозных и юридических тюрем, един-

* «Кнуто-германская империя и социальная революция».

ственная цель которых, на все времена, была ничто иное, как порабощение народных масс к исключительной выгоде захватнических, эксплуатирующих и привилегированных классов.

Ни одно из исторических славянских государств не было основано чисто славянскими народами. Королевство Богемии было созданием германского католицизма, и доказательством тому то, что, едва став королевством, оно вошло неотъемлемой частью в Святую германскую империю. Польское королевство и позже республика были также учреждены под тем же прямым влиянием немецкого католицизма и основывали свое развитие на порабощении сельских масс и буржуазии под весьма тяжелым, наглым и грубым ярмом гордого, анархического, католического дворянства, славянское происхождение которого даже оспаривается историками и очень серьезными польскими филологами. Наконец, московито-санкт-петербургская империя, происшедшая не из развития, а из абсолютного и жестокого отрицания славянской народной жизни, была основана под татарским игом князьями, любимчиками и управляющими татар, затем благословлена святой гнилью Византии и, наконец, усовершенствована и закончена цивилизацией немцев.

Славянские народы, мирные, сельские и социалистические по своей природе, никогда не основывали государств, и любое новое государство, установленное на их плечах, будь оно хоть тысячу раз славянским по названию, нарушит их самые глубинные инстинкты, и никогда не будет для них ничем иным, как новой тюрьмой.

Вот то, чего славянская молодежь, к несчастью, не понимает. Воспитанная большей частью в школах и немецких университетах Австрии и Германии, и только в очень малой части в России и Франции, она глубоко пронизана этой проклятой, полностью германской идеей государства; и так как она сильно влияет на народные массы, то придает их волнению гибельное направление, ведущее, без ведома этих масс, к основанию либо нескольких государств, либо единого великого славянского государства.

Поэтому славянский вопрос упрощается и сужается странным, и, по-видимому, весьма практическим образом. Речь не идет больше об освобождении народа, но лишь о том, чтобы знать, какая раса будет угнетать другую? Или даже, скорее, будут ли, как и прежде, политические и привилегированные классы Германии продолжать угнетать и эксплуатировать славянский и немецкий пролетариат, или же новые политические и привилегированные классы славянского происхождения начнут в свою очередь угнетать и эксплуатировать немецкий и славянский пролетариат. В первом случае угнетатели и эксплуататоры будут говорить на немецком языке, во втором, они будут говорить на каком-то славянском языке. **Но угнетение, эксплуатация, жестокая и жадная несправедливость останутся теми же.** В славянских или немецких формах, они всегда будут триумфом той же идеи господства, то есть германской цивилизации.

Поэтому, говоря откровенно, игра не стоит свеч; и если славянские народы не могут привнести в нее что-то новое, лучше было бы для всего мира и для них самих, чтобы они просто оставались под историческим игом немцев. Так как ради чести расы в тысячу раз лучше продолжать терпеть иностранное угнетение, нежели становиться в руках местных угнетателей и эксплуататоров инструментом одновременно и собственного рабства, и порабощения соседних народов. В первом случае остается, по крайней мере, надежда на освобождение в будущем; тогда как во втором остается только безнадежная нищета, стыд и преступление против человечества.

Славянская молодежь, сбитая, таким образом, с толку и ищущая исполнения судеб славянства в политических комбинациях, полностью противоположных интересам и инстинктам тех самых славянских народов, которых она так любит; весьма бедная и вынужденная зарабатывать себе на хлеб в условиях зависимости от правительств и классов, интересы которых диаметрально противоположны интересам народных масс; эта молодежь, добрая, исполненная наилучших намерений к народу, но с головой, полной идей или скорее устаревших фантазий, становится, несомнен-

но, не зная и не желая того, инструментом любых политических интриг, выгоду от которых получают лишь бесстыдная жадность и амбиции признанных руководителей славянского движения. Эти руководители продаются тем, кто дороже заплатит, и часто даже многим сразу, и вместе с ними продается искреннее, но слепое воодушевление молодежи, которая следует за ними, не подозревая, куда ее ведут.

Можно представить себе ужасное смятение, которое должно происходить в славянском движении, проникнутом таким числом противоположных течений, которые сталкиваются и, пересекаясь и мешая друг другу, в результате сводят к нулю любые отдельные начинания, которые делались до сих пор для освобождения этих народов. Первыми, кто от этого, по всей видимости, выгадывает, являются Турция и Австрия. Но наиболее очевидные выгоды, самые несомненные и сильные преимущества неоспоримо достаются панславистской пропаганде Всероссийской империи. Так как, каким бы великим ни было смущение, причиненное этим политическим, интеллектуальным и духовным бесстыдством, в сердце и душе славянских народов, и, можно даже сказать, почти всех славян, как бы далеко ни заходила их политическая коррупция, всегда остается постоянное, глубокое, неизменное чувство ненависти к иностранным угнетателям; ненависть в первую очередь к немцам, и затем, в намного меньшей степени, к венграм и туркам.

Но, главным образом, немцы внушают именно ужас; чувство, которое, у славянских народов никогда не засыпает, и которое, даже несмотря на расколы и взаимные претензии, объединяет их действительно в однородное целое. Добавьте к этому чувству все более и более очевидное понимание бессилия освободиться своими собственными изолированными действиями, и вы познаете секрет, образно говоря, гипнотического влияния, которое оказывает на сознание этих народов русская пропаганда.

Огромная, мощная славянская империя, которая не только держится, но и заставляет себя уважать и, в свою очередь, заставляет дрожать всю Европу; которая уже во многих случаях выступала в качестве арбитра во внутренних

делах Германии, и которая одна только осмеливается сегодня ею пренебрегать, в то время как та, опьяненная своими последними победами, оскорбляет весь мир. И эта великая держава гордится тем, что она славянская, и при любой возможности проявляет свои славянские симпатии! Не спаситель ли это, которого божественное Провидение посылает всем угнетенным славянским народам? И не естественно ли, что все эти народы, бессильные освободиться самостоятельно, ждут своего освобождения лишь от нее?

Мы только что видели, как все края Германии преодолели глубокую антипатию, которую они всегда испытывали к Пруссии, объединились и подчинились ей, принимая ее господство со своеобразным энтузиазмом, не для того, чтобы освободиться от иностранного ярма, но лишь для того, чтобы создать с нею мощное государство-завоевателя. Можно ли находить после этого незаконным и дурным, если славяне ищут в русском господстве своего освобождения от ненавистного ига немцев? Но русский царь — ужасный деспот! Несомненно, я хотел бы только знать, намного ли любезнее император Вильгельм? Но немцы объединяются ради всемирной цивилизации! Тогда славяне объединятся, чтобы отвергнуть эту цивилизацию, которую они находят отвратительной.

С точки зрения того, в каком положении находятся сегодня немцы, у славян есть тысяча причин желать образовать великую панславистскую империю под скипетром Его Величества императора всероссийского. С точки зрения же прогресса человечества и свободы Европы, равно как ради собственного спасения, они должны воздержаться от того, чтобы это сделать.

Однако славян, за исключением, разумеется, поляков, можно извинить: как правило, они не знают, что такое всероссийская империя. Они даже не представляют себе этот режим абсолютного угнетения, который давит все то, что не исходит от правительства, или, по крайней мере, не угодничает перед ним, и который, доведя до крайней степени рабство и нищету 70 миллионов подданных, не находит ничего лучшего, чем прийти освобождать таким же образом наших *славянских братьев*.

Откуда им это знать? Это весьма несведущие народы. Правда то, что их руководители, например, гг. Палацкий и Ригер, которые *хорошо знают историю* и которые, вероятно, не строят никаких иллюзий насчет свободы и счастья великорусских, малороссийских, литовских и польских жителей империи, могли бы рассказать, что несет им и чего стоит защита царя, который, возможно, в этот самый час, ради урегулирования своих восточных дел продает Богемию Пруссии, как его прабабка, Екатерина Великая, продала ровно век назад большую часть Польши двум германским державам.

Они могли бы им рассказать все это и еще много других вещей, но они воздержатся от того, чтобы это сделать, так как русская защита — одна из главных струн их арфы, и если их нынешняя комбинация альянса с южноальпийской олигархией Австрии не удастся, они снова направятся, как уже было в 1867 году, и увлекут с собой по крайней мере часть славянской молодежи к России, чтобы праздновать там, среди народной скорби и циничной лжи российских официальных кругов, на трупе истерзанной русскими Польши, *славянское братство*!

Со своей стороны правительство Петербурга наводнило своими агентами все славянские края, от Турции до Австрии, со специальной миссией устремлять, либо силой золота, либо путем обильно распространяемых обманчивых обещаний, все славянские надежды к всероссийскому царю. Эти агенты подразделяются на три категории: официальные лица, прислужники и добровольцы. Первые — подчинены канцеляриям русских дипломатических миссий, и, что особенно пикантно, среди них встречается значительное количество немцев, естественно, русских служащих; вторые посланы прямо Петербургом. И те, и другие хорошо оплачены.

Третья категория — добровольные агенты — в подавляющем большинстве действуют не по расчету, не из личных амбиций или корысти, что делает их гораздо опаснее первых двух. Это чистые фанатики, которые вовсе не являются сторонниками правящего ныне в России режима, но которые воспринимают его как неизбежное зло и переходный

период, необходимые для триумфа того, что они называют славянской идеей. Это весьма мистическая идея, где греко-русское православие смешалось с чем-то вроде патриархального социализма. Пока они рассматривают царский деспотизм и военную мощь империи как перст божий, без вмешательства которого славянским судьбам не суждено сбыться. Вначале, говорят они, рассуждая абсолютно так же, как рассуждают немецкие патриоты, — вначале единая всеславянская империя, а уж потом федерация автономных славянских народов, при условии, что эти народы примут язык Великороссии, как всемирный славянский язык. Они искренне ненавидят немцев; это самое ясное, что есть в их теории.

Эта ненависть, довольно систематическая, хотя и инстинктивная, добавляет силы их пропаганде среди славянских народов. Одно из первых слов, которые они им говорят, обычно выражение этого чувства: «Проклятый немец!». Ему отвечают: «Проклятый немец!» — и становятся братьями. У этих людей чрезвычайная чувствительность по отношению к их славянским братьям, жертвам немцев, и они умеют разбудить в их сердцах естественную чувственность. Если бы они захотели применить ту же самую чувствительность к нашим бедным крестьянам, жертвам не немцев, а империи, царя, того самого царя, чью помощь они яростно обещают славянским братьям, несомненно этим чувствам нашлось бы лучшее применение. Как бы там ни было, они во многом способствуют тому, чтобы пробудить в славянских странах панславистские симпатии. Но, еще раз повторюсь, главный пропагандист этих симпатий у славянских народов — это всеобщая ненависть к немцам.

Дайте этой ненависти созреть, что непременно произойдет, поскольку сегодня пангерманские претензии стали более наглыми и угрожающими, чем когда-либо, и вы увидите как даже поляки, вековые и непримиримые враги России, бросятся в ее объятия. И что тогда? Тогда будет двадцать пять миллионов славян, рассеянных с севера на юг по всей Восточной Европе, и продвигающихся как грозный клин в само сердце германской империи, двадцать пять

миллионов неистовых врагов Германии, которые, вдохновляясь лишь этой ненавистью, образуют с 70 миллионами нынешних подданных всероссийской империи огромную массу из 100 миллионов рабов, организованных и дисциплинированных для того, чтобы исполнить все губительные для свободы и человечества посягательства, задуманные царями против Европы.

Вот то, что, в конечном счете, означает панславизм.

Конечно, он представляет огромную опасность для Европы. Но посмотрим, изобрели ли немецкие патриоты действенное средство, чтобы ее предотвратить?

Один из их излюбленных аргументов, чтобы оправдать и узаконить зарождающееся образование их великой пангерманской империи, это то, что эта империя стала необходимой именно для сдерживания угрожающих амбиций русской империи, чтобы помешать ей еще больше расшириться в Европе и превратиться в панславистскую империю путем присоединения тех двадцати пяти миллионов славян, которые живут еще вне ее лона, волей-неволей пользуясь преимуществами цивилизации, то есть господства немцев.

Давайте рассмотрим этот аргумент повнимательней. Согласно ему, пангерманская империя выполняет гуманитарную, спасительную миссию, становясь непреодолимым барьером посягательствам Российской империи. Но чем, скажите на милость, пангерманская империя лучше, в чем она проявляет себя либеральнее и гуманнее, нежели империя царей? Я вижу между ними одну единственную разницу: одна просто жестока, тогда как другая жестока и учена одновременно. Ведь у немцев были Лессинг, Гете и Шиллер, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Кант, Фихте и Гегель, а в наши дни Фейербах; наконец, начиная с Гумбольдта, блестящая, бесподобная череда героев и творцов положительной науки, яркая плеяда великих умов, разносторонних людей, которых можно было бы назвать пророками человечества. Россия, произвела ли она в литературе, искусствах, поэзии, науках хоть что-либо, могущее сравниться, хотя бы отдаленно, с бессмертными творениями Германии? Нет,

и во всех этих отношениях, не побоюсь сказать, русские должны склониться перед немцами, которые бесспорно и еще на долгие времена останутся нашими учителями.

Но, безоговорочно отдав эти *теоретические* почести Германии, и заметив мимоходом, что все эти бессмертные творения немецкого гения были продуктом вовсе не единства, а германской анархии, и добавив, что политическое единство наверняка убьет и уже начинает стерилизовать животворные источники созидательного духа Германии, спросим себя, в свою очередь, что все эти великолепные теории дали в практической и политической, как внутренней, так и внешней жизни Германии? И в свою очередь, немцы, если говорить по совести, должны ответить: ничего.

Теоретическая гуманность — их мечта; но их практические действия сводятся лишь к жестокости, по крайней мере в отношении собственной как внутренней, так и внешней национальной политической жизни. Если мне скажут, что Германия пользуется всеми свободами конституционного и широко развитого выборного парламентского режима, я отвечу: «Тем хуже для тех, кто позволяет себя обманывать всей этой лживой бутафорией и воображает себя свободным, оставаясь ничтожным рабом». Не надо быть, в действительности, слишком проницательным, чтобы распознать во всем этом искусственном шуме, поднимаемом жалкими представителями так называемых германских свобод, резкий голос хозяина, который отдает приказы и не терпит возражений. Сегодня, во всех этих парламентских дебрях остаются только три серьезных учреждения: финансы, полиция, как внутренняя, так и внешняя, как светская, так и духовная, и армия. Все остальное просто выдумка и иллюзия, весьма удобная ложь, большую выгоду которой понял уже Наполеон III. Я совершенно не сомневаюсь, что ее вскоре введут также в России, и тогда, в политическом отношении, завидовать в Германии больше будет нечему.

Реальная основа всех конституционных свобод, которыми пользуются осчастливленные немецкие народы, — это наглый и жестокий деспотизм. Это систематическое и умелое отрицание свободы и гуманности. И что особен-

но достойно сожаления, немецкий буржуа чувствует себя при этом в своей тарелке, довольный, как рыба в воде. Как видно рабство стало частицей его самого. Да, если бы о немецкой нации должно было судить по ее дворянству и буржуазии, то можно было бы сказать, что это народ, рожденный, чтобы оставаться лакеем всю жизнь.

Мне укажут на пролетариат Германии. Перед ним я склоняюсь, и признаю от всего сердца, что, когда он не сбит совершенно с толку своими руководителями, социалистическими еврейчиками, литераторами и корреспондентами, о которых я говорил выше, и настолько, насколько ему позволяет его отчаянное положение, несмотря на свое невежество, движимый лишь великим инстинктом, он делает все возможное, чтобы по крайней мере в его жизни и действиях свобода, справедливость и братство народов не были ложью. В то время как вся дворянская, буржуазная, литературная, артистическая и ученая Германия праздновала губительные для человечества и свободы триумфы своего императора, только у него было мужество протестовать; и я охотно признаю, что в этом случае его руководители, к которым, как видите, я питаю лишь весьма посредственные симпатии, вели себя столь же достойно, как и он сам. Они оплатили своей свободой свои смелые требования.

Таким образом, немецкий пролетариат составил единственное исключение в немецком правиле, то есть в трусливом угодничестве, которое характеризует всю остальную немецкую нацию, собственно цивилизованную Германию. И, прошу вас также заметить, этот пролетариат никогда не способствовал, по крайней мере, по собственной воле, и не выражал свои патриотические симпатии основанию прусско-германской империи, если не считать часть сбитых с толку прусских рабочих, которых агенты Бисмарка, так называемые социалисты Лассаля, сумели на некоторое время ввести в заблуждение. Но, в действительности, они были столь же несведущи, как невежественные пролетарии деревни, которые кричали браво императору и Бисмарку, не подозревая, что они взывали о смерти себе самим. Давайте оставим в покое этих простодушных и

поговорим лишь о сознательных и заинтересованных соучастниках.

Кто настоящие учредители Империи, так это дворянство и буржуазия, в том числе, естественно, подавляющее большинство литераторов и ученых. Именно в империи оттиск их души и разума; и теперь, когда все это полностью проявилось, и когда, наконец, они только что показали всему миру то, что так долго вынашивалось в их чреве, мы можем судить о них самих по империи, которую они основали.

Либеральные немецкие патриоты, и среди них довольно большое число социал-демократов, видя добровольное и триумфальное падение своей дорогой родины, любят утешать себя идеей, что все это внутреннее рабство, равно как наглая и реакционная политика, в которой оно выражается снаружи, не собственный продукт Германии, а русский импорт, катастрофическое следствие вредного влияния Российской империи на Германию.

Я уже говорил в другом месте («Кнуто-германская империя») о письме или даже двух весьма странных письмах, которые граждане Карл Маркс и Филипп Беккер направили в 1870 году редакции одного небольшого русского листка, который выходил некоторое время в Женеве. В этих письмах, которые я, к сожалению, не могу воспроизвести здесь, так как не имею их под рукой, тот и другой уверяют, что, если Германия еще и остается классической страной деспотизма, тому причиной только Россия, которая изобрела как внутреннее рабство, так и внешнюю жестокость их великой страны. Русский листок рабски перевел эти два письма, не позволив себе добавить к ним никаких замечаний. По политическим соображениям и, несомненно, вследствие договоренности, он должен был вынести это беспричинное оскорбление, удвоенное ложью. Этой ценой он покупал себе сильных покровителей. Это был, возможно, также излишек скромности и рабского восхищения с его стороны: раз уж великий немецкий социалист с высоты своего папского престола соизволил обратиться к нам с речью, неужели какая-то русская газетенка осмелится протестовать?

Будучи абсолютно лишенным набожного благоговения и добродетельного смирения, которые присущи лишь чрезмерно почтительным душам, я уже однажды осмелился ответить на странное высказывание гражданина Маркса, и еще раз отвечу на него сегодня.

Нет, немцы не нуждались, чтобы им импортировали рабство, угодничество и грубость. Если бы их до того не существовало в мире, они бы их изобрели. С тех пор, как протестантская реформа приняла у них пагубный оборот, их светские правители стали одновременно духовными руководителями их церкви, и уже с *XVI-ого века* немцы окончательно стали народом рабов или, как сказал Берн в момент горькой грусти, народом лакеев. Иллюзия на этот счет, для любого, кто не хочет ошибиться, невозможна. Полистайте великий труд «История XVIII-го века», написанный всемирно признанным немецким историком Шлоссером, и на каждой странице вы найдете там следы и доказательства этого глубокого исторического падения немцев. Я хотел бы, чтобы вы назвали мне другой язык, в котором можно найти столь чудовищно нелепые выражения, чтобы пышно превозносить правителя, и столь унизительные, чтобы выразить суеверное почтение, которое добрый немецкий буржуа никогда не перестанет испытывать к *высоким* властям вообще, и к каждой отдельной личности, облеченной государственной должностью. Для немца военная дисциплина, бюрократическая иерархия, государственные интересы и воля правителя священны: его церковь — это государство; римский папа — император, король; армейские офицеры, вся бюрократия — священники. Он же, вечно распростертый подданный, раб, верующий. Когда почтительность доходит до такой степени, обязательно становишься рабом, рабом по природе и пропагандистом рабства в мире.

Начиная с Вестфальского мира, когда еще влияние России на Европу было ничтожно, внешняя политика Германии была политикой реакции и порабощения. Совершенно не верно, что после 1815 года именно Россия толкнула Германию в эту реакционную политику. Правда, в ту эпоху у немецкой буржуазии был, по крайней мере, либеральный вид. В сущности, она хотела тогда только того, что хочет,

и что, наконец, получила сегодня: единства, организации, наконец, великого германского государства, и так как ей не хотели этого давать, она затеяла шум: много шума, но никаких действий, что составило о ней впечатление, как о чрезвычайно либеральной. Но если бы реакция тогда не нашла своего союзника в буржуазии, она бы его нашла, как всегда, в дворянстве, при дворе, и, главным образом, в олигархии Пруссии и Австрии. Центр *Священного* Союза находился не в Петербурге, а в Вене. Меттерних был его настоящим главой, а не император Александр. Первый внушал ему все планы, идеи, решения, равно как и действия; а второй, мучаемый тщеславием, столь же великим, как и его бессилие, суетился и метался, чтобы выглядеть все придумавшим, решившим, приказавшим.

Император Николай был намного более серьезным императором, чем Александр. За неимением высокого рассудка, у него была, по крайней мере, большая воля. И несмотря на это, его влияние на Европу было ничтожно. Он должен был довольствоваться тем, что раздавил Польшу; но ему не было позволено выходить за ее рамки. Центр активной реакции оказался поделенным между Веной и Берлином; *Петербург* мог в нем играть лишь незначительную, скорее видимую, чем реальную роль, не из-за нехватки к тому желания, но вследствие своего бессилия.

После установления Второй французской империи центр реакции оказался перенесенным в Париж; и буржуазная Германия, завидуя этой монополии, на которую она чувствовала историческое право больше, чем любая другая нация, тогда усиленно трудилась над тем, чтобы отвоевать ее снова в пользу Берлина. Она достигла своей цели: пангерманская империя основана, и никогда свобода Запада не находилась под такой угрозой, как с тех пор, как Германия стала самой мощной нацией Европы. Граждане Карл Маркс и Филипп Беккер, несомненно, не скажут, что император Александр Второй или князь Горчаков вдохновляют сегодня политику князя Бисмарка, ни что русская армия ограбила и истребила Францию; ни что русское дворянство изобрело померанскую заносчивость немецких юнкеров; ни что бедные торговцы *Петербурга* и Москвы научи-

ли восторженному низкопоклонству ученую буржуазию Германии; ни что, наконец, именно ученые, литераторы и редакторы русских газет подсказали ученым, литераторам и журналистам *самой цивилизованной страны Европы*, все те глупости, ложь и низости, которые наполняют сегодня их писания. Нет, мои дорогие граждане, все эти прекрасные вещи — родные цветы вашего отечества, *незабудки*, которые Европа никогда не забудет!

А в этот самый час, кто — Россия или Германия начинает и ведет самую реакционную политику, которая угрожает Европе? Задать вопрос, значит на него ответить. Очевидно, что имперская Германия изобретает, начинает и ведет все это. *Сегодня это князь Бисмарк, как когда-то это был князь Меттерних, и сегодня, как и тогда, имперская Россия играет озабоченную, очень шумную, но, в действительности, совершенно ничтожную роль суетящейся попусту; не потому, что она не хочет, но потому, что еще не может играть другую*. Ее час еще не пришел, и возможно, готовясь к нему, она ожидает, что князь Бисмарк и пангерманская империя проложит ей дорогу и подготовит на ней привалы, то есть приучит Европу к рабству. Тем временем она приведет в порядок свои делишки на Востоке.

И я еще раз спрашиваю себя, какая все-таки разница между русским и пангерманским господством? С точки зрения грубости, наглости и жестокости, я искренне верю, что пальмовая ветвь принадлежит немцам, которые превзошли, я бы сказал, все то, что русские сделали в Польше, но которые, в свою очередь, надо действительно это признать, были превзойдены патриотической армией Версаля.

Между немецким и русским господством, имеется, таким образом, лишь единственная разница в науке, которая целиком в пользу немцев. Но эта разница, является ли она, по крайней мере, благоприятной для завоеванных народов? Я так не думаю.

Наука, если не облагораживает, то развращает. Она делает преступление утонченным, а подлость — более унизительной. Ученый раб — безнадежный больной. Ученый угнетатель, палач, деспот навсегда недосягаемы для всего, что зовется гуманизмом и жалостью. Ничто их не удивляет,

ничто не пугает, не трогает, за исключением их собственных страданий или опасности для них самих. Ученый деспотизм — тысячекратно более обескураживающий, опасный для своих жертв, чем просто грубый деспотизм. Этот влияет лишь на тело, внешнюю жизнь, богатство, отношения, действия. Он не может проникнуть во внутренний мир, потому что у него нет от него ключа. Ему не хватает разума, чтобы задушить разум. Умный и искусный деспотизм, напротив, проникает в душу людей, и разлагает их мысли в зародыше.

Спросите у поляков, какой из двух деспотизмов их наиболее обескуражил? Русский ли или немецкий деспотизм? Все вам скажут, что последний. Пруссаки сумели германизировать значительную часть доставшихся им провинций, и теперь они презрительно говорят, даже с чем-то вроде патриотического возмущения против австрийского правительства, что оно совершенно не смогло, по их словам, достаточно денационализировать славянские народы. С гораздо большим основанием они могли бы направить этот оригинальный, чисто немецкий упрек русскому правительству, так как, несмотря на небывалые усилия, несмотря на варварские меры, которые были предприняты и которые продолжают применяться сегодня, русские ничего не русифицировали.

Грубый завоеватель более цивилизованной нации, чем он сам, очень быстро испытывает влияние этой цивилизации; мы видели как русские чиновники, которые провели некоторое время в Польше, хотя бы частично полонизировались, но никогда не видели русифицировавшихся поляков.

Немецкое завоевание пангерманизирует мир; русское или славянское завоевание рано или поздно привело бы к растворению завоевателей в цивилизации завоеванных народов. И то, и другое отвратительно; но если было бы нужно обязательно выбирать между ними, я посоветовал бы Европе принять скорее славянское или русское завоевание.

Таким образом, под предлогом защиты Европы против панславизма, Германия создает еще более грозную опасность, пангерманизм. Давайте посмотрим, достигнет ли

она, по крайней мере, своей цели, если, одарив Европу и мир щедротами пангерманизма, она убьет панславизм?

На первый конгресс Лиги мира и свободы, состоявшийся в Женеве в сентябре 1867 года, господин, которого я уже имел случай назвать, друг и близкое доверенное лицо гражданина Карла Маркса, и, при необходимости, исполнитель его возвышенных произведений, а также один из наиболее значительных и уважаемых членов Социал-демократической партии Германии, как об этом публично заявил главный печатный орган этой партии, сам «*Фольксштат*» («*Volksstaat*»), иудейско-тевтонский гражданин Боркхейм пришел прочесть весьма оригинальную речь, как говорили, вдохновленную, если не продиктованную самим гражданином Карлом Марксом.*

В этой речи, от души поиздевавшись над утопистами конгресса и заявив с величайшей уверенностью и глубоким самодовольством, которые отличают это учение и эту расу, «*что этой международной ассоциации* (Лиге мира и свободы) *надо бы поостеречься использовать агитацию в пользу мира как рычаг против какого-либо правительства* Центральной и Западной Европы (!); *что надо быть предубежденным дураком, чтобы полагать, что диалог возможен только под угрозой свержения Изабеллы, Бисмарка или Бойста; что основной арьергард главной европейской реакционной партии — это Россия* (недавние факты только что доказали с очевидностью, способной заставить прозреть самого *господина Боркхейма*, что это в гораздо большей степени Германия, чем Россия); *что именно Россия — яростный противник экономического развития (!) как условия мира*». В действительности она очень сильно поглощена всеми этими экономическими вопросами, и, как, впрочем, все государства, ведущие социальную экономику, интересуется только одним: искусством обдирать

* Поскольку конгресс совершил большую ошибку, прервав ее чтение, *господин Боркхейм* отомстил ему, опубликовав ее в виде брошюры, под следующим оригинальным заголовком: «*Мое блестящее выступление перед Женевским конгрессом, в изложении европейского дипломата*».

до нитки народное стадо! И не сказать ли, послушав *господина Боркхейма*, что, если бы не это проклятое влияние России, то буржуазия, дворянство и все правительства Германии тотчас обратились бы к коммунистической системе гражданина Маркса!

Господин Боркхейм заключает, «*что Россия в том политическом состоянии, каком она существует сегодня, должна быть поставлена вне сообщества стран Центральной и Западной Европы*», политическое состояние которых ему, без сомнения, весьма нравится, так как он не хочет, чтобы свергали «ни Изабеллу, ни Бисмарка, ни Бойста»; и что «*все народы Западной и Центральной Европы*», — ему следовало бы сказать, чтобы быть искреннее, «все государства», поскольку он старается сохранить именно государства, — должны объединиться против России, и «*что главный вопрос в Европе должен отныне называться русским вопросом*».

Если бы *господин Бисмарк* хотел послать своего агента на Женевский конгресс, смог ли бы тот выразиться иначе? В тот самый момент, когда он готовил свои ужасные средства, чтобы разрушить французскую гегемонию и основать на ее руинах господство Германии, не было ли превосходной политикой отвлечь внимание общества от этих угрожающих приготовлений тевтонского властолюбия, привлекая его к гораздо более далеким опасностям, которыми грозит Россия? Не это ли пангерманизм, представляющийся Европе под благовидным предлогом законной и общей ненависти к панславизму? Не для того ли он, чтобы обелить Германию от всего того политического и социального зла, которое она сделала и продолжает делать сегодня в чудовищно большем размере, и переложить в том вину на ее, увы, слишком покорного и верного ученика, Россию?

Я далек от мысли вскрыть видимость сознательной солидарности между князем Бисмарком и руководителями Социал-демократической рабочей партии Германии. Я не только не думаю, но и прекрасно знаю, что между ними нет абсолютно ничего общего, и что они, напротив, заклятые враги. Но я также знаю, и я попробую показать это ниже, что несмотря на эту явную неприязнь и очевидные

противоречия, разделяющие бисмарковскую программу и программу этой партии, их отличает общая черта: они обе стремятся к основанию великого централизованного единого пангерманского государства. *Князь Бисмарк, бесспорно, самый великий современный политический деятель Европы, но проникнутый до мозга костей одновременно аристократическими и рабскими страстями померанского юнкерства, хочет построить эту империю при помощи бюрократического и военного дворянства и монополии крупных финансовых компаний; в то время как руководители социал-демократической рабочей партии ради реализации невообразимой утопии хотят основать ее на экономическом освобождении пролетариата.* Но как тот, так и другие в высшей степени патриоты, и в этом политическом патриотизме, не желая и не стремясь к тому, они сходятся; логика тенденций и ситуаций всегда сильнее воли личностей.

Господин Боркхейм, полусумасшедший, полудурак, со ртом или, по крайней мере, пером, всегда полным оскорбительной и клеветнической грязи, — шалопай социал-демократической партии; он говорит во весь голос о том, что другие держат в мыслях и чему тайно следуют; и в этом отношении, каким бы утомительным ни было чтение его литературных разглагольствований, оно столь же интересно, как и поучительно, тем более, что главный партийный орган, «Фольксштат», публично признал их полуофициальный характер.

Предложение, сделанное *господином Боркхеймом* на Женевском конгрессе было не только пангерманским, оно было утопическим. Призывать все государства Европы к союзу против России, и надеяться, что они забудут все свои разногласия и взаимные претензии, все свои личные амбиции, чтобы объединиться против нее! Надо быть действительно безумным, или полностью игнорировать реальные отношения, существующие в мире, чтобы строить подобные иллюзии! Хотеть, чтобы государства продолжали существовать, и чтобы эти государства, тем не менее, образовали однородную нацию против варварства, нацию цивилизации! Но буржуазная цивилизация, которая управ-

ляет миром сегодня, может ли она быть сильнее католической религии в прошлые века, когда сами папы не чурались заключения договоров с врагами Христа, турками?

Я хотел бы посмотреть, какой принцип был бы в состоянии помешать сегодня Франции, будь то республиканской, императорской, или королевской, движимой той великой любовью, которую внушают ей немцы, броситься в объятия царской России, лишь только те соизволят распахнуться? И сам *господин Бисмарк*, этот не утопический, а реальный основатель пангерманской державы, несмотря на всю глубокую антипатию, которую он, как немецкий патриот и к тому же проницательный государственный деятель, не может не испытывать к царской России, этой угрожающей сопернице пангерманизма в более или менее близком будущем, не старается ли он любыми средствами укрепить тесный союз с ней? И что еще более примечательно, великая республиканская Конфедерация Америки входит в него третьим членом и всей своей мощью утверждает этот губительный для свободы союз. Вот факты, которые являются естественным, фатальным следствием нынешнего состояния и самого существования государств; факты, которые бросаются в глаза, и неизбежное развитие которых не могут остановить ни какие-то утопические бредни, ни иудо-тевтонские заклинания.

Немцы, чтобы суметь усидеть и расширить свою новую державу, нуждаются в завоевании и подчинении своему цивилизаторскому ярму славянских народов, рассеянных по Европе. Чувствуя себя бессильными сделать это в одиночку, они призывают к себе на помощь всю Европу. Но Европа им на помощь не придет. Угрожаемая в самом своем существовании этой новой пангерманской державой, она скорее протянет против нее руку России.

Чтобы заинтересовать Европу и чтобы лучше скрыть свою игру, демократические патриоты Германии воскрешают в памяти великую цель — пожертвованную Польшу. Безусловно, это отличный повод. Но, к несчастью, в их устах он является лишь поводом. Они слишком демократичны, и я даже скажу слишком буржуазны, чтобы уметь искренне сочувствовать Польше, которая, будучи в

прошлом дворянской, может воскреснуть в будущем лишь как крестьянская Польша. Они испытывают инстинктивное отвращение к крестьянству, как в Польше, так и везде. Их идеал — это рабочие городов, руководимые, организованные, и, проще говоря, управляемые буржуазными социал-демократами. Это, как я покажу позже, фатальное следствие всей их системы.

Таким образом, их мнимые симпатии к дворянской, католической, крестьянской Польше являются ничем иным, как патриотическим притворством. Впрочем, они слишком пылкие немецкие патриоты, чтобы всерьез желать восстановления Польши. Они желают государства, но не государство, каким бы социал-демократическим оно ни было, а лишь его упразднение может дать свободу завоеванным народам. Посмотрите на Соединенные штаты Америки. Конечно, это наиболее демократическая страна мира. Но они образуют государство, и поскольку они его образуют, движимые той фатальностью, что присуща самому принципу государства, они стремятся концентрироваться все больше, одновременно поглощая в себя всю Америку. Скупка, завоевание, мирное или жестокое поглощение — это сама природа и вся жизнь государства. Государство не прекращает эту внутреннюю и внешнюю работу до тех пор, пока не прекращается его подъем, или когда начинается его закат. Но великое германское единство еще только рождается, то есть не от него надо ожидать освобождения завоеванных народов.

Впрочем, поглощение Польши Германией датируется не только 1772 годом, эпохой того, что называется первым разделом этой несчастной страны, которая служила в течение веков барьером с Запада, героическим противником и защитницей славянских земель то от мирных, то от жестоких цивилизаторских вторжений немецкой расы, как тому служили, возможно, не с тем же героизмом, но с той же настойчивостью русские народы против варварства завоевателей-монголов. Уже в XII-ом веке Силезия, когда-то польская провинция, в большей части которой, в частности, австрийской Силезии и в той, что называют прусской Нижней Силезией, крестьяне продолжают гово-

рить по-польски, несмотря на все усилия немцев, она была оторвана от Польши, чтобы превратиться в германское герцогство. *В конце того же века, тевтонские рыцари и чуть позже ливонские рыцари-меченосцы были созданы папами с единственной целью германизировать и обратить в христианство путем завоевания, крестя огнем и мечом, несчастные славянские, польские, финские и литовские народы между Эльбой, Одером, Неманом, Двиной и Балтийским морем.* Они завоевали Померанию и Ливонию; но должны были остановиться перед непобедимым сопротивлением, оказанном им прежде всего закаленными крестьянами Литвы, и перед пробуждением национального самосознания в Польше. Померания и Пруссия, отвоеванные у них польским оружием, стали неотъемлемыми частями Польского королевства (1466 год). Маркграфы или маркизы, и, позднее, избиратели Бранденбурга, эти предшественники королевского, а сегодня имперского дома Пруссии, тем не менее никогда не прерывали медленный и мирный труд по *цивилизации* Польши. В течение веков они занимались доходной профессией ростовщика, захватывая понемногу польские земли в обмен на значительные суммы, ссужаемые под высокие проценты польским князьям и магнатам. В то же самое время, пользуясь щедрым и недальновидным гостеприимством Польши, главные города побережья Балтийского моря — Данциг, Кенигсберг и многие другие — заполнились еврейской и немецкой буржуазией, импортировавшей с собой немецкий язык и обычаи, организацию, администрацию и немецкую юриспруденцию, известную под именем *магдебургского права*, и превратившей понемногу эти польские города в немецкие, которые с тех пор следуют естественному влечению к их великой родине — цивилизаторской, победоносной и всепожирающей Германии. Все эти польские немцы и в меньшей степени евреи, с распростертыми объятьями приняли Реформацию, что, как естественное следствие, создало между ними и исключительно дворянской Польшей новый раскол. Несправедливо и глупо угнетаемая католическим иезуитским фанатизмом и наглой и грубой заносчивостью польских вельмож, начиная с XVII-го века немецкая буржуазия польских горо-

дов искала и нашла весьма заинтересованную защиту в зарождающейся силе Бранденбургского дома, который уже во второй половине XVI-го века унаследовал суверенитет Прусского герцогства, вначале вассального королям Польши; но которое с середины следующего века сбросило эту зависимость и в первый год XVIII века стало королевским прусским домом. Семьюдесятью одним годом позже, Фридрих II, самый великий представитель этого честолюбивого и проворного дома и подлинный основатель прусской державы, эмбриона нынешней германской державы, приступил, вместе со скромницей Екатериной II, немецкой принцессой Ангальт-Цербстского дома, ставшей императрицей России вследствие малоестественной смерти императора Петра III, и другой немкой Гольштейнского дома, набожной Марией-Терезией, императрицей Австрии, к исполнению того международного преступления, которое называется *первым разделом Польши.*

Из этого короткого исторического наброска, скрупулезную точность которого, я надеюсь, не посмеет опровергнуть ни один немецкий патриот, с очевидностью следует, что задача последовательного поглощения Польши составляла, собственно говоря, основу и главную цель всей экспансии германской жизни на Севере, начиная с самой давней исторической эпохи, и что, следовательно, преступление, первым инициатором которого, что бы об этом ни говорили немцы, был Фридрих II, было ничем иным, как достойным венцом, окончательным и абсолютно неизбежным исполнением цивилизаторских тенденций германской расы. Несомненно, Екатерина Вторая восприняла это предложение с циничной радостью, а Мария-Терезия Австрийская с набожным лицемерием, подписывая, как говорят, со слезами на глазах закреплявший его договор. Как бы то ни было, главным заинтересованным в его исполнении был Фридрих II, политическая мощь Пруссии, и, как следствие, будущая мощь Германии.

Для Фридриха II, для силы прусской монархии это был вопрос жизни и смерти. Я надеюсь, нет надобности доказывать, что первая реализация этой мощи, которая вначале заключалась только в сокровищах, собранных скупостью

отца этого великого короля, и в талантах его самого, начинается лишь с завоевания Силезии и раздела Польши. Еще я надеюсь, что не нужно много слов, чтобы показать, что, если действительно исполнение цивилизаторских судеб германской расы требовало ее конституирования в виде великого государства, вся Германия была прямо заинтересована в успехе честолюбивых предприятий Фридриха II; так как великое германское государство никогда не могло бы быть основанным, если бы оно не нашло в лице Пруссии своего сильного и ловкого инициатора.

Надо быть большим утопистом или ребенком, чтобы вообразить противоположное. Помимо железной руки берлинских деспотов для создания политического единства Германии имелся один единственный инструмент: мнимо революционные сила и разум буржуазии Германии. Но 1848 год позволил нам оценить в полной мере эти силу и разум. Среди всеобщего беспорядка, анархии, которая царила тогда в Германии и во всей Европе, эта великолепная буржуазия, столь патриотическая, столь рассудительная, столь знающая и столь мало либеральная, в действительности, могла сделать все, но достигла лишь одного: выставила себя на полное посмешище. Пролетариат Германии, думают социал-демократы, сможет создать это политическое единство на благо народных масс Германии. Я рассмотрю позже эту новую утопию. Пока же я утверждаю, что только могучие деспоты, императоры, короли или, по крайней мере, дворянская и финансовая олигархия могут основать великие унитарные государства, но что трудовой народ, когда он на самом деле, всерьез хочет освободиться, может делать лишь одно: уничтожать государства.

Помимо того, что мы только что видели в Германии, Италия предоставляет нам иное доказательство этой истины. Мадзини мечтал об итальянском единстве, и своей непрерывной агитацией сильно способствовал его подготовке. Но кто его осуществил? Только пьемонтская монархия. Если бы не его ловкие и мощные действия, великое итальянское государством со столицей в Риме осталась бы мечтой Мадзини.

Чтобы вернуться к немцам, замечу, что буржуазия этой великой страны, которую когда-то называли страной мечтателей, проявила в 1848 году большую политическую рассудительность, проголосовав на Франкфуртской ассамблее за два ключевых положения, которыми она провозгласила, пожертвовав всей своей исторической ненавистью к Пруссии и своими же идеалистическими, либеральными и псевдореволюционными поползновениями, вначале включение великого герцогства познанского в германскую империю, а затем приведение этой империи под ненавистное, но необходимое ярмо прусского дома. Тем самым она объявила себя полностью солидарной со всеми разделами Польши и подготовила пути к триумфальному пришествию нынешней германской империи. Это правда, что она одновременно голосовала за то, что она назвала *фундаментальными правами* немецкого народа, «*die Grundrechte*». Но эти народные права были немедленно отброшены, как ненужный багаж, как роскошь, несовместимая с логическим и строгим нравом монархии прусского образца; так что от всех так называемых революционных волнений немецких буржуа в 1848 году как положительный результат осталось в итоге только закрепощение Германии Пруссией.

Буржуазные демократы и социал-демократы Германии утверждают, что Франкфуртский парламент вовсе не представлял демократическую, народную Германию, а лишь умеренную буржуазию, и потому его антипольские и пропрусские решения не должны относиться на счет немецкого народа.

Безусловно не на его счет, но на счет его руководителей, поскольку они все еще мечтают о сохранении великого германского государства и его немыслимой трансформации в подлинно народное государство. Если они хотят государства, то должны принимать все условия государства; и первое из этих условий — это расширение во все стороны до моря, чтобы обеспечить выходы и пути, необходимые для его международной торговли, вследствие чего любое государство, у которого есть к тому силы, вынуждено завоевывать страны, которые отделяют его от моря. Это то, к чему явно стремится сегодня германская империя.

Давайте предположим, что вследствие либо мирной эволюции, либо жестокой революции, социал-демократы захватят государственную власть. Захотят ли они всерьез, смогут ли они захотеть воссоздания Польши? На этот вопрос, не колеблясь, я отвечаю: нет.

Не знаю, справедливо ли, но одному известному гражданину и одному из самых почитаемых руководителей партии буржуазной демократии и, одновременно, социал-демократической партии Германии, доктору Якоби из Кенигсберга, приписывают весьма характерные слова, которые, произносил он их или нет, очень хорошо, на мой взгляд, резюмируют все политическое положение Германии: «Раздел Польши, — будто бы сказал он, — был великим несчастьем и, одновременно, великим преступлением, но раз уж оно свершилось и освящено целым столетием, невозможно отвергнуть сегодня его политические последствия».

И действительно, уже век Пруссия владеет польскими провинциями, которые ей достались при разделе, и она приложила огромные усилия для их германизации, чаще всего увенчавшиеся успехом. Она использовала польские деньги, чтобы поощрить и облегчить учреждение там многочисленных немецких колоний. Сегодня, правда, согласно немецкой статистике, и учитывая, по здравом рассуждении, в числе немцев всех евреев, в великом герцогстве познанском на 838 тысяч поляков насчитывается 697 тысяч немцев; в то время как в обеих Пруссиях на 2 178 000 немцев, осталось не более 761 тысячи поляков. Таким образом, в этих трех провинциях, вырванных у Польши прусской монархией, на 2 875 000 немцев остается не более 1 599 000 поляков. Добавив к последним 137 тысяч прусских литовцев (в округах Гумбинен и Кенигсберг), получим пропорцию 2 875 000 немцев к 1 736 000 поляков. («Готский альманах на 1872 год»).

Если это так, оставляя в стороне все другие стратегические и коммерческие соображения, которые, однако, играют столь важную роль в существовании государств, захотят ли, смогут ли немецкие социал-демократы пожертвовать этими двумя миллионами восьмьюстами семьюдесятью пятью тысячами соотечественников, евреев и немцев, ради

новой Польши, восстановленной их собственными руками в ее исторических границах? Без сомнения, нет. И что же тогда? Тогда, возможно, появится способ договориться, оставив из этих старинных польских провинций Германии все то, что было германизировано, а Польше все то, что, несмотря на завоевательные и цивилизаторские усилия немцев, сохранило польский характер. На первый взгляд, что может быть более справедливым и естественным! Да, идея была бы действительно превосходна, если ее исполнение было бы возможным; но оно невозможно.

Географы опубликовали карты этих некогда польских провинций, где они отметили разными цветами германизированные края, и те, что остались польскими. Нельзя представить себе ничего более причудливого: похоже на шахматную доску. Дело в том, что население чрезвычайно перемешано: рядом с немецкой деревней, вы найдете польскую деревню. Несомненно, немецкий цвет преобладает возле границы Германии, а польский цвет настолько же преобладает по мере приближения к так называемой русской Польше. Но нет отчетливой демаркационной линии, поскольку правительство Пруссии особенно старалось внедрить немецкую колонизацию в самые польские части страны. Что же делать тогда? Как установить этнографическую, естественную границу между польским и немецким государством?

Этот вопрос, точно такой же для Моравии и Богемии, где на 2 530 000 немцев приходится 4 680 000 чехов (все согласно Готскому альманаху), становится просто неразрешимым для политических деятелей каждый раз, когда они пытаются решить его по справедливости, а не по господствующим принципам, основанным исключительно на сочетании интересов и мощи государства. Мысль, которая господствует в государстве, никогда не может быть нейтральной; это всегда мысль, весьма конкретно определяемая идеями, интересами, страстями, и, когда речь идет о враждебном столкновении двух различных рас, национальностью правящих класса и расы. Государства, несомненно, любят набрасывать на себя вид беспристрастности и абстрактной справедливости, казаться поднявши-

мися над любыми частными интересами, как наций, так и классов, чтобы представляться чем-то вроде Провидения, равно озабоченного счастьем всех своих подданных, независимо от их социального положения, веры и расы. В этом состоит одна из тех лицемерных и банальных демонстраций их официального облика, которая способна провести лишь нескольких простофиль. История достаточно часто показывает нам, что всюду, где существует правительство, имеется, должна иметься торжествующая, господствующая партия. Жизненная сила и мощь государства достигаются только такой ценой.

Мне укажут на Швейцарскую конфедерацию, где три различных национальности, подвластных одному федеральному правительству, живут в мире, и ни одна из них не господствует. Но не надо упускать из виду, что в Швейцарии это стало возможным лишь потому что, по крайней мере, до сего времени взаимная независимость этих различных национальностей сохранялась за счет реальной самостоятельности кантонов. Централизуйте немного Швейцарию, как, похоже, хотят это сделать сегодня, и мы увидим, не дойдет ли самая многочисленная национальность до навязывания своих идей, пристрастий, интересов и правительства двум остальным.

Таким образом, несомненно, что в государстве при славянском, польском или чешском правительстве именно немцы будут подчинены господству, принесены в жертву и насильно национализированы. В государстве под немецким правительством жертвами будут славяне, как они всегда ими были до сих пор. Когда вопрос стоит так, каждая раса говорит себе: раз уж абсолютно необходимо, чтобы были принесенные в жертву, то пусть этой жертвой будет другая раса; и все сводится в конце концов к вопросу силы: какая раса победит? Какая будет угнетать другую? Высший вопрос государства.

Как видите идея государства, существование государств несовместимо с гуманным правосудием, с интернациональной справедливостью. Надо ли из этого заключить, что международная справедливость — это невыполнимая утопия, и что беззаконие — роковой, единственно реаль-

ный закон человечества? Это было бы верой в боженьку и безнадежность мира сего.

Однако чтобы осуществить гуманную, международную справедливость есть средство, но только одно. Поскольку эта *справедливость*, очевидно, несовместима с существованием государств, ясно, что чтобы она стала возможной, надо уничтожить государства. Постоянство беззакония *при наличии* государств и растущей силе того, что называется мощью государства, с одной стороны; и, с другой, пришествие человеческой справедливости, равенства, свободы, благосостояния всех и братства людей на развалинах государств. Вот две крайности, между которыми нет никакой середины и невозможно никакое примирение; и пусть каждый теперь выбирает между ними соответственно своим интересам и склонностям. Привилегированные классы выберут, естественно, первое, и по той же причине все угнетенные, эксплуатируемые, страдающие, одним словом, пролетариат должен хотеть второго.

Если вы любите справедливость, разрушьте в зародыше и до последних последствий теологический, метафизический, политический, юридический и всегда жестокий принцип власти. Уничтожьте все правительства. Откажитесь раз и навсегда от одновременно провидческой и гнусной роли благотворителей, опекунов, организаторов и директоров общества. Оставьте различным коллективам, товариществам, коммунам их полную самостоятельность. Пусть они свободно объединяются согласно своим естественным пристрастиям, своим потребностям, своим интересам, своим нуждам; и вы увидите, что все эти вопросы рас, языков, традиций, обычаев падут сами собой. Оставляя любую мысль о господстве — эта мысль должна обязательно исчезнуть вместе с возможностью ее осуществления, то есть с государством, — освобожденные отныне от любого страха видеть себя под господством других; движимые необходимостью договариваться друг с другом, чтобы организовать свое *экономическое существование*, свой труд, обмен своих продуктов, свои пути сообщения, народное просвещение, и, при необходимости, свою оборону; и *неодолимо позволяя увлекать и направлять себя*

этому всемогущему закону человеческой солидарности, который является вовсе не политическим, но естественным, неизбежным законом, до сего дня источником и причиной всего исторического развития человеческого общества, все политические законы которого были лишь его систематическим отрицанием; предоставленные, наконец, своему полному самовыражению и своим свободным инстинктам, *развитым историей и определенным их нынешним экономическим положением*, товарищества и коммуны, после более или менее длинной и тягостной переходной эпохи колебаний и борьбы дойдут до стабилизации, не по произвольным и абстрактным законам, навязанными им сверху какой-то властью, но в соответствии с реальным существом, потребностями и животворными силами каждой, и единодушно вдохновленные этим сознанием справедливости, равенства и свободы, которая начинает составлять сегодня доминирующую страсть и, образно говоря, религию масс, они возьмутся за руки, чтобы организовать вместе федерацию, фундамент которой опирается на всеобщий труд и уважение человека. И в этом новом обществе обычай человеческой справедливости будет таким же естественным, каким является беззаконие сегодня.

Тогда эти страны, где национальности перемешаны, которые сегодня приводят в отчаяние всех более-менее щепетильных государственных деятелей, напротив, станут ценными посредниками, живыми звеньями, которые свяжут собой нации и постепенно подготовят все более полную унификацию человеческого рода, окончательную реализацию человечества. Но пока государства существуют, не будем строить безумных иллюзий, не будем говорить о справедливости: давайте говорить о силе, господстве, угнетении, и оставаться всегда с ножом в руке, чтобы защитить наше существование и наши права.

Ясно, что, когда социал-демократы Германии говорят о восстановлении Польши, они вовсе не собираются возвращать провинции, захваченные Пруссией. Самое большее, они согласятся ей вернуть — это меньшая, еще не германизированная часть великого герцогства познанского. То, что они хотят ей возвратить, это все польские, литовские

и прусские провинции, которые были захвачены русскими, добавив к этому, возможно, австрийскую Галицию. То есть, главным образом, из провинций, подвластных царю, и против России они намереваются скроить новое польское государство. В этом смысле они соперничают со многими русскими *либеральными* патриотами, которые также мечтают о воссоздании новой Польши, направленной против Германии, которая начиналась бы только от Вислы и расширялась бы в немецкую сторону настолько, насколько сможет.

Как видите, когда в своих приступах либерализма политические деятели России и Германии *говорят вам о восстановлении Польши, речь у них идет вовсе не о том, чтобы осуществить акт международной справедливости, но чтобы создать новый инструмент войны, которым одни могли бы выгодно воспользоваться против других*. Немцам пригодилась бы Польша против России; а русские вовсе не разозлились бы, если бы они могли воссоздать ее против Германии.

На советах Российской империи неоднократно вставал вопрос о восстановлении варшавской Польши. У этой идеи до сих пор есть весьма горячие сторонники среди самых высших чиновников. Пример Австрии, которая, будучи вынуждена своей отныне неизлечимой болезнью изыскивать героические средства спасения, уже в течение нескольких лет превратила Галицию в очаг польской политической пропаганды, направленной, главным образом, против России, а также частично против Пруссии, сделал гораздо более весомой эту идею, никогда полностью не оставленную Петербургом.

Ее бы, несомненно, осуществили уже давно, если бы ее реализация, наряду с весьма реальными преимуществами, которые она обещает, не представляла бы одновременно весьма серьезной опасности. Австрийская империя ради спасения остатка своего немощного тела может, в крайнем случае, пожертвовать его членом; она может отказаться от Галиции, поскольку, не имея никакой другой подвластной ей польской провинции — австрийская Силезия не имеет пока никакого политического сознания, — она почти уве-

рена, что никакая другая провинция не будет подвержена политической заразе, исходящей от Галиции. Это правда, что Галиция славянской расы, и мы видели, что самое многочисленное население Австрии — славянское. Но венское правительство отлично знает, что меж патриотов Польши и патриотов других славянских стран нет никакой симпатии, что их стремления, напротив, скорее противоположны, поскольку польские патриоты враждебны России, тогда как настроения всех других славянских народов ей, напротив, благоприятны; откуда следует, что Австрия может пожертвовать Галицией, не рискуя немедленным или близким распадом.

Россия находится в совершенно ином положении, так как помимо варшавской Польши, у нее есть Литва, Белоруссия, Подольский край, Волынский край, Белосток и вся польская Украина, в которых по крайней мере духовенство и весьма многочисленное дворянское население, равно как мелкая буржуазия и городские ремесленники, подвержены страстному, непреодолимому влечению к их старинной польской родине. С другой стороны, на собственном опыте 1815-1830 годов Россия убедилась, что сколь бы ограниченной ни была варшавская Польша, она сразу же станет очагом активной и пылкой пропаганды во всех этих провинциях, и достаточно будет предоставить свободу одному польскому городу, одному микроскопическому кусочку Польши, чтобы польские волнения, только что раздавленные и потопленные в польской крови, тотчас же возродились и распространились до Днепра. Такова причина, по которой русское правительство, оценив все вероятности, и несмотря на все преимущества, которые создание даже маленькой Польши могло бы ей дать против Германии, никогда не подумает этого сделать, если только оно не будет к тому принуждено одним из тех возможных обстоятельств, что являются предвестниками смерти. Но не только одна Россия в такой ситуации: Пруссия и, как следствие, Германия находятся в абсолютно аналогичном положении, и, возможно, даже еще более критическом из-за польского вопроса. Предположим, что вследствие радикального преобразования берлинского правительства, немецкие патриоты

скажут польским патриотам: «От этой линии, которую мы провели в великом герцогстве познанском, мы хотим возрождения Польши. Теперь ваша задача отвоевать у России все ваши старинные польские провинции, вплоть до границ 1772 года, и даже сверх того. Оставьте нам то, что мы твердо решили никогда вам не отдавать и двигайтесь вперед, на царя, на русских, мы вам поможем нашими деньгами и, при необходимости, нашим оружием».

Вполне вероятно, что, воспользовавшись этим счастливым и долгожданным случаем, польские патриоты великого герцогства познанского вначале не будут протестовать против столь странной справедливости немцев. Они будут действовать против России данным им немцами оружием; и предположим даже, что, победив по всем пунктам, они действительно выкроят из Российской империи большую Польшу до Черного моря, согласно программе Лелевеля и генерала Миерославского (я извиняюсь перед польскими читателями за то, что ставлю имя этого столь известного генерала рядом с именем столь же почитаемого великого польского историка и патриота); но не до Балтийского моря, на которое у немцев свои патриотические проекты, естественно, противоречащие польской экспансии.

И вот Польша, восстановленная в качестве государства, снова становится серьезной силой. Эта сила, будет ли она дружественной, союзной Германии? Если *господин Боркхейм* способен питаться подобной иллюзией, надо надеяться, что великие умы, движущие и вдохновляющие его, так не поступят. Пока Российская империя остается сильной, еще возможно, что интересы восстановленной Польши вынудят ее искать союз с Германией. Но восстановленная Польша означает разрушение Российской империи, не с помощью польского оружия, но путем русской революции. И потому все мы, русские социалисты-революционеры, будучи не патриотами государства, но патриотами или точнее сторонниками освобождения русских и нерусских народов, раздавленных сегодня игом империи, будучи глубоко убеждены, с другой стороны, что для их освобождения надо разрушить империю, мы с радостью будем приветствовать восстановление Польши в любых ее границах,

будь то даже польское иезуитское и аристократическое государство. Дайте нам только русскую революцию, и нас не испугает ни это иезуитство, ни этот аристократизм, ни это государство. Русская революция, в основном социалистическая и *анархическая*, и как таковая абсолютно несовместимая с существованием государства, как внутри, так и вовне России, сумеет перешагнуть через материальные и моральные, политические и социальные границы, которые новое польское государство, несомненно, постарается ему противопоставить, и, поднимая и увлекая за собой польские массы, сможет проторить себе дорогу до Германии, чтобы освободить славянские народы, заключенные в пангерманскую тюрьму.

Но давайте остановимся на этом и предположим, что просто Польша восстановлена как великое государство на развалинах сильно ослабленной русской державы, и что немцы могут надеяться, что это государство вскоре не обернется против них, чтобы потребовать все свои древние провинции и все побережье Балтийского моря — основное условие своего существования. А если не Россия, а Польша поднимет панславистский флаг и призовет все славянские народы России, Пруссии, Австрии и Венгрии к смертельной борьбе против немецкого господства? Тогда это будет польский панславизм вместо русского; но как в одном, так и другом случае, это будет все та же разрушительная ненависть славянской расы к немецкой расе; возможно, еще более разрушительная с польской стороны, чем с русской, поскольку у поляков намного больше оснований к мщению ей, чем у русских.

Из всего этого я заключаю, во-первых, что, когда социал-демократы Германии, сторонники великого германского государства, говорят о восстановлении Польши, не надо принимать их слова всерьез. Они говорят об этом только для того, чтобы скрыть свои собственные патриотические устремления и чтобы вовлечь всю Европу в свою борьбу против славянского мира вообще и против России в частности. Во-вторых, даже этот прекрасный повод им ничего не даст, поскольку Европа уже достаточно показала свое полное безразличие к судьбе несчастной Польши, для

которой немецкое государство, по крайней мере, такой же враг, как и всероссийская империя. Наконец, что нынешний триумф пангерманизма вместо того, чтобы предотвращать реальные опасности, которыми панславизм угрожает Европе, имеет естественным и фатальным следствием их усиление.

Но давайте не будем пугать благонамеренных патриотов Германии. Предположим, напротив, чтобы их успокоить, что больше нет России, и что великое польское государство крепко обосновалось на обломках прошлого. Смогут ли они тогда быть спокойными? Я так не думаю, и надо быть, действительно, очень наивным, чтобы совершенно не предвидеть, что едва Польша почувствует себя сильной и независимой, как повинуясь закону, присущему всем великим национальным государствам, фанатично привязанным к своим историческим традициям, она потребует у Германии все побережье Балтики, все свои бывшие провинции, включая Курляндию и Ливонию. Германия, несомненно, откажется и будет бороться. Но тогда именно Польша поднимет панславистский флаг, и, увлекая, по крайней мере, 80 миллионов славян, начнет против Германии разрушительную расовую войну. Вместо русского панславизма будет польский панславизм; но война и ее последствия не станут оттого менее ужасными, так как у поляков накопилось гораздо больше бед и причин для мести, чем у русских, чья ненависть к немцам, по сравнению с той, что царит у всех других славянских народов, наименьшая.

Таков на самом деле польский вопрос, очищенный от всей той лицемерной сентиментальности, в которую его выряжают не без умысла и не без причины немецкие патриоты, таков он по отношению к Германии, рассмотренной как государство. Говоря о восстановлении свободной и независимой Польши, социал-демократы Германии, будучи прежде всего политическими деятелями, и в этом качестве весьма страстными сторонниками государственного принципа, не желают слышать ни о чем ином, кроме восстановления польского государства в каких бы то ни было границах. Но если только это новое польское Государство не будет заранее обречено ими на то, чтобы навсег-

да остаться лишь нелепой и плохо скрытой декорацией, тенью их собственного величия или чем-то вроде филиала германского господства под польским именем, — слишком скромная и слишком подлая роль, чтобы какой-либо польский патриот мог когда-либо с нею согласиться, — по крайней мере, те среди социал-демократов Германии, кто не разучился искусству думать и не потерял способность понимать внутреннюю логику вещей и их реальное соотношение, должны сказать себе, что восстановление свободного и независимого польского государства, сочетающего все условия, чтобы быть сильным и благополучным, создаст весьма грозного и опасного врага для великого германского государства, не об упразднении, но о трансформации которого они мечтают. Отсюда я заключаю, что они не могут всерьез и искренне желать не только восстановления польского государства, но и даже освобождения какой бы то ни было части Польши. Все, что они могут желать и чего действительно хотят — это завершения извечной исторической задачи немецкой расы, которая под предлогом цивилизации славянской расы стремится волей-неволей германизировать ее.

Сегодня, когда вовлеченная в неодолимый поток, проистекающий из всего ее прошлого исторического развития, народная Европа стремится не к основанию новых государств, а к разрушению всех государств, ни Польша, ни какая-либо другая славянская страна никогда не смогут образоваться или воссоздаться как государства. Существование малых свободных и независимых государств, да что я говорю, даже средних государств становится все более и более невозможным. Кто настолько слеп, чтобы совершенно не видеть, что все государства, бесповоротно потеряв сегодня основы внутренней национальной жизни и все те традиционные исторические опоры, которые позволяли им органично развиваться в прошлом, необратимо стремятся к тому, чтобы стать ничем иным, как политическим образованием из необъятных финансовых эксплуатаций, гарантированных и защищенных громадным наращиванием вооруженных сил. Такова реальность и, как я уже говорил, все остальное лишь декорация и иллюзия. Но так же как

финансовая эксплуатация, будучи неспособной, несмотря на все свои усилия, довести свою концентрацию в Европе до того, чтобы создать только одну компанию, стремится к тому, чтобы образовать, *по крайней мере, очень малое* число более или менее независимых друг от друга групп, предназначая ненасытной эксплуатации каждой из них огромные регионы; так же современное государство, представляющее ее извне как силу, оставив исторически обреченную идею всемирной монархии, стремится тем не менее, путем последовательного разрушения малых и средних автономных государств, к образованию весьма малого числа крупных военных диктатур, каждая из которых будет представлять, то есть эксплуатировать, в пользу так называемой национальной финансовой компании одну из четырех или пяти основных рас Европы. Таким образом, у нас получились бы латинское, германское, англо-саксонское, скандинавское государства и, конечно, панславянское государство, если только немцы с их хорошим аппетитом его не съедят, а также, возможно, греческое государство, так у греков, кажется, гораздо более развитый политический темперамент, чем у славян.

Это образование крупных военных диктатур, очевидно, последнее слово, последняя логическая фаза исторического принципа государства; и можно быть уверенным, что пока остаются государства, военная диктатура, царство научно организованной и грубой силы, замаскированной или нет конституционными институтами, освященной или нет всеобщим избирательным правом и так называемым суверенитетом народа, постоянно будет присутствовать в Европе. После памятных подвигов, совершенных тевтонским патриотизмом во Франции, после еще более памятных подвигов, совершенных французским патриотизмом версальских войск в Париже, лицемерная пелена, которая, правда, плохо прикрывала, но все же еще несколько скрывала мерзости загнивающей цивилизации, разорвана. Эта цивилизация как плодотворный источник человеческого прогресса высохла, умерла, и из всего живого, что она произвела в прошлом, выстояли только эти две ужасные реальности: финансовая монополия и военное насилие. Мы,

таким образом, полностью погружаемся в зиму беспощадной, безжалостной реакции. А зимой розы не цветут. Когда великие государства вооружаются, чтобы определять и завоевывать то, что они называют своими естественными, стратегическими и коммерческими границами, это не та эпоха, в которую малые или средние государства могут сохраниться и еще менее образоваться. Право стало насмешкой, одна только сила безраздельно царит в мире.

Отныне право или, проще говоря, человеческая справедливость, изгнанная из буржуазной цивилизации, укрылась в народных массах. Но чтобы она смогла восторжествовать над механически организованной силой государств, ей недостаточно быть справедливостью; нужно, чтобы она сорганизовалась в свою очередь как народная сила, не для того, чтобы создавать новые государства, то есть новое угнетение и эксплуатацию, но чтобы уничтожить государства. Такой должна быть единственная цель политики пролетариата, политики Интернационала, этого мощного и уникального органа дела пролетариата. Такова единственно возможная программа весны, к которой мы все призываем в своих чаяниях, этого возрождения человеческой жизни на земле, за которую мы все готовы отдать нашу жизнь.

Таким образом, дилемма поставлена, не нами, но развитием прошлых и настоящих исторических событий: с одной стороны, великие военные государства, неизбежно поглощающие все малые и средние государства; с другой, постепенное, возрастающее движение народного освобождения, неизбежно стремящееся к упразднению всех государств. Применяя логические следствия этой дилеммы к польскому и славянскому вопросу, неизбежно приходим к пониманию, что у славянских народов вообще, и у поляков в частности остаются только следующие три выхода: либо дать себя полностью пангерманизировать; либо искать нового рабства в не слишком отеческих и несколько удушливых объятиях Его Величества петербургского медведя; либо, наконец, завоевать свое реальное, человеческое и всеобъемлющее освобождение социальной революцией, не создающей, но разрушающей государства.

Я убежден, что несмотря на всю так называемую патриотическую политическую пропаганду различных национальных партий, одни из которых, совершенно добросовестно заблуждаясь сами, в то же время вводят в заблуждение массы; другие, подстегиваемые честолюбивыми и алчными намерениями, пытаются увлечь славянские народы на гибельные или бесплодные пути; так вот, я убежден, что все эти народы, включая польский, повинуясь побуждению и неизбежности, которые сильнее влияния всех партий, дойдут до того, что рано или поздно сами выберут единственный путь спасения, путь социальной революции. *Для них, как для всех других эксплуатируемых* и угнетаемых народов Европы, нет никакого иного выхода. Таким образом, это только вопрос времени, но этот вопрос чрезвычайно важен.

Он может казаться безразличным для безобидных или верующих идеалистов: первые черпают свое философское терпение в маленьких повседневных радостях комфортного общественного положения; вторые — вид людей, исчезающий сегодня на глазах, — черпают его в своей вере, дающей узреть посмертное вознаграждение на небесах; как те, так и другие могут спокойно рассматривать все явления с точки зрения вечности. Будь то прямо сегодня или через многие века, раз справедливость восторжествует, а вечная логика будет, наконец, удовлетворена, не одно ли это и то же? Для них да, для нас нет.

Для нас, принимающих в расчет только реальность и настоящую жизнь, то, что потеряно, потеряно безвозвратно; мы не верим в воздаяния, и, в любом случае, не строим иллюзий. Человечество, ради которого мы стараемся, не является абстрактной величиной, это не какая-то вечная идея человечества, а реальное объединение всех человеческих существ. Нам, несомненно, любопытно знать жизнь прошлых поколений; мы также весьма заинтересованы жизнью грядущих поколений; но мы гораздо более преданы судьбе нынешних поколений, проходящих и именно по этой причине единственно *живых и реальных*. Именно их мы хотели бы видеть счастливыми и свободными, так как

мы прекрасно знаем, что, если они умрут в нищете и рабстве, то справедливость, восторжествовав после их смерти, придет к ним слишком поздно. Пятьдесят лет — это жизнь двух поколений. Таким образом, опоздание на пятьдесят лет — это только для Европы, по крайней мере, 500 миллионов жертв. А для славянской расы, включая финнов и литовцев Российской империи, это, по крайней мере, 170 миллионов пожертвованных людских судеб.

Следовательно, для нас ценен каждый год, и мы считаем, что долг каждого честного человека приложить все свои усилия к коллективному труду, который должен приблизить час социальной революции. Поэтому не надо ожидать, что славянские народы, пройдя через новые и более жестокие испытания, наконец, сами найдут этот единственный путь освобождения. Надо помочь им его найти, и никто не мог бы это лучше сделать, чем пролетариат Германии, который, будучи гораздо более просвещен и прогрессивен во всех отношениях, нежели славянский пролетариат, кажется призван самим своим географическим положением и всей своей историей указать своим братьям из славянских стран путь к освобождению, точно так же, как немецкая буржуазия в свое время показала ему путь к рабству.

Но чтобы социалистическая пропаганда из Германии могла проникнуть в сердце славянских народов, есть *предварительное условие,* полностью противоположное тому, что стоит на первом месте в программе социал-демократии. Эта программа ставит в качестве непосредственной цели завершение создания, то есть передачу народу великого пангерманского государства; а условие, о котором я говорю, — это полный отказ от государства. Пока у пропаганды немецких рабочих отправной точкой будет их государство, они могут быть уверены, что встретят во всех славянах, без какого-либо исключения, врагов, а не братьев. Я объяснил их мотивы, и они абсолютно рационально, совершенно законно дают право на ненависть славян к немцам. Эта ненависть неизбежно толкнет все славянские народы в объятия царя; и, таким образом, рождение и развитие великого пангерманского государства,

империи или даже так называемой народной республики, будет иметь неизбежным следствием немедленное создание панславистской империи.

Отсюда я заключаю, что пангерманское государство, желаемое социал-демократами Германии, вместо того, чтобы служить барьером для Европы против панславизма, напротив, спровоцирует его и даст ему одновременно причину и средства к существованию.

Господин Боркхейм и его анонимные вдохновители несомненно успокаивают себя мыслью, что все славяне вместе взятые, включая силы Российской империи, не смогут противостоять всемогущей Германии. Они говорят уже (см.: *Блестящее выступление* господина Боркхейма) о массе превосходных земель, расположенных в степях России, которые просто созданы для немецких колоний. Вот те иллюзии, которые, несомненно, делают много чести их патриотизму, но не практическому смыслу и суждениям. Победить гнев и непримиримую ненависть 100 или 80 миллионов людей не так легко, как они думают.

Когда государства будут повсеместно уничтожены, когда все политические и юридические институты в Германии будут заменены экономической организацией и свободной стихийной федерацией коммун и автономных рабочих товариществ, одним словом, когда великое пангерманское государство будет не реформировано в так называемом народном смысле, а полностью ликвидировано, тогда, но только тогда, Россия сможет предоставить свободный доступ немецкой колонизации и даже найдет большую пользу в образовании внутри себя автономных немецких коммун. Русские *народности*, весьма бедные и невежественные, но наделенные большой природной смекалкой, тогда, несомненно, поспешат брать уроки экономии, организации и свободы у своих немецких братьев, не более умных, но более просвещенных. Но пока в Европе будут государства, в особенности, пока будет существовать пангерманское государство в какой бы то ни было форме, любая попытка немецкой колонизации в России будет рассматриваться и ощущаться всеми русскими и даже нерусскими народами империи скорее всего как оскорбление, за исключением

гг. баронов и буржуа трех балтийских провинций*. Это будет сигнал к войне расы против расы, в которой непременно примут участие литовцы, прусские поляки и все славянские народы Австрии и Турции. И пусть хорошо знают, эти варварские народы не будут повторять пример привилегированных и цивилизованных классов, равно как французских крестьян, которые ради спасения своей собственности, своих капиталов, своих промышленных предприятий, своих домов трусливо подчинились немецкому завоеванию; как и в 1812 году, наши народы, возбужденные громадной и безжалостной ненавистью, сами разрушат и подожгут все: свои дома, жатвы, города и деревни, образуя вокруг захватчиков пустыню, которая послужит им могилой, и жертвуя всем ради высшей страсти — уничтожения немцев. Это будет ужасная, смертельная борьба, которая, несмотря на несомненное превосходство немецкой науки и вооружения, могла бы дойти до того, чтобы поставить под угрозу само существование великого пангерманского государства.

Поэтому *господин Бисмарк*, чей разум несколько серьезнее и, главным образом, практичнее, чем у социал-демократов Германии, и кто умеет различать, желать и приводить в действие средства, ведущие к его цели, он-то остерегается каких-либо ссор с Россией. Напротив, в политической истории никогда еще не было более теплой и нежной дружбы, чем та, что связывает сегодня дворы Берлина и Петербурга. Скованные вместе как каторжники, и предвидя свой неизбежный разрыв в более или менее отдаленном будущем, они вынуждены, тем не менее, улыбаться и обниматься. Они поддерживают друг друга в общем деле, истребляя или полностью подавляя своих польских подданных. Начиная с 1863 года Бисмарк был крупным поставщиком для московских виселиц в Польше. **А теперь он подчеркнуто защищает русскую политику на Востоке, будучи счастлив, впрочем, тем, что, таким образом, может без больших затрат отвлечь ее внима-**

* Ливонии, Эстонии и Курляндии — в этих трех провинциях, имеется всего лишь 137 тысяч немцев и 30 тысяч евреев, которые составляют вместе 167 тысяч германского населения, на 1 621 000 латышей, финнов и славян, которые единодушно ненавидят немцев.

ние от Запада. Немецкие патриоты, социал-демократы и буржуазные демократы, ставят ему это в вину. Но Бисмарк проницательнее и последовательнее их. Желая как они, хотя и на других условиях и в иных формах, причем, стоит добавить, гораздо более соответствующих их общей цели, — желая объединения и политической мощи Германии, Бисмарк прежде всего понял, что этого невозможно осуществить, не обеспечив соучастия России.

И действительно, как всем известно, только Россия помешала Австрии вмешаться в последнюю войну. *Только заявление петербургского кабинета, что он пойдет против Австрии, если только та шевельнется, помешало ей взять оглушительный реванш за Садову и перенести за спиной пруссаков гражданскую войну в Германию, лишенную солдат*. Никогда огромная немецкая армия, которую ловкая политика князя Бисмарка сумела сосредоточить в не менее ловких руках *господина Мольтке*, не восторжествовала бы над Францией, если бы та же политика не обеспечила вначале союз с Россией, и если бы ей не удалось свести к нулю все враждебные поползновения Австрии этой русской угрозой. Таким образом Франция обязана своим поражением, а Германия своим триумфом без сомнения *господину Бисмарку* и столь мало либеральной, демократической и еще менее социалистической силе прежде всего Пруссии, но затем и почти настолько же чуть ли не прямому вмешательству России.

Вслед за Пруссией и вместе с ней, с одной стороны, Россия, и, с другой, Соединенные штаты Америки являются настоящими основателями нового германского величия; Россия — непосредственно сдерживая Австрию и косвенно Италию, равно как другие малые государства Европы; США — угрожая Англии. Германия, Россия, Америка — вот тройственный союз, который, пережив все предыдущие союзы, влияет сегодня на судьбы Европы.

Такова реальность. Все остальное, за исключением социальной революции, которой принадлежит будущее, — это фикция.

Я приношу вам глубокие извинения, дорогие товарищи и друзья, за то, что, возможно, слишком долго говорю с

вами о вопросах и делах, которые, как кажется на первый взгляд, вовсе не должны вас интересовать. На то у меня были две причины. Прежде всего, я подвергся нападкам моих еврейских и немецких оскорбителей и клеветников за мой характер русского и славянина. Поэтому для меня совершенно необходимо, раз и навсегда, не пренебрегая ни одной из основных граней славяно-германского вопроса, объясниться в том, как я всегда рассматривал и понимал этот вопрос. Затем, я глубоко убежден, что этот вопрос вовсе не так безразличен и чужд прошлому и будущему развитию Международного товарищества рабочих, как это может показаться с первого взгляда.

Вы видите его в зачаточном состоянии. Кто не знает, что окончательная резолюция о создании этого великого и спасительного мирового товарищества, была проголосована в ходе крупнейшей встречи английских, французских, немецких, бельгийских, итальянских и польских рабочих, которые собрались в 1863 году в Лондоне, чтобы протестовать от имени пролетариата Европы против тиранических и жестоких репрессий русского правительства в Польше: протест, который, увы, остался столь же бессильным, как и многие другие современные протесты, но который имел большое значение в других отношениях.

Впервые после ужасного поражения 1848-49 годов пролетариат наиболее цивилизованных стран Европы пробудился и вновь вышел на демонстрации. Он открыл новую эру своего существования протестом, который доказал, что отныне он не останется безразличным к политическим преступлениям, совершаемым посреди Европы. Как следствие, выразив солидарность в чувстве единодушного возмущения, эти трудящиеся разных стран проявили желание и волю к организации этой отныне ставшей реальностью солидарности, ради освобождения пролетариата всех стран. Так родилось *Международное товарищество рабочих*.

Известно, что первый манифест этого Товарищества — весьма значимое произведение, сопровождаемое временным регламентом, которое за подписями граждан Оджера, Кримера и Уилера было опубликовано в последние месяцы

1864 года от имени временного Генерального совета, — было полностью написано гражданином Карлом Марксом.

Наряду с блестящим и действительно превосходным изложением экономического положения стран, наиболее продвинутых в современной культуре наций, в особенности, Англии, как наиболее цивилизованной, богатой и процветающей в Европе; наряду с глубоко продуманными формулировками, удивительными по своей точности и простоте, которые еще сегодня составляют всю программу и, если можно так выразиться, всю философию и политику Интернационала, в этом манифесте мы, в итоге, находим две отличительных черты, два мотива, характеризующих особые наклонности авторитарных коммунистов, то есть политиков Германии, признанным главой которых является гражданин К. Маркс.

Первый содержится в той самой фразе, которая, так сказать, венчает Манифест: «*Завоевание политической власти стало поэтому великой обязанностью рабочего класса*». Не удивительно ли слышать, как Мадзини утверждает этим отличающим его творения непогрешимым тоном, что Интернационал при своем зарождении совершил большую ошибку, отделив экономический вопрос от политического. Это высказывание, опровергнутое, как видим, первым же Манифестом учредителей этого Товарищества, так же как и многие другие несообразности и россказни, которые он любил распространять на его счет, доказывает только, что Мадзини писал об Интернационале и против него, даже не потрудившись изучить его печатные документы, опираясь во всех отношениях на свидетельства двух перебежчиков из Интернационала, гг. Толена и Фрибура, которых он объявляет весьма приличными и вполне достойными уважения и веры людьми, сам рассказывая при этом, не знаю, правда это или нет, что у этих двух соучредителей Интернационала с самого его зарождения были прямые отношения с Наполеоном III.

Это постыдное незнание и эта довольно недобросовестная легковесность великого итальянского разоблачителя образуют странный контраст со строгостью, которую он проявляет к той части итальянской молодежи, которая,

сбросив ярмо его политического и божественного авторитета, осмеливается искренне поддерживать дело пролетариата. Он горько упрекает ее за то, что она говорит о вещах, которых не знает, и рекомендует ей хорошенько изучить теории и факты, прежде чем выносить по тем и другим какое-либо суждение. Дал бы он этот совет себе самому, прежде чем взять перо для наветов на Интернационал. Но нет, у него хватает смелости выставлять себя в качестве примера. Он осмеливается говорить, что не решился бы бороться с Интернационалом, не изучив все документы, касающиеся этого товарищества. Это недобросовестность или самоослепление? Я думаю, что это результат блаженной слепоты, которой Господь всегда поражает своих самых пылких слуг. Я позже вернусь к этим словам, которые в сущности содержат всю программу Социал-демократической рабочей партии Германии.

Следующий параграф, по всей видимости, был продиктован явной русофобией и скрытой славянофобией, которые являются господствующими чувствами в сердцах немецких патриотов всех партий. Ярко и вполне заслуженно воздав должное трудящимся Англии, только единодушный протест которых помешал, в итоге, английской аристократии и буржуазии вмешаться в последнюю войну Америки на стороне рабовладельцев Юга против противников рабства на Севере, манифест добавляет: «*Бесстыдное одобрение, притворное сочувствие или идиотское равнодушие, с которым высшие классы Европы смотрели на то*, как Россия завладевает горными крепостями Кавказа и умерщвляет героическую Польшу, огромные и не встречавшие никакого сопротивления захваты этой варварской державы, голова которой в Петербурге, а руки во всех кабинетах Европы, указали рабочему классу на его обязанность — самому овладеть тайнами международной политики, следить за дипломатической деятельностью своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми средствами, имеющимися в его распоряжении; в случае же невозможности предотвратить эту деятельность — объединяться для одновременного разоблачения ее и добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедли-

вости, которыми должны руководиться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами».

На первый взгляд, каждая фраза этого параграфа продиктована лишь вечными принципами нравственности и справедливости, совершенно обоснованно необходимыми как единственно законное основание всех общественных отношений, как по отношению к личностям, так и естественным сообществам, называемым нациями. Но если рассмотреть его поближе, поражаешься вовсе не интернациональному, а тевтонскому духу пристрастности, которому с большой ловкостью удалось проскользнуть в эту торжественную клятву, данную человеческой нравственности и справедливости.

Почему все молнии осуждения трудящихся Европы сосредоточены и мечутся в одну единственную точку: лишь против русской державы? Конечно, эта держава варварская, зловредная, угрожающая. Но одна ли она такая сегодня, была ли только она такой, когда публиковался этот первый манифест Интернационала? Все политические силы, все государства, завоевывая или подавляя, обязательно становятся варварскими. А Россия, была ли она единственной державой-завоевательницей? В эту эпоху Австрия, правда, уже ослабленная ударами, полученными от Франции, тем не менее давила весьма малоцивилизованным и гуманным образом на Ломбардию и Венецию; императорская Франция показывала свою человечность Мексике; Пруссия молча готовила базу для трех своих памятных кампаний, которые должны были сделать ее семью годами позже хозяйкой Германии. Пока же она подавала устами *господина Бисмарка*, своего великого министра, самые кровожадные и жестокие советы своей ближайшей и единственной союзнице, России, по борьбе с несчастной Польшей, разрываемой русскими палачами. Почему бы ни удостоить хотя бы небольшого упоминания этого векового чемпиона и столь мощного, единственного представителя германской цивилизации?

Гражданин К. Маркс наделен слишком реальным умом и знанием отношений и событий, чтобы всерьез думать,

что именно Россия вынудила Австрию прибегнуть к суровейшим репрессивным средствам, чтобы защитить остатки своего владычества в Италии — в части жестокого деспотизма Австрия никогда не нуждалась ни в чьих уроках; что именно Россия предприняла мексиканскую кампанию, или внушила своей подруге Пруссии планы ее будущих завоеваний. Почему же в своем замечательном манифесте он говорил об одной только России?

Понятно, что в 1863 году, в самый разгар польского восстания, когда эта благородная нация, покинутая и преданная всей цивилизованной Европой, лишенная каких-либо военных ресурсов, почти без оружия, черпая средства своей защиты лишь в отчаянии, боролась с безнадежным мужеством против громадной русской армии с одной стороны, в то время как с другой она оказалась зажатой, задушенной очевидной и угрожающей враждебностью Пруссии; понятно, что в тот самый момент, когда развивались кровавые перипетии этой неравной героической борьбы, ужасные сцены этой плачевной трагедии, пролетариат Запада, единственный в цивилизованных странах Европы сохранивший среди общего уныния чувство гуманизма и справедливости, собравшись на торжественную встречу, чтобы выразить не лицемерные, но свои искренне братские симпатии народу Польши, и на минуту абстрагировавшись от несправедливости и преступлений, совершаемых в то же самое время другими правительствами в других странах, сконцентрировал все свое возмущение против диких русских репрессий, ужасы которых, увы, с тех пор были далеко превзойдены теми, что немцы только что совершили во Франции. Но разве этот протест не был бы еще внушительнее и справедливее, заклейми он одновременно гнусное и варварское поведение Пруссии, которая не побоялась опозорить себя, открыто став советчиком и весьма заинтересованным сообщником всех преступлений, совершенных русскими властями, которым она поспешила поставить сотни затребованных и даже не затребованных жертв?

Именно начиная с этой эпохи поляки дали ей столь заслуженное прозвище помощника палача или поставщика для московских виселиц.

Понятно, что в манифесте, опубликованном от имени большого сообщества, по крайней мере видимо порожденного этим стихийным протестом пролетариата самых передовых стран Европы против русского варварства, чувства, которые он побудил, нашли свое место и звучали как эхо лондонской встречи. Но от этого манифеста, объявляющего миру принципы Интернационала и говорящего от имени человечества, от имени человеческой морали и справедливости, можно было бы ожидать большего, чем сентиментальной вспышки, скорее широкой и философской оценки, соответствующей самим этим принципам.

Итак, я, не колеблясь, говорю, что редактор манифеста, гражданин К. Маркс, оказался в этом пункте, но только в этом пункте, гораздо ниже той миссии, что он на себя или, скорее, на него возложили. Вместо того, чтобы искать секрет насилия и всех жестокостей, которые приносят горе человечеству, в самом принципе государства, то есть господства и эксплуатации как таковых; вместо того, чтобы заметить, в полном соответствии как с прошлой, так и нынешней *правдой истории*, что то, что Россия, варварская империя, осмеливается делать цинично, все другие великие, так называемые цивилизованные государства Европы совершают лицемерно, он нашел более удобным и также, несомненно, более выгодным с точки зрения собственно немецкого патриотизма, возложить на Россию вину за все социальные и политические преступления, совершаемые в Европе.

Это было, несомненно, удобно, но одновременно чрезвычайно нелепо. Это означало продемонстрировать либо большое невежество, либо исключительную недобросовестность. Скажем, со времени трех разделов Польши, вина за которые, согласно историческим рассуждениям гр. К. Маркса, разумеется, возлагается лишь на одну Россию, разве Россия подстрекала и создавала очередные коалиции Германии против первой революции, продиктовала знаменитый манифест Брунсвика и вынудила консервативного премьер-министра Великобритании, ожесточенного противника вначале Республики, а затем Империи, Уильяма Питта, субсидировать армии, направляемые реакционной

Европой против революционной Франции? Разве император Александр, а не прусский генерал Блюхер в 1815 году спланировал грабеж и разорение Парижа? И разве этот император, а не дворы Берлина и Вены уже в то время замыслили первый раздел Франции? Пусть бы они, а не он, настояли на необходимости дать Франции либеральный, а не феодальный режим, конституцию. А после 1815 года, разве все тот же император, а не *князь Меттерних*, не австрийский двор стал душой и вдохновителем *Священного союза* деспотических монархий против возрождающегося в Европе либерализма; разве русские, а не австрийские войска растоптали в 1821 году революции в Неаполе и Пьемонте; и разве снова они, а не французские войска под предводительством *герцога Ангулемского* восстановили в 1823 году положение вещей в Испании?

И, как всегда, по вине России в 1848 году отважные парижские рабочие были подавлены и истреблены коалицией всех реакционных партий и, в особенности, неумолимой и подлой жестокостью буржуазии, карманы которой оказались под угрозой; это Россия вложила шпагу в руки бравого генерала Кавеньяка, предшественника Наполеона III, который после этого провел все ограничительные законы, принятые реакционным Национальным собранием. Это она породила Тьеров, Ж. Фавров, Токвиллей, Фаллу, и чтобы увенчать свое дело, вначале избрала на пост президента, а затем на трон божественного Наполеона III; как всегда именно она в 1849 году при помощи французских войск, посланных, несомненно, по ее приказу Наполеоном III для восстановления *папы* на троне, подавила римскую республику, а чуть позже при помощи австрийских войск — всю Италию, включая Пьемонт. Без сомнения именно по русскому наущению победоносный фельдмаршал или, как его тогда прозвали австрийцы, маршал-герой Радецкий, будто желая омолодить свою старость, купался в итальянской крови, так же как потом генерал Гейнау в Венгрии. Патриотическая Франкфуртская ассамблея, составленная из самых ярких политических, литературных и научных светочей Германии, была, конечно, подкуплена русским золотом, когда в 1848 году почти единодушно аплодиро-

вала триумфу австрийского оружия в Италии, и когда, несколькими месяцами позже, она проголосовала за включение в германский союз всех польских провинций Пруссии. Это снова Россия отправила в 1849 году во главе баварских и прусских войск нынешнего императора Германии, в то время наследного принца Пруссии, против остатков этой ассамблеи, укрывшихся в восставшем великом герцогстве баденском, и приказала ему учинить расправу без суда и следствия над последними буржуазными революционерами Германии.

И, наконец, в наши дни, как всегда эта проклятая Россия, открыто вставшая в последней американской войне на сторону Севера против Юга, подтолкнула дворянскую и финансовую аристократию Англии к тому, чтобы выступить за Юг против Севера. Именно она наконец, подстрекая Бисмарка и Мольтке, завоевала при помощи австрийских и прусских войск сначала часть Дании, а затем силами одних пруссаков разрушила австрийскую державу, и, наконец, посредством всех объединенных армий Германии, основала на руинах французского государства новую сверхдержаву — пангерманскую империю!

Видите, какое ужасное зло Россия причинила Европе! Если бы не она, уже в 1789 году в мире была бы провозглашена всемирная социальная республика. Людовик XVI и Мария Антуанетта добровольно отреклись бы от престола; дворянство Франции вместо того, чтобы эмигрировать, плести заговоры и повернуть свое оружие против Франции, стало бы буржуазией, а буржуазия — народом; в Германии же, умиленной столь благородным примером, император, короли, суверенные князья, феодальное, военное и бюрократическое дворянство, померанские юнкеры, большие и малые буржуа, рабочие, крестьяне бросились бы друг другу в объятия, чтобы образовать отныне единую немецкую семью, объединенную братскими узами со всеми другими национальными семьями Европы. Да, если бы не проклятое влияние России, император Фридрих-Вильгельм Первый «Свирепый» и император Фердинанд Австрийский со всеми немецкими королями и князьями были бы сейчас не более, чем честными трудящимися, членами раз-

личных рабочих товариществ; а папа, женившись либо на Изабелле Испанской, либо на Евгении Французской, стал бы добрым крестьянином и превосходным отцом семейства. Орден иезуитов сделался бы секцией Интернационала, а его верховный глава, имя которого мне не известно, вместе с кардиналом Антонелли, графом Кавуром, г-ном Ратацци, Наполеоном III, лордом Пальмерстоном, мистером Гладстоном, графом Бойстом, князем Бисмарком и, наконец, неким Ротшильдом в качестве казначея образовали бы ныне Генеральный совет в Лондоне, который бы стал центральным правительством цивилизованного мира.

И всему этому помешало только пагубное влияние России! Если гражданин Маркс в этом всерьез убежден, понятно отвращение, которое он должен испытывать к этой стране. Но возможно ли, чтобы он был в этом убежден? Я слишком уважаю его ум, чтобы это допустить. Он, кто столь ненавидит утопии и любые произвольные фантазии разума, стал бы первым утопистом мира, если бы был способен на самом деле вообразить, что без дипломатического влияния петербургского кабинета на европейские дворы, Европа была бы совершенно иной, чем она есть сегодня, и если бы сам поверил в ту патетическую фразу своего манифеста об *«этой варварской державе, голова которой в Петербурге, а руки во всех кабинетах Европы»*

Пусть русская держава варварская, весьма варварская и злодейская, кто в этом сомневается? Но, мне кажется, я сказал достаточно, чтобы доказать — и совершенно свежие факты показали это с гораздо более убедительным красноречием, чем мое, — что в области злодейства и варварства правительства Берлина и Версаля по крайней мере сравнялись, если не превзошли правительство Петербурга, и что в нравах любой политической державы быть злодейской и варварской; с той единственной разницей, что слабые правительства делают это с лицемерием, тогда как сильные, такие как в Берлине и Петербурге — с цинизмом.

Гражданин К. Маркс, с другой стороны, слишком хорошо знает европейскую статистику, чтобы преувеличивать, подобно обычным публицистам, материальную мощь России. Эта мощь, которая может развернуться в огромную,

огромна, это правда, для обороны; но она пока практически ничтожна для наступления. Ей недостает трех существенных элементов силы: богатства, хорошей организации и науки. Сегодня, более чем когда-либо, богатство, обилие капиталов и денег является нервом войны; а Россия чрезмерно бедна. Ее сельское хозяйство, промышленность и торговля, по сравнению с западными, находятся еще в детском возрасте, а подавляющее всесилие государства мешает их развитию. Россия буквально разорена содержанием огромной армии и бюрократии.

Организация и той, и другой является все еще крайне порочной. Честность проявляется лишь как редкое исключение; воровство, незаконные доходы стали, так сказать, законными в силу повсеместного распространения. Контроль почти нулевой или мнимый, поскольку, как говорит русская пословица, рука руку моет. Как следствие, масса прекрасных вещей, существующих на бумаге, никогда не реализуется в действительности. Наконец, знания наших гражданских и военных чиновников нельзя сравнить со знаниями генералов, офицеров и администраторов Германии.

При всем этом русская армия огромна, гораздо более многочисленна и лучше организована, имеет лучшее командование и вооружение в данный момент, чем когда-либо прежде. Она не так сильна, как оценивают ее иностранные и, особенно, русские статистики, но, тем не менее, она представляет собой весьма достойную силу, неспособную предпринять наступательную войну против Германии, но способную нанести ей очень серьезный ущерб, когда она найдет какого-нибудь мощного союзника в Европе, Францию, например. Она могла бы стать еще более внушительной, если бы возбуждая национальные или расовые чувства, она подняла панславистский флаг — как это сделала в последнее время Пруссия, подняв пангерманский флаг против Франции и провозгласив единство немецкой империи в Версале. Тогда, Россия нашла бы союзников, целые народы друзей и братьев в самом сердце этой империи.

Именно в этом состоит героическое средство, к которому русская империя несомненно прибегнет в более или менее отдаленном будущем. До настоящего же времени по

крайней мере, она предпочитала более привычный и менее опасный путь союзов, и большей частью своего расширения на запад она обязана в гораздо большей степени своей весьма ловкой дипломатии, чем силе своего оружия. Лишенная интересов в большинстве внутренних вопросов, терзающих и разделяющих Западную Европу, и имея в этом смысле, как Ахиллес, лишь одну слабую точку: социальную революцию — но, главным образом, крестьянскую, в гораздо большей степени, чем революцию городских и фабричных рабочих, которые в России образуют лишь каплю воды в народном океане — русская дипломатия вмешивается во все проблемы Запада и никогда не упускает случая половить рыбку в мутной воде, естественно, всегда принимая сторону зла против добра, реакции против революции.

Это то, что ей с такой горечью ставят в вину патриоты Германии. Они ошибаются; действуя таким образом, Россия, во-первых, повинуется своей особой природе деспотической и военизированной империи, но, во-вторых, потребностям, присущим государству, причем любому государству, будь то монархическому или республиканскому. По какому праву немцы требуют от русского правительства добродетелей, которые никогда не были свойственны их собственным правительствам? Кабинеты Берлина и Вены, приняли ли они когда-нибудь сторону революции против реакции в Европе? И не видели ли мы в 1852 году, как либеральная Англия, представленная не только своим правительством, но и большей частью дворянства и буржуазии, с радостью приветствовала восшествие Наполеона III на императорский трон Франции? Наконец, великая республика Соединенных штатов Америки, не связана ли она сегодня тесным союзом с обеими великими деспотическими державами Европы, Россией и Германией?

Зачем же тогда требовать от правительства, называемого варварским, добродетелей, которые никогда не были свойственны самым цивилизованным правительствам? В этом состоит справедливость по-немецки?

Императорская Россия, да будет известно, не изобретала и не вызывала реакцию в Европе. У нее никогда не было ни средств, ни даже необходимости ее создавать. Она раз-

вилась там и произрастает сама по себе, как чудное местное растение: историческое, теологическое, политическое, юридическое, бюрократическое, военное, аристократическое вначале и, в конечном счете, буржуазное. Императорская Россия нашла ее всесильной в Европе, и объединилась с ней, чтобы извлечь из этого свою выгоду. Какое государство в Европе не сделало бы то же самое?

Русская дипломатия, наконец, нашла себе, и пока будут существовать государства, всегда найдет союзников в Европе. И это тоже приводит в отчаяние немецких патриотов. Наивные мечтатели, они толкуют о союзе всех государств Европы против Российской империи. Это абсурдно. Существование государств с необходимостью влечет за собой перманентность войны, то скрытой, то явной. Невозможно, чтобы в Европе Россия вовсе не нашла какого-нибудь более или менее сильного союзника: сегодня Германию, завтра Францию, и, кто знает, послезавтра, может быть, саму Англию?

Русская дипломатия чрезвычайно жульническая, хитрая, вероломная и зловредная, говорят немцы. Безусловно; но какая дипломатия в самых лучших своих проявлениях, в которых, конечно, нельзя упрекнуть русских дипломатов, самых ловких *обольстителей* в мире, кто из дипломатов Европы не обладает или по крайней мере не старается обладать всеми этими качествами, собственно, составляющими премудрость и доблесть этой профессии? Поскольку у политики никогда не было иной цели, кроме господства и эксплуатации, она целиком сводится к этим двум словам: обман и жестокость. Если это не одно, так обязательно другое, и очень часто случается, что одновременно делается и то, и другое.

Таким образом, пристально рассматривая все это, приходим к заключению, что среди всех упреков, адресованных всероссийской империи, нет ни одного, который не был бы *в равной степени*, а иногда даже и более применим ко всем другим правительствам великих государств Европы, в особенности к нынешней германской империи.

Но, говорят немцы, то, что делает именно русский деспотизм столь опасным, это то, что он командует народом

рабов, который повинуется как автомат малейшему знаку своего хозяина, в то время как в Германии, ... ах! В Германии, конечно, вы встречаете только свободных, гордых, бунтующих людей! Дворянство там вовсе не высокомерно и раболепно одновременно, а буржуазия вовсе не лакейская? Крестьяне, не подчиняясь закону, отказываются платить налоги и отдавать своих сыновей в военное рабство? Наконец, вся Германия вовсе не распростерта перед своим грозным императором?

Один только немецкий пролетариат остается стоять на ногах, и я по-настоящему счастлив, признавая это. Но если у вас есть ваш пролетариат, у нас есть наши крестьяне, на которых мы возлагаем все наши надежды. Ваш пролетариат еще никогда или почти никогда не восставал, в то время как огромные бунты наших крестьян уже трижды в разное время потрясали московскую империю. Они были подавлены, но так будет не всегда. У нас, наконец, есть то, чего нет у вас: просвещенная молодежь, гораздо менее просвещенная, чем ваша, но способная отдавать себя народному делу, конспирировать и восставать.

Таким образом, даже в отношении рабского повиновения пальма первенства снова принадлежит немцам. Что же касается реакционных, обскурантистских, деспотических, губительных для свободы и человечества мыслей, вынашиваемых в данный момент при берлинском дворе, в сердце императора-пугала и в мощном мозгу первого канцлера империи, я думаю, что ни гражданин Карл Маркс, ни какой-либо мало-мальски здравомыслящий человек из его партии не могут поставить их наличие под сомнение. Как же тогда получается, что они ищут центр, голову европейской реакции не в Германии, а в России, не в Берлине, а в Петербурге?

Мы видели, что русская держава материально слабее, гораздо менее богата, слабее организована и менее искусна, чем действительно громадная мощь германской Империи. Недавние события нам показали, что по части возвышенного жульничества дипломатия *господина Бисмарка* оставляет далеко за собой русскую дипломатию. Мы видим, наконец, что проекты, наиболее угрожающие

свободе и независимости Европы, самопроизвольно зарождаются на бранденбургской и померанской почве; мы также видим, как большая масса германского населения, за исключением пролетариата городов, ожидает только отмашки из Берлина, чтобы с патриотическим неистовством накинуться на ту часть Европы, которую ей укажут. И при этом замысел, мыслительный центр, голова реакции сосредоточены в Петербурге, а не в Берлине?

Это означало бы преувеличить сверх всякой возможной меры интеллектуальные способности российских государственных деятелей, и крупно недооценить способности князя Бисмарка, — по сравнению с ними настоящего гиганта. Это означало бы утверждать невозможное, абсурд и создавать ради своего удовольствия воображаемое существо, мистическое чудовище. Но политический мистицизм, особенно имеющий автором столь строго рациональный ум, каким бесспорно является гражданин К. Маркс, может быть лишь розыгрышем или злой шуткой.

С его стороны это было не шуткой, но определенно мистификацией, и ее причину, но не оправдание, надо искать в его немецком патриотизме. Рассчитывая, несомненно, на невежество трудящихся, он хотел побудить в их рассудке мысль ложную, но весьма полезную собственным намерениям Германии: сверх всякой меры преувеличить опасности, которыми угрожает Россия, чтобы отвлечь внимание почтенной публики от честолюбивых проектов собственной родины, и побудить принять завоевания Германии на севере и востоке, как неоценимую услугу, которую она оказывает человечеству; пробудить, если не активное сотрудничество, то по крайней мере симпатии пролетариата Европы в пользу предприятий Германии; такова была патриотическая цель, которой он хотел достичь, конечно, не считая личных чувств, которые также могли двигать им. Поставив свою собственную жизнь на службу Интернационалу, главным инициатором которого он был, он вовсе не был бы расстроен, если бы тот, в свою очередь, послужил инструментом будущему величию и мощи Германии.

Что мне казалась вначале непонятным, так это то, что немецкие патриоты Интернационала, не удовлетворяясь

желанием остановить угрожающее расширение русской державы на запад, хотят также помешать ей распространяться на восток. В самом деле, не примечательно ли, что даже прежде, чем говорить о Польше, только что цитированный мной параграф манифеста горько упрекает Россию в том, что она *«завладевает горными крепостями Кавказа»*. Адресуя ей этот упрек, гражданин К. Маркс, кажется, упускает из виду, что в этом состоит неизбежная тенденция, присущая каждому великому государству: округлять, расширять и укреплять свои границы, поглощая окружающие его мелкие страны. Мы видели, как Германия, чтобы достичь Балтийского моря, делала абсолютно то же самое в ущерб полякам и славянам, которые, с точки зрения цивилизации, уж точно не стояли ниже черкесов; да и последняя война с Данией разве имела иную цель? Как же так получается, что то, что, кажется, разрешено немцам, запрещено русским?

Вот еще образец немецкой справедливости. Я бы ничего не сказал, если бы немцы, раз и навсегда, без каких-либо недомолвок, искренне хотели бы осудить принцип завоевания во всех его возможных проявлениях, какими бы ни были нации-завоеватели и завоеванные народы. Тогда я подписал бы обеими руками все проклятия и осуждения, которые они произносят против завоеваний Российской империи. Мне бы не составило никакого труда это сделать, поскольку завоевание — это обязательное проявление принципа государства, и поскольку я вместе с вами, дорогие товарищи и друзья, враг государства, как русского, так и нерусского. Но немцы-патриоты Интернационала вовсе не разделяют с нами ту ненависть, которую нам внушает принцип государства; и как сторонники государства, они не отвергают завоевания абсолютно, они лишь хотят предоставить эксклюзивное право на них нациям, представляющим современную, то есть буржуазную цивилизацию, поскольку никакой другой просто нет ни в Европе, ни вне Европы.

Завоевание цивилизованными нациями варварских народов — вот их принцип. Это применение закона Дарвина в международной политике. Вследствие этого естествен-

ного закона цивилизованные нации, будучи, как правило, сильнее, должны или истребить варварские народы, или подчинить их, чтобы эксплуатировать, то есть цивилизовать. Таким образом, североамериканцам позволено мало-помалу истреблять индейцев; англичанам эксплуатировать Ост-Индию; французам завоевывать Алжир; и, наконец, немцам цивилизовать, волей-неволей, славян, способом, который нам известен. Но русским должно быть твердо запрещено «*завладевать горными крепостями Кавказа*».

Господин Боркхейм, ученик, доверенное лицо и друг гражданина Карла Маркса, изложил ту же мысль в своей знаменитой «блестящей» речи, и даже развил ее далее. Его уже возмущает и беспокоит не *только* завоевание Кавказа, но еще и триумфы русского оружия в Персии и на Центрально-азиатском плоскогорье, покорение бухарских и хивинских татар. «*В скором времени может даже стать необходимым, — говорит он, — чтобы мы запретили России продвигаться дальше в Азию, заставив принять ее европейско-американскую волю*» (!). «*Отбросить русских в свои границы, сжать их, заставить заниматься самими собой, работать честно... — вот то, что будет благом для России, вот дело человечества, вот настоящее дело мира*».

Не правда ли — речь сумасшедшего? Отбросить, обвести, сдавить со всех сторон, как прессом, народ, который, считая только русских, представляет компактную массу в 50 миллионов человек, и это при помощи европейско-американской воли, которая существует в состоянии утопии только в пораженном патриотизмом мозге некоторых социал-демократов Германии. Но эти добрые немецкие патриоты даже не подозревают, что подобная попытка удушения, даже в случае, если бы ее исполнение было возможно, имела бы неизбежным следствием ужасный взрыв, и что этот взрыв мог бы действительно зажечь и распространить пожар во все те еще мало цивилизованные или германизированные славянские страны, которые они считают унаследованным достоянием Германии.

Они, кажется, не отдают себе отчет, что закон Дарвина, которым они пытаются воспользоваться, чтобы прикрыть

свои патриотические амбиции, — обоюдоострое оружие, и что в этой *схватке за жизнь*, которая, собственно, составляет естественную основу исторического развития наций, вовсе не всегда более цивилизованные народы в итоге одержали верх над варварскими. Решительно, *господин Бисмарк* проявил себя гораздо более и разумным, и практичным, чем они. Он прежде всего знает, что напрасно искать в Европе и Америке ту единодушную волю, которую *господин Боркхейм* и его друзья полагают держать в своих руках, и он ничуть не озабочен безумной идеей, которая имела бы немедленным следствием обращение всех русских сил на Германию. Напротив, он по-настоящему восхищен тем, что они заняты вдали от Европы, на Дальнем Востоке, что делает его, в итоге, единственным вершителем судеб Запада.

Так почему же, спросим еще раз, не имея абсолютно никакого патриотического интереса к территориям за Уралом, на Центрально-азиатском плоскогорье, немецких патриотов Интернационала так сильно беспокоят завоевания русскими Бухары, Хивы и части Китая? Просто дело в том, что они хотят заинтересовать английский патриотизм, безраздельному до сих пор господству которого в Ост-Индии угрожают эти завоевания, и тем вовлечь его в совместные действия в этой антиславянской и русофобской кампании что, несомненно, весьма патриотично, но по той же причине прямо противоположно духу справедливости, вдохновляющему Интернационал. Они хотели бы представить ее трудящимся Европы, если не как высшую цель, то по крайней мере как одну из основных задач, к немедленному решению которой призвано это великое Товарищество.

Таким образом, этот протест против захватов русской державы в Азии был бы вполне законен, если бы исходил из общего осуждения всех завоеваний, кем бы ни были их творцы и жертвы, если бы он относился одновременно к захватам всех других государств; но он стал глубоко несправедливым с того момента, как будучи направленным против одной лишь России, он услужливо обходил молчанием преступления всех других держав; этот протест, я считаю, имел явной целью скрепить в лоне Интернацио-

нала особый тесный союз между немецким и английским патриотизмом.

Это следует со всей очевидностью из обсуждения, имевшего место по этому вопросу на Первом конгрессе Интернационала, состоявшемся в Женеве в сентябре 1866 года. Официальный отчет об этом заседании столь краток, что я хочу воспроизвести его полностью:*

11-й вопрос: (Генеральный совет в Лондоне, весьма влиятельным членом которого гражданин К. Маркс был тогда, как и сейчас, формулировал вопросы, которые ставились на обсуждение на этом конгрессе.)

«*О необходимости уничтожить влияние русского деспотизма в Европе путем применения принципа права народов на самоопределение и восстановление Польши на демократических и социальных основах*».

«*Французская делегация* выражает мнение, что по этому вопросу не должно быть никакого голосования; *что конгресс должен ограничиться заявлением, направленным против любого вида деспотизма* в любой стране; *что он не должен входить в обсуждение столь сложных национальных вопросов. Нужно пожелать и потребовать освобождения как в России, так и в Польше и отбросить старую политику* (политику государств) *противопоставления одних народов другим.* (Как видите, отчет воспроизводит не речи, произнесенные ораторами каждой страны по любому вопросу, а лишь их общий смысл. В русско-польском вопросе исключение было сделано только для речи гражданина Беккера. Но французские делегаты, среди которых оказались некоторые из тех, кто впоследствии принял столь же активное, сколь почетное участие в последних революционных событиях во Франции, как в Париже, так и в Лионе — среди них достаточно будет назвать самого видного деятеля Парижской коммуны, нашего друга Варлена, расстрелянного версальскими войсками — так вот, французские делегаты опубликовали сразу же после Женевского конгресса коллективный меморандум, который

---

* «*Материалы конгресса Международного товарищества рабочих, состоявшегося в Женеве с 3 по 8 сентября 1866 года*» Женева, Типография J. C. Ducommun и G. Oettinger, route de Carouge, 1866.

вышел в Брюсселе под следующим названием: «*Женевский конгресс — Меморандум французских делегатов*» (Брюссель — Parent et Fils, Editeurs — 17, Montagne de Sion, 1866.), в котором они гораздо лучше развили свои мысли по всем вопросам, предложенным этому конгрессу. Они выразили в нем свое неизменное и полное сочувствие независимости и свободе Польши, а также свое желание ее скорейшего освобождения на основе реального и полного экономического, политического и социального раскрепощения как крестьян, так и трудящихся городов. Но они отказались заклеймить всю Россию, включая нацию и правительство, в качестве изгоев Европы, как это было предложено немецкими и английскими делегатами. Они не считали необходимым отождествлять Российскую империю с русским народом, справедливо полагая, что, если бы это было сделано для России, то это надо было бы сделать и для всех других стран Европы, что, конечно, вовсе не было бы на пользу французскому народу, тогда еще находившемуся под правлением Наполеона III, как он находится сегодня под правлением Версаля, ни, особенно, на пользу немецкому народу. Таким был смысл их голосования против этого вопроса. Мадзини, который, очевидно, никогда не читал ни этого меморандума, ни официального женевского отчета, воспользовался этим, чтобы обвинить французских делегатов в отказе проголосовать в пользу Польши. Это доказывает еще раз, что его суждения против Интернационала столь же легковесны, сколь злонамеренны.)

«*Английские делегаты* высказываются за резолюцию по польскому вопросу, который всегда вызывал сочувствие у демократической и здравомыслящей части английского народа. Они добавляют, что первое объединение французских и английских рабочих в совместном действии произошло ради проявления их чувств против угнетения Польши, и что это же был одновременно первый шаг по созданию Международного товарищества».

«Однако мнение большинства конгресса явно склонялось к французскому предложению».

«Тогда господин Беккер (немецкий делегат) взял слово. Он выразил сожаление, что конгресс ничего не решил

по этому вопросу. *Российская империя — это постоянная угроза цивилизованным обществам Европы*; (я хотел бы знать, что гражданин Беккер думает сегодня о цивилизаторской миссии Германской империи?) Польша служила бы барьером. Здесь проголосовали за упразднение постоянных армий, *но их невозможно будет отменить, пока Польша не будет восстановлена.* Он добавляет, что польский вопрос — это европейский вопрос, но он особо интересует Германию, и в некотором смысле его можно назвать немецким вопросом (и уже, несомненно, по этой причине французские делегаты, увидев, прежде всего, чисто немецкий способ, которым он был поставлен, с восхитительным инстинктом воспротивились и отвергли его). Тогда *он предлагает* (несомненно, в качестве почетного отступления), *чтобы заявление в этом смысле* (то есть исключительно в германском национальном смысле этого вопроса), подписанное всеми немецкими членами и теми, кто разделяет эти идеи, было приложено к протоколу».

«Предложение французской делегации с дополнением господина Беккера одобрено».

Вот так Женевским конгрессом была похоронена первая попытка немцев установить в Интернационале главным образом германское руководство.

Сам способ, каким был поставлен этот вопрос, с очевидностью выявляет эту цель. Если бы Генеральный совет был менее озабочен политическими и частными интересами Германии и придерживался одной лишь международной справедливости, идентичной для всех наций, так как человеческая справедливость может стать реальностью единственно лишь при условии равного применения как к цивилизованным народам, так и к тем, кого с высоты чисто буржуазной цивилизации принято называть варварскими, тогда этот одиннадцатый вопрос, который предлагался обсуждению Первого конгресса Интернационала, должен был бы, по крайней мере, быть сформулирован следующим образом:

«О необходимости уничтожить существование любого деспотизма в Европе путем применения права каждого

народа, большого или малого, слабого или сильного, цивилизованного или нет, располагать самим собой и стихийно организовываться снизу доверху путем полной свободы, вне всякого влияния и любых политических или дипломатических притязаний, независимо от любой формы государства, навязанной сверху донизу какой бы то ни было властью, будь то коллективной или индивидуальной, собственной или иностранной, и принимать в качестве основы и законов лишь принципы социалистической демократии, интернациональной справедливости и солидарности».

Это было бы без сомнения более длинно, но зато справедливо и ясно, и это исключило бы абсолютно любую двусмысленность. Это было бы декларацией подлинно интернационального принципа, не патриотического, но человеческого; и гражданин Жан Филипп Беккер, один из основателей нашего великого Товарищества, не нуждался бы в том, чтобы заявлять и признавать, что это вопрос, который «особо интересует Германию».

Если бы Генеральный совет хотел быть еще яснее и прямо назвать вещи своими именами, если бы он хотел поставить настоящий вопрос для Интернационала со всеми его реальными и немедленными последствиями, он мог бы представить на обсуждение Женевского конгресса следующую редакцию:

«*О необходимости уничтожить существование деспотизма в Европе путем отмены всех политических и юридических институтов, для которых экономическая эксплуатация является реальным источником и идеальным признанным принципом власти, то есть путем отмены государств, и путем организации и абсолютно свободной федерации коммун и автономных рабочих товариществ*».

Это была программа Парижской коммуны, и, одновременно, ваша — не так ли, дорогие товарищи и братья?

Но, сузив вопрос и придав ему исключительно германскую направленность, лондонский Генеральный совет подвергся неизбежному фиаско. Первый конгресс нашего великого Товарищества должен был отвергнуть несоответствующее предложение Генерального совета, чтобы оправдать свой интернациональный характер и не оказать-

ся в очевидном противоречии с теми принципами человеческой морали и справедливости, которые стали самой основой его программы.

Французские делегаты, с тем живым инстинктом, который характеризует их нацию, первыми разглядели тевтонское ухо в космополито-филантропических фразах формулировок Генерального совета, отвергли сами и вынудили других отвергнуть эти формулировки; после чего, гражданину Ж. Фил. Беккеру, близкому доверенному лицу германской фракции в лоне Интернационала, пришлось с ними согласиться, признав, что в том виде, как он был поставлен Генеральным советом в Лондоне, этот вопрос «*особо интересовал Германию* и что, *в некотором смысле, он был немецким вопросом*».

Эта откровенность делает ему тем больше чести, что искренность и добросовестность как раз не являются теми качествами, которые более всего отличают людей его партии в Германии. Но, несмотря на свое желание быть откровенным, потребность и, так сказать, обязательство защищать принятое Генеральным советом вовлекла его во многие ложные утверждения и противоречия, из которых ему было невозможно выпутаться, не поступившись честью. Ничто настолько не искажает идеи, как двусмысленное положение, которое для него было таковым в наивысшей степени, поскольку он считал себя обязанным говорить одновременно от имени международной справедливости и выражать особые интересы политического патриотизма немцев, столь противоположного этой справедливости.

Так он сказал: «*Российская империя — постоянная угроза цивилизованным обществам Европы*», что было бы вполне справедливо, если бы он добавил: а также королевство Пруссии, австрийская империя и империя Наполеона III; но, особенно, первое, которое, находясь под руководством премьер-министра, столь же гениального, сколь нагло презирающего любое право, открыто стало советчиком и помощником России в гнусном деле расправы над Польшей; затем, отвоевав у Дании и аннексировав как прусских подданных, несмотря на их самые энергичные протесты, около миллиона шлезвиг-гольштейнцев, среди которых около

300 000 датчан; разрушив столь долго соперничавшую с ней державу — Австрию, и, завоевав в самой Германии силой оружия Ганновер, гессенский двор, Нассау и Франкфурт-на-Майне, возвысилось, как раз во время этого Женевского конгресса, на уровень очень крупной державы, да что я говорю, державы, наиболее угрожающей свободе и народной, а не буржуазной цивилизации Европы.

Гражданин Фил. Беккер — который в 1849 году сам был вместе со многими другими своими соотечественниками свидетелем и жертвой военных репрессий Пруссии в великом герцогстве баденском, и который, в общем, весьма хорошо информирован обо всем, что произошло и делается в Германии, — не мог не знать о систематическом мракобесии, циничном презрении к любой гуманности, любому праву, бюрократическо-дворянской наглости и варварском поведении, которые всегда отличали как внутреннюю, так и внешнюю политику этой державы, которая может командовать только рабами, и которая, к несчастью народной Германии, к несчастью и с целью порабощения Европы создает сегодня чудовищное политическое единство Германии — пангерманскую империю.

Гражданин Ж. Фил. Беккер не был ни настолько наивен, ни настолько несведущ, чтобы не понимать, что этот злобный дух господства и подавления любой ценой, который с 1815 года явно проявлялся в мельчайших действиях Пруссии, продукт вовсе не иностранного влияния, но местной выделки, порожденный всем историческим развитием Пруссии; и он не был также настолько слеп, чтобы совершенно не видеть, что, начиная с 1846 года, уже больше не Российская империя, а эта новая прусско-германская империя становится самой ужасной *«угрозой цивилизованным обществам Европы»*. Если только он не отождествил себя с цивилизацией германской буржуазии, которая нашла выгоду, и, одновременно, корыстное и патриотическое удовлетворение в осуществлении этой угрозы, он должен был предупредить, как мне кажется, делегатов европейского пролетариата, собравшихся на конгресс в Женеве, что, наряду с тогда уже шаткой и оттого в некоторой мере еще более грозной державой Наполеона III, имелись две держа-

вы, которые возвышались как колоссальное препятствие освобождению пролетариата: русская держава, но, главным образом, новая прусская или пангерманская держава.

Наконец, поскольку гражданин Ж. Ф. Беккер в этом пункте, как и во всем остальном, в соответствии с особой программой социал-демократов Германии требовал восстановления независимой и свободной Польши не с точки зрения естественного и человеческого права, которое она бесспорно разделяет со всеми народами земли, права организовываться и жить так, как она это понимает, но ради *барьера*, который он считает нужным воздвигнуть, чтобы защитить западную цивилизацию от вторжения русского варварства. Мне кажется, что его долгом было бы предупредить свою аудиторию, менее сведущую, чем он в знании дел, равно как политических и дипломатических отношений Германии, что чтобы воздвигнуть этот барьер, нужно было вначале проехать по телу Пруссии. Я не осмеливаюсь полагать, что ему не известно, что Пруссия не может соглашаться и никогда *добровольно* не согласится на восстановление Польши. Подобная наивность позволительна Боркхеймам; но она не допустима для человека, съевшего собаку на опыте прусско-германского либерализма. И так как он должен понимать, что ничто не может быть столь опасным для дела пролетариата, которому он служит столь давно с бесподобной самоотверженностью, как иллюзии и ошибки в расчетах — неизбежные следствия игнорирования явлений и фактов, он, будучи столь образованным, должен был бы, как мне кажется, проявить предупредительность, чтобы показать и дать понять делегатам ненемецких стран, что для освобождения Польши, прежде чем объявить войну России, нужно будет объявить ее Пруссии, победить и уничтожить ее грозную армию и одновременно победить немецкую буржуазию, с некоторых пор привязанную и своей выгодой, и всеми своими пристрастиями к Пруссии; одним словом, для освобождения Польши нужно будет произвести социальную революцию.

Гражданин Ж. Ф. Беккер знает это лучше чем кто-либо, и если он этого не сказал, то лишь потому, что ему, вероят-

но, помешала необходимость защищать гиблое дело. Эта необходимость вовлекла его в странные противоречия. Так, проголосовав со всем конгрессом за необходимость отмены постоянных армий как самого большого препятствия освобождению пролетариата, он заявил, что *«невозможно упразднить постоянные армии в Европе, пока Польша не будет восстановлена»*. Тогда кем восстановлена? Постоянными армиями Европы, Германии, Пруссии? Но известен ли гражданину Ж. Ф. Беккеру дух, движущий всеми без исключения постоянными армиями Европы, и, в особенности, армией Германии? Был ли он настолько слеп, чтобы совершенно не видеть, что они составляют сегодня, вместе с монополией на финансовую эксплуатацию, всю силу, единственный смысл существования, реальную суть великих деспотических государств? И именно посредством этих армий он хочет восстановить независимую и свободную Польшу, да еще *«организованную на социальных и демократических началах»*, как того требует текст Генерального совета в Лондоне! Но подобная надежда, это уже не иллюзия, это безумие!

Она была бы, действительно, безумием, если бы это не была патриотическая уловка. Надо было любой ценой отвлечь общественное внимание от недавних завоеваний Пруссии и успокоить тревоги, усыпить враждебность, которые неслыханное продвижение этой новой германской державы, едва родившейся и уже столь громадной и угрожающей, не могли не спровоцировать во всех странах Европы. Признавая ее неприятные стороны и варварские проявления, которые, впрочем, довольно трудно отрицать, настолько они были явными и циничными, они хотели найти ей извинения и узаконить, по крайней мере, ее, так сказать, переходную необходимость, представляя ее как единственно способную остановить постепенные завоевания *бесконечно более варварской* державы — России. *Таким образом, это прусско-германское полуварварство рекомендовали как средство, без сомнения очень горькое, отвратительное, но спасительное от полного варварства московской империи.* Новая прусско-германская империя представлялась, таким образом, как необходимое зло.

То, что немецкие патриоты всегда забывали нам показать, так это ту силу и средства, которыми, как им кажется, они могут располагать, чтобы вынудить германизированную Пруссию или скорее пруссифицированную Германию обернуться именно против России, во благо европейской цивилизации, и чтобы помешать ей повернуться, наоборот, против либеральной, демократической, социалистической Европы, ради военного и бюрократического кнутогерманизма, первым представителем которого в Европе была до 1871 года Российская империя, но которая сегодня лишь вторая; первое, почетное место инициатора всех реакционных предприятий против Западной Европы, бесспорно, принадлежит сегодня пруссифицированной Германии.

Этих средств и этой силы у социал-патриотов Германии нет. Но они о них мечтают. Я позже расскажу о прекрасном способе пропаганды и действий, который они изобрели и который называют *законной политической агитацией*. В научной экономике новой империи она играет важную роль предохранительного клапана, но они ждут от нее чудес. До настоящего времени все это привело лишь к нескольким красивым, но бесплодным речам пророков в пустыне, произнесенных двумя или тремя депутатами-социалистами, утонувшими в буржуазной массе национального парламента. Все это время панславистская Россия и пангерманская Пруссия, нежно слившись в реакционных объятиях, мало говорят и много делают.

Пусть не говорят, что, будучи сам русским патриотом, я стараюсь, в свою очередь, привлечь внимание трудящихся Западной Европы к честолюбивым и гибельным проектам новой империи, буржуазной цивилизаторской Германии, с единственной целью отвлечь его от весьма реальных и серьезных опасностей, которыми деспотичное варварство царей со всей очевидностью угрожает сегодня делу освобождения человечества и зарождающейся цивилизации народных масс — единственному, чему можно, по здравом рассуждении, поклоняться, — но которую добрые буржуа всех стран Европы, столь же напуганные, сколь возмущенные этим одновременным пробуждением черни, до сих

пор их смиренной и покорной кормилицы, любят называть *революционным варварством* невежественной толпы, безумно и мятежно взбунтовавшейся.

Мое намерение вовсе не таково. Я не стал бы, впрочем, оправдываться перед самим собой, поскольку с тех пор, как я сделал свой первый шаг в общественной жизни, то есть с 1842 года и до сего часа, в течение 30 лет непрерывной деятельности в лоне революционного социализма, я не упускал ни одного случая протестовать всей силой своего разума и сердца против российской державы, против московской империи и срывать маску со всех ее жестокостей и мерзостей, как внутренних, так и внешних, представляя их всегда, в соответствии с исторической истиной, не как случайные или произвольные действия тех или иных личностей: царей, министров и других крупных или мелких военных, гражданских либо церковных государственных чиновников, но как фатальные следствия всей системы, как неизбежность, присущую самому принципу этой чудовищной империи. В 1848 году, как на первом славянском конгрессе, который собрался в июне в Праге, и я горжусь тем, что принял в нем участие, так и в брошюре, которую я опубликовал в октябре, в то время как Вена была осаждена генералом князем Виндишгрецем, расстрелявшим из орудий Прагу, я сделал все возможное, чтобы внушить австрийским *славянам*, что они окончательно похоронят свое столь справедливое дело, если попытаются взять ему в помощники московскую державу, и что у этого дела — реального освобождения народных масс, соединенного с требованием их национальной автономии, не было более ожесточенного, более жестокого, более опасного врага, чем Российская империя.

Мне было не трудно доказать им это, указав на пример Малороссии и Польши; первая по своей воле встала под защиту московских царей; вторая истерзана и порабощена с согласия двух великих германских держав той славянской державой, что называет себя защитницей славян; и та, и другая в равной степени доведены сейчас до столь опустившегося, столь ничтожного состояния, которое трудно представимо даже в славянских странах, находящихся под

игом немцев или турок. Я привел им, наконец, пример самой Великороссии, где все то, что составляет достоинство, право, жизнь и благополучие наций, с самого начала отдано на грубый и алчный произвол бесстыжей бюрократии и систематически приносится в жертву главной заботе и, образно говоря, религии империи: всесилию царя как внутри, так и вне страны.

Уже тогда, не останавливаясь на бесплодных и всегда напрасных обвинениях против личностей, более или менее представляющих эту державу, я стремился, главным образом, доказать, что зло и преступления, которые проявляются и позорят политическое существование империи, присущи самому принципу государства, и что для освобождения славянских или неславянских народов, стонущих под ярмом царей, нет никакого иного средства, кроме роспуска империи. Я добавлял, что, пока эта империя существует, русские, вынужденные союзники немецкой политики, неизбежно будут не братьями, а врагами славян. Пока она будет стоять, говорил я, вы всегда увидите ее на стороне двух великих германских держав, Австрии и Пруссии, ее неразлучных подруг и сообщниц, всегда плетущих заговоры и всегда действующих заодно против свободы славянских или неславянских народов.

Как следствие, я посоветовал австрийским славянам отринуть как опасных обманщиков или предателей пропагандистов *московского панславизма,* как и нового *австрийского славизма,* изобретенного или по крайней мере публично представленного в тот же год чешским историком, *доктором Палацким,* сторонниками которого были Ригеры, Браунеры, Туны и разные другие политические эквилибристы, о которых мне уже представился случай выразить свое мнение выше. Я им посоветовал принять полностью, исключая все иное, принцип народной, социальной и демократической революции, и, забыв обо всех исторических претензиях, изгнав из своих сердец глупые расовые предубеждения, протянуть братскую руку революционерам Германии и Венгрии, которые, со своей стороны, отбросив все мысли о господстве, искренне признали бы неоспоримое право славян на автономное существование.

В конце я завершил свою брошюру заявлением о моем глубоком убеждении, что освобождение славянских, немецких, венгерских, итальянских народов может произойти, а их свободные федерации могут создаться только на руинах российской, австрийской, прусской и турецкой империй.

Такой была брошюра*, ставшая основанием для обвинений, брошенных мне в 1868 году тем самым *господином Боркхеймом*, которого я, не без причины, назвал исполнителем возвышенных сочинений и распространителем не столько мыслей, сколько личной злопамятности гражданина К. Маркса. В серии статей, опубликованных в берлинском «*Zukunft*» («Будущее») — тогда главном органе буржуазной демократии на севере Германии, учредителем или главным редактором которого был *доктор Якоби* из Кенигсберга, — *господин Боркхейм*, вооружившись всем тем арсеналом глупостей, гадкой злобы и грязи, на которые он, кажется, имеет монополию, атаковал меня с пылкой яростью. Его статьи, полные гнусных и нелепых намеков, были настолько лишены здравого смысла, были столь бессвязными, столь глупыми, что пробежав их дважды, я в них почти ничего не понял. Одно было очевидно: он обвинял меня в панславизме, цитируя при этом без разбора фразы, вырванные из брошюры, полностью направленной против панславизма. Невозможно было поверить своим глазам. Но такова добросовестность этих личностей, лишенных рассудка и нравственного сознания. Клевета, глупая и циничная ложь составляет их силу... Опустим это.

Эти глупые обвинения в панславизме с тех пор были повторены против меня многими другими немецкими и даже швейцарскими газетами, несомненно благодаря тому еврейскому франкмасонству, о котором я говорил выше, и которое почти безраздельно царит сегодня в немецкой журналистике. Я не думал, что должен был отвечать на эту столь же грязную, как и глупую ругань. С грязью не полемизируют. Но обнаружив все ту же клевету в форме вопроса в главном органе рабочей социал-демократии Германии, который тогда, не став еще полностью социалистическим,

* Призыв к славянам (Призыв к немцам) г-на Бакунина, 1849 г., Лейпциг.

и являясь, по крайней мере частично, органом буржуазной демократии, носил название «*Demokratisches Wochenblatt*» (Еженедельный демократический листок), а позже взял имя «Volksstaat» — «Фолькситат» (Государство народа), — очень серьезный листок, который тогда еще не позорил себя, становясь рупором Боркхейма, — я понял, что должен, наконец, на это ответить, и я, действительно, сделал это в речи о русском вопросе, которую я произнес на втором конгрессе Лиги мира и свободы, который собрался в Берне в сентябре 1868 года.

Да будет мне позволено воспроизвести сегодня ее заключительную часть*:

«Позвольте мне, господа, добавить к этой столь длинной речи, последнее замечание. Примерно год тому назад одна немецкая демократическая газета, издаваемая в Лейпциге, обращаясь ко всей русской демократической эмиграции, упомянув меня среди других имен, поставила нам следующий вопрос: «Вы называете себя демократами, социалистами, заклятыми врагами вашего правительства, но скажите нам, каковы ваши чувства, ваши мысли по отношению к намерениям вашей империи? Ненавидите ли вы так же как и мы сами порабощение Польши, Черкесии, Финляндии, провинций Балтии, ваши недавние завоевания в Бухаре и ваши проекты завоеваний в Турции?»

На этот вопрос, впрочем, вполне законный, я не счел необходимым ответить тогда; я отвечу на него сегодня. После того, что я только что сказал с этой трибуны, ответ будет прост. Впрочем, для всех порядочных людей он должен вытекать из речи, которую я произнес год тому назад на Женевском конгрессе. Так как мы хотим действительного и полного разрушения империи, мы можем только ненавидеть ее намерения, и, следовательно, также все завоевания, как на севере, так и на юге, как на востоке, так и на западе империи, и я полагаю в общем, что народу не может вы-

* Эта речь, которую можно, впрочем, обнаружить в официальных материалах этого конгресса, была отдельно опубликована под следующим названием: «*Речи, произнесенные на конгрессе мира и свободы* в Берне (1868 г.)» гг. Мрочковский и Бакунин. — Женева. 1869.

пасть более крупного счастья, чем поражение русских императорских армий от какого бы то ни было внешнего или внутреннего врага. Вот что касается главного принципа.

Теперь, отмечая несколько деталей и начиная с севера, я скажу: «Я желаю, чтобы Финляндия стала полностью независимой, полностью свободной организоваться так, как она того пожелает и вступить в союз с тем, с кем она захочет». Я говорю то же самое от всего сердца по отношению к провинциям Балтии. Добавлю только небольшое замечание, которое мне кажется необходимым, поскольку многие из немецких патриотов, и даже немецких республиканцев и социалистов, когда речь заходит о международной справедливости, как мне кажется, имеют два типа мер и весов: один для них самих, другой для иностранных наций, так, что зачастую то, что им кажется законным и справедливым, когда это делается для германской державы, становится в их глазах отвратительным, как только это на пользу иностранной державе.

Возьмем, господа, следующий пример: пусть немецкая страна, завоеванная иностранной державой, французами, например, оказалась сегодня в следующем положении: скажем, тринадцать четырнадцатых жителей этой страны — масса населения — остались чистыми немцами, и только четырнадцатая часть — горстка завоевателей и господ, дворянский или буржуазный привилегированный класс — стал французским. Я прошу задающих нам вопросы немцев ответить мне искренне, положа руку на сердце: эта страна, будет ли она считаться для них немецкой или французской? Я отвечу за них: без всякого сомнения, она не перестанет быть немецкой в их глазах. Она будет немецкой прежде всего из-за огромного немецкого большинства населения; немецкой также потому, что это большинство составляет угнетаемую, эксплуатируемую, производительную массу, народ тружеников, и потому что будущее, так же как их симпатии (я в этом ни секунды не сомневаюсь) и их чувство справедливости — на стороне трудящихся. Так вот, это в точности положение в провинциях Балтии. Откройте Кольба, великого статистика, которым гордится Германия, и вы увидите, что во всех провинциях Балтии,

включая Петербургскую губернию, насчитывается лишь двести тысяч немцев (Кольб насчитывает только шестьсот тысяч немцев). Ровно четырнадцатая часть населения.

А теперь посмотрим, из каких элементов состоит это ничтожно малое немецкое меньшинство? Прежде всего, это дворянские потомки тех набожных крестоносцев Ливонии, которые, с благословения пап, ради добычи чужого добра под религиозным предлогом подвергли огню и мечу эту несчастную страну. Кто они сегодня? Самые высокомерные вельможи по отношению к народу, который они продолжают эксплуатировать, и самые услужливые и преданные слуги петербургского императора. Если наши друзья, немецкие демократы, хотят их забрать, если они думают, что дворы королевского дворца в Берлине не достаточно заполнены померанскими юнкерами, пусть их забирают! Затем, это пасторы лютеранской конфессии: самое, что есть неподвижное, одеревенелое и ортодоксальное в протестантизме. Они — самые любезные слуги земельных вельмож, ради блага которых они стараются убить или обездвижить сознание несчастных латышских или финских крестьян. Наши немецкие друзья, хотят ли они, принимая их в подарок, увеличить число своих собственных наемных попечителей народного невежества? Наконец, остается буржуазия. И видит Бог, она не лучше и не хуже, чем мелкая, средняя и крупная буржуазия городов Германии; зарабатывая на жизнь своим трудом, или же эксплуатируя, когда возможно, но без слишком большой злобы, труд других, она — верноподданный российских императоров, и она останется таковой для всех других правителей, которые захотят навязать ей свою власть. В какой-то момент она, действительно, может возражать своим хозяевам, но она не восстанет никогда. Так как рассуждать и всегда повиноваться — вот ее миссия на земле.

Все остальное население — два миллиона шестьсот тысяч против двухсот тысяч — финское или латышское, то есть абсолютно чуждое немецкой национальности; даже более, чем чуждое — враждебное, так как нет имени, более отвратительного для этого народа, чем имя немцев. И в этом нет ничего сверхъестественного: разве раб любил

когда-нибудь своего мучителя и своего хозяина? Я сам слышал однажды от крестьянина Ливонии: «Мы будем ждать момента, когда сможем вымостить рижский тракт черепами немцев».

Вот, господа, страна, которую германские газеты представляют вам как немецкую. Является ли она от этого русской? Нет, ничуть. Будучи вначале немецкой, затем русской по праву завоевания, то есть через жестокую несправедливость, нарушение человеческого или естественного права, она по природе, инстинктам и воле своих жителей ни русская, ни немецкая, она финская и латышская. Чем она станет в будущем, к какой национальной группе она сама захочет примкнуть? Кто его знает? Что точно, и что ни один искренний и серьезный демократ, будь то русский или немец, не осмелится отрицать, это ее неоспоримое право располагать самой собой, независимо от желания тех двухсот тысяч немцев, которые ее угнетали, угнетают и которых она ненавидит, независимо от великой германской конфедерации севера, так же как и всероссийской империи.

Перейдем теперь к Польше. Вопрос мне кажется также простым, коль скоро мы хотим его разрешить с единственной точки зрения — справедливости и свободы: все народы, все страны, которые захотят принадлежать новой Польской конфедерации, будут польскими; все те, кого это не интересует, ими не будут. Русинское население Белоруссии, Литвы и Галиции объединится с кем захочет, и никто не сможет определить сегодня его будущую волю. Самым вероятным и самым желательным мне представляется то, чтобы Малороссия образовала с ним вначале национальную федерацию, столь же независимую от Великороссии, как и от Польши.

Наконец, сама Великороссия, этот народ с тридцатью пятью миллионами жителей, останется ли он политически централизованным, как сегодня? Это ни желательно, ни вероятно. Централизация тридцати пяти миллионов жителей никогда не сможет стать свободной внутри, мирной и справедливой снаружи. Великороссия, как и все другие славянские и неславянские нации, следуя основному течению века, которое настойчиво требует роспуска всех боль-

ших и малых политических центров власти, всех чисто политических институтов или организаций, и образования новых социальных групп на базе объединившегося труда, чтобы прийти позже ко всемирному товариществу, — Великороссия, как и все другие страны, которых коснется перст социальной и демократической Революции, начнет с самороспуска как политического государства, чтобы свободно преобразоваться снизу доверху и от окраин к центру в соответствии со своими нуждами, своими инстинктами, своими привязанностями и своими интересами, как индивидуальными, так и коллективными и местными на этой самой базе, которая является единственной, на которой могла бы основываться подлинная справедливость и реальная свобода.

Наконец, чтобы подвести итог, я повторю энергично: да, мы хотим решительного роспуска всероссийской империи, полного уничтожения ее мощи и ее существования. Мы хотим этого как в силу человеческой справедливости, так и патриотизма.

И теперь, когда я довольно ясно объяснился таким образом, который, как мне кажется, не оставляет места никакой двусмысленности, пусть мне будет позволено задать один вопрос нашим немецким друзьям, ставящим свои вопросы.

В своей любви к справедливости и свободе, хотят ли они отказаться от всех польских провинций, каким бы ни было их географическое положение и их стратегическая или коммерческая полезность для Германии, хотят ли они отказаться от всех польских краев, население которых не собирается быть немецким? Хотят ли они отказаться от своих так называемых исторических прав на всю ту часть Богемии, которую немцы не сумели германизировать теми милыми историческими средствами, иезуитскими и безжалостно деспотическими, которые нам известны, на ту страну, где живут моравы, силезцы и чехи, и где, увы, не слишком законную ненависть к немецкому господству невозможно отрицать? Хотят ли они отвергнуть во имя справедливости и свободы честолюбивую политику Пруссии, которая, во имя морских и коммерческих потребностей Германии, хочет силой включить датское население

Шлезвига в Великую германскую конфедерацию Севера? Хотят ли они прекратить требовать, во имя тех же самых коммерческих и морских потребностей, город Триест, который скорее славянский, чем итальянский и гораздо более итальянский, чем немецкий? Одним словом, хотят ли они отказаться, со своей стороны, как они того требуют от других, от всякой государственной политики, и принять на себя, как другие, все условия, равно как и все обязанности справедливости и свободы? Хотят ли они принять со всей искренностью и во всех своих приложениях следующие принципы, — единственные, которые могли бы обеспечить возможность мира и международной справедливости:

1. Отмена всего того, что называется политическим правом и политическими договоренностями государств, во имя высшего права всех народов, малых и больших, слабых и сильных, равно как всех личностей, располагать самими собой с полной свободой, не взирая на потребности и претензии государств, и не имея иного ограничения этой свободы, чем право равное праву других;

2. Отмена всех постоянных договоров между личностями, равно как между всеми коллективными объединениями, ассоциациями, провинциями или нациями; что означает признание за любым населением, даже свободно присоединившимся к другому, права разорвать этот договор, выполнив все предусмотренные им временные и ограниченные обязательства. Это право основано на принципе — существенном условии реальной свободы, — что прошлое не должно связывать настоящее, как и настоящее никогда не может обязывать будущее, и что суверенное право всегда находится у живущих поколений;

3. Признание права на отделение для личностей, равно как для ассоциаций, коммун, провинций и наций при том единственном условии, чтобы новым союзом с враждебной и иностранной державой выходящая часть не подвергала опасности независимость и свободу оставляемой ею части.

Вот подлинные, единственные условия справедливости и свободы. Наши немецкие друзья, хотят ли они принять их так же искренне, как принимаем их мы? Проще

говоря, хотят ли они, как и мы, отмены государства, всех государств?

В этом, господа, весь вопрос. Кто говорит государство, говорит насилие, угнетение, эксплуатация, несправедливость, возведенные в систему и ставшие потому фундаментальными условиями существования самого общества. Государство, господа, никогда не имело и не может иметь нравственности. Его мораль — своя собственная справедливость, то есть высший интерес своего сохранения и всемогущества, цель, перед которой должно склониться все человеческое. Государство — это само отрицание человечества. Он является им вдвойне: и как противоположность человеческой свободе и справедливости, и как насильственное препятствие всемирной солидарности рода человеческого. Всемирное государство, которое неоднократно пытались построить, каждый раз оказывалось невозможным, поскольку если существует государство, всегда будут государства; и каждое из них, представляя себя как абсолютную цель, устанавливает культ своего существования как высший закон, исключающий все другие. Из этого следует, что само существование государств предполагает постоянную войну, насильственное отрицание человечества. Любое государство должно завоевывать или быть завоеванным. Любое государство должно основывать свою силу на слабости и, если оно может это сделать без риска для себя самого, на уничтожении других государств.

Господа, желать того, что хочет этот конгресс, желать установить международную справедливость, свободу и вечный мир, и хотеть одновременно сохранения государств, было бы, на наш взгляд, нелепым противоречием и наивностью. Заставить государства изменить свою природу невозможно, потому что именно вследствие этой природы они — государства, и они не могут от нее отказаться, не перестав существовать. Следовательно, господа, нет и не может быть хороших, справедливых, добродетельных государств. Все государства плохи в этом смысле, поскольку по своей природе, то есть в своей основе, по условиям и высшей цели своего существования, они полностью противоположны человеческой справедливости, свободе

и морали. И в этом отношении, что бы об этом ни говорили, нет большой разницы между дикой всероссийской империей и самым цивилизованным государством Европы. Знаете ли вы, в чем эта разница состоит? Царская империя делает цинично то, что другие делают лицемерно. Царская империя, со своим откровенным деспотическим и пренебрежительным к человечеству образом действий — идеальное тайное знание, к которому тянутся и которым восхищаются все государственные люди. Все государства Европы делают то же, что и она, насколько общественное мнение и, главным образом, новая, но уже мощная солидарность рабочих масс Европы — все то, что содержит ростки разрушения государств, — это позволяют. Среди государств, господа, добродетельными бывают только бессильные государства. Но и при этом они весьма преступны в своих мечтах.

Я заключаю: кто хочет вместе с нами установления свободы, справедливости и мира, кто хочет триумфа человечества, кто хочет решительного и полного освобождения народных масс, должен желать, как и мы, растворения всех государств во всемирной федерации свободных производственных товариществ всех стран».*

Я, полагаю, достаточно сказал, чтобы доказать, что я не панславист, и что я никогда не прекращал бороться с панславизмом, врагом которого я являюсь больше, чем кто-либо. Но в то же самое время и по тем же причинам я — враг пангерманизма, и вот это то, что граждане социал-демократы Германии не хотят и не могут мне простить.

Пангерманизм и панславизм в моих глазах — два монстра, одинаково вредных для свободы, мира, освобождения рабочих масс и человеческой цивилизации Европы. Вечные противники, постоянно сталкивающиеся в ожесточенной борьбе, подобно церкви и государству, они неотделимы, и как и они, будучи не в силах уничтожить друг друга, они

* Речи, произнесенные на конгрессе мира и свободы в Берне (1868 г.) гг. Мрочковский и Бакунин — Женева: изд. Чернецкого, 1869. — стр. 17-23.

взаимно провоцируют, узаконивают, порождают, увековечивают свое существование.

Пролетариат Европы не может оставаться зрителем, безразличным к этому двойному существованию, к этому двойному действию, на внешний вид противоположному, но в действительности идентичному, ставшему солидарным благодаря сходству цели — порабощения мира либо германизированным монгольским игом Петербурга, либо монголизированным германским игом Берлина, направленными сегодня, главным образом, против освобождения пролетариата.

Таким образом, германо-славянский вопрос интересует все Международное товарищество рабочих в наивысшей степени. Он интересует его как в настоящем, так и в будущем. Поскольку это товарищество вовсе не академия, а весьма практическое сообщество, преследующее прежде всего практическую цель: реальное, а не только идеальное или духовное освобождение пролетариата. Но кто бы ни стремился к осуществлению практической цели, он не может остаться безразличным к реальным условиям среды, к которым он должен неизбежно приспосабливать свое действие, чтобы не сделать свои усилия немощными и бесплодными.

Эта необходимость приспосабливать свое действие к существующим условиям среды придает Интернационалу *политические* характер, направленность и цель.

«Вот, — скажут наши противники, — наконец-то и вы сами признаете, что Интернационал никогда не должен отделять экономический вопрос от политического». Да, несомненно, мы это признаем, и, более того, мы этого никогда не недооценивали. Это неправда, и позвольте вам это сказать, это неслыханная злонамеренность — обвинять нас в том, что мы абстрагировались от политики. То, что мы всегда отвергали и то, что продолжаем энергично отвергать сегодня, это не политику вообще, а вашу политику социалистов-буржуа, социалистов-патриотов и социалистов-государственных деятелей, политику, которая, как неизбежное следствие, всегда ставит пролетариат в хвост буржуазии.

Между вашей и нашей политикой, действительно, пропасть. Ваша политика *позитивная*, наша — полностью *негативная*. Вы хотите любой ценой, вдохновленные либо честолюбивыми или корыстными соображениями, либо вашими доктринерскими теориями, сохранить государство, этот первый и последний окоп всех эксплуататоров народного труда, эту тюрьму и извечный работный дом, который, неся на своем фасаде эти два роковых и обманчивых слова: *религия и родина*, под предлогом того и другого всегда душил развитие народной жизни и приговорил миллионы обездоленных влачить опустившееся, рабское, нищенское существование ради высшей цивилизации, свободы и благополучия нескольких привилегированных меньшинств. Позитивные политики, радикалы взявшиеся за социализм, доктринерские и авторитарные коммунисты или государственные социалисты, вы не хотите разрушить эту тюрьму; вы хотите ее только реформировать, улучшить ее конституционными средствами и тем, что именно вы называете законной агитацией; вы хотите лишь ее расширить, и воображаете, что, когда вы вырежете на ее фасаде, вместо отныне пустых слов «религия» и «политическая родина», два других таких же обманчивых слова: *народное государство*, вы *превратите ее в сносное и удобное жилище для народных масс, которые останутся там заключенными и лишенными всего, как и сейчас, в своей прежней тюрьме*! И, удивительная вещь! Вы претендуете на то, что народ предложит вам свою сильную руку, чтобы воздвигнуть эту новую тюрьму для себя самого!

Итак, мы не разделяем ни ваших надежд, ни ваших желаний, ни ваших расчетов, ни ваших иллюзий! Мы считаем, что народным массам всех стран Европы, не исключая славян, и любому из народов, заключенных сейчас в этой злополучной всероссийской империи, надоело их вечное заточение, и что они больше не хотят ни руководящих тюремщиков, ни благотворителей, ни какой-либо тюрьмы. Мы видим, как повсюду они требуют себе свободы, яркого солнца, свежего воздуха; и вместе с ними, в противоположность вам, мы во весь голос требуем не реформы, но уничтожения всех тюрем: *отмены государства*, всех

государств. Такова единственная цель политики Интернационала, так как мы ее понимаем, так как ее чувствует и требует инстинкт пролетариата всех стран, не исключая, разумеется, пролетариат Германии. Как вы прекрасно видите, это *исключительно негативная политика* и, если я осмелюсь так выразиться, это политика уничтожения, а не политической перестройки; это всемирное разрушение политического мира, то есть всей организованной системы господства и эксплуатации.

В этом смысле, но только в этом смысле, мы никогда не прекращали рекомендовать Интернационалу уделять большое внимание политическому вопросу. (Посмотрите на серию статей, опубликованных под названием: «*Политика Интернационала*» в июле и августе 1869 года, газетой «*Равенство*» («*Egalité*»), которая в то время еще не стала органом интриганской и реакционной клики, доминирующей, к несчастью, сегодня в Интернационале Женевы. Эти статьи были воспроизведены «*Интернационалом*» («*l'Internationale*»), органом бельгийской федерации, и «*Федерасьон*» («*Federación*»), органом группы интернациональных секций Барселоны.)

Существование государства, исторического института, неотделимого от церкви, которая представляет божественную власть и то, что называют духовной властью на земле, лишь временной реализацией которой является государство; института, который уже по этой причине никогда не имел и не может иметь иной цели, чем освящение, гарантия и правильная организация права на завоевание, с одной стороны, и экономических привилегий с другой, то есть абсолютное и непосредственное отрицание человеческих прав и свобод; существование государства, очевидно, несовместимо с осуществлением цели, которую ставит себе Международное товарищество рабочих, и которая является ничем другим, как освобождением пролетариата; отсюда ясно, что это великое Товарищество, если не хочет обречь себя на безнадежную никчемность или стать лишь академией бессильных мечтателей, как эта жалкая буржуазная Лига мира и свободы, должно приложить все свои усилия, не только теоретические, но и практические, прежде всего

к достижению единственной цели: *уничтожению государства, государств.*

Вот в каком смысле, не *«завоевания политической власти»*, как того требует гражданин К. Маркс в составленном им манифесте, а уничтожения этой власти во всех ее возможных формах и проявлениях, вот смысл, в котором мы тоже готовы подписаться под статьей программы социал-демократической партии немецких рабочих, которая декларирует, *что политическое освобождение — предварительное условие* или, согласно новой версии, *обязано сопровождать экономическое освобождение.* Да, мы также всегда понимали, что пока существуют все эти теологические или метафизические, политические и юридические институты, совокупность которых составляет буржуазную цивилизацию, и которые, основываясь единственно на экономической несправедливости, имеют целью защитить и продлить до бесконечности ее существование, все усилия пролетариата завоевать свои права человека, осуществить свободу, равенство, справедливость, останутся напрасными. Они могут мечтать, дискутировать, желать их, но не получить. Если они хотят их осуществления, они должны прежде всего расчистить дорогу от всех тех препятствий, которые мешают абсолютно любому действию, кроме одного: сорганизоваться, чтобы сплотить силу, способную разрушить препятствия.

Но когда хотят создать силу, прежде всего определяют ее цель; так как от сути этой цели в решающей степени зависит способ и сама природа ее организации! И именно здесь мы кардинально расходимся с социал-демократами Германии. Будучи прежде всего социал-патриотами и политическими деятелями, они хотят руками немецкого народа создать новое великое германское республиканское и, так сказать, народное государство, что означает, по нашему мнению, намерение воздвигнуть новую тюрьму для немецкого народа и крепость, угрожающую свободе всех соседних народов. А мы хотим уничтожения всех этих тюрем-крепостей, исчезновения всех политических родин в братском союзе, свободной федерации народов, скинувших ярмо государств. Их позитивной политике, мы проти-

вопоставляем нашу негативную политику, политику ликвидации государств.

Поскольку поставленные нами цели столь отличаются, организация, которую мы рекомендуем рабочим массам, должна существенно отличаться от их. Желая не уничтожения, а трансформации государства, то есть преследуя политически позитивную цель, они должны стать союзниками *политических классов*, естественно, наиболее прогрессивных, но буржуазных. Но каждый раз, когда рабочие товарищества становятся союзниками политики буржуазии, волей-неволей, они не могут стать ничем иным, как ее инструментом. Именно так группы секций интернационала в Женеве и Цюрихе, которые приняли, как известно, программу социал-демократов Германии, явно стали сегодня инструментами буржуазного радикализма.

Мы полагаем, что это печальное заблуждение. Мы считаем, что для пролетариата *главный и можно даже сказать* единственный враг — буржуазная эксплуатация, само государство со всей своей репрессивной и гнетущей мощью, и *в какой бы форме оно ни существовало*, оно не является сегодня больше ничем иным, как следствием и, одновременно, гарантией этой эксплуатации; мы считаем, что пролетариат должен искать основы своей силы исключительно в самом себе, и что он должен сплотить ее, совершенно исключая буржуазию, против нее и против государства, совершенно справедливо рассматриваемого ею, как последнее и самое сильное средство своего спасения. Когда мы говорим о необходимости абсолютного исключения буржуазного элемента, любого влияния и союза с буржуазией, организации новой силы пролетариата, мы подразумеваем под этим исключение буржуазии как класса, как любой буржуазной мысли и политики, а не как исключение убежденных и преданных личностей, которые, хотя и рождены и воспитаны в буржуазной среде, отворачиваются от своего класса и, порывая с его корыстью, тщеславием и сознанием, отдают свою душу и тело делу пролетариата, отождествляясь с его чаяниями, разделяя его законные чувства и принимая всю его программу, которая, одновременно, является программой будущего. Эти личности ценны

уже по причине своей подготовки и понимания буржуазной политики, которые они привносят — не политику, а необходимое понимание ее — в рабочие массы. В Италии, например, как я уже говорил, сейчас имеется большое число искренних добровольцев, вышедших из буржуазного класса, которые стали горячими, искренними, отважными и неутомимыми пропагандистами принципов Интернационала, которому они оказывают неоценимую услугу. Без них было бы чрезвычайно трудно, если не невозможно, создавать секции интернационала в Италии. Не то, чтобы народной стихии и инстинктов там не хватает; они там, напротив, шире развиты, чем в других странах Западной Европы. Но познания итальянского пролетариата крайне слабы, и итальянские рабочие, привыкшие, чтобы их вели буржуазные руководители, не приучены еще к инициативе. Они не преминут скоро взять ее в свои руки, я в этом уверен, и тогда задача и роль буржуазных революционных социалистов Италии сведется к более скромным пропорциям. Но в настоящее время их инициатива еще необходима, и, ограничивая ее, мы причинили бы большой ущерб развитию Интернационала в этой стране.

На Женевском конгрессе был целый небольшой отряд делегатов, в большинстве своем французов и, главным образом, парижан, которые с большой настойчивостью требовали исключения, вначале абсолютного, а позднее, чувствуя свое поражение на этом поле, по крайней мере относительного, всех буржуазных личностей, тех, кого они называли работниками умственного труда, из Международного товарищества.

Это неблагородное, несправедливое предложение, внушенное столь же малодушным, сколь мелким чувством недоверия, совершенно несоответствующим величию цели, которую Международное товарищество рабочих поставило себе с самого начала: освобождению не какого-то класса, а всего человечества; у этого предложения, сделанного парижской делегацией на Женевском конгрессе, было, в некотором роде, оправдание — печальный опыт прошлого, в основном, французского пролетариата, вера которого в демократические обещания буржуазного радикализма была

столь жестоко предана в июне 1848 года и позднее. Но оно одновременно проявило в этих представителях парижского пролетариата серьезное неверие в возможности, рассудок и силу духа того рабочего класса, от имени которого они говорили. Гг. Толен и Фрибур, сегодня оба — ренегаты Интернационала, бывшие на Женевском конгрессе главными инициаторами и защитниками злополучного предложения, довели выражение этого недоверия до презрения, оба противопоставив себя невежественной толпе, как истинные аристократы мысли, то есть как буржуа. Среди многих прочих аргументов, господин Фрибур выразил, например, такое опасение, «*что в один прекрасный день может произойти, что конгресс рабочих будет состоять большей частью из экономистов, журналистов, адвокатов, хозяев, и т. д., нелепая вещь, которая похоронит Товарищество*»*. Но он не подумал, что для того, чтобы этот действительно катастрофический факт мог бы иметь место, нужно, чтобы пролетариат Франции и целой Европы оказался бы в совсем прискорбном состоянии интеллектуальной и духовной ничтожности. Но если бы таковым его состояние было в действительности, — а оно именно таково в ярких мыслях и сознании гг. Фрибура и Толена — для чего ему нужны были бы конгрессы, и не было бы ему безразлично, кто его там представляет, буржуа по рождению или по своим претензиям и духу, как они?

Однако дело в том, что в рабочем классе существует небольшое число рабочих полулитераторов, претенциозных, тщеславных, честолюбивых, которых по справедливости можно было бы назвать рабочими-буржуа. Они любят представлять себя руководителями, чем-то вроде государственных деятелей от рабочих товариществ, и понятно, что они боятся состязания с теми, кто вышел из класса буржуазии, часто более преданными, скромными и менее честолюбивыми, чем они сами, теми, кто мог бы, даже не желая того, заслонить и уничтожить их превосходством своей подготовки. Я всегда видел, что этот протест против допуска искренне преданных буржуа исходил не из рабо-

* Материалы конгресса Межд. тов. рабочих — и т. д., Женева, 1866.

чей массы, которая, сознавая свою силу, не предается столь мелочным опасениям, но как раз от этих претенциозных и честолюбивых руководителей, которые, скрывая под рабочей блузой вовсе не социалистические намерения и охотно предаваясь любым интригам буржуазной политики, слишком часто становятся только подстрекателями реакции.

Отступничество гг. Толена и Фрибура тому поразительный пример.

Есть только одно средство положить конец всем амбициозным проискам внутри Интернационала: сделать так, чтобы вообще не было руководства.

Уничтожение государства — такова политическая цель Интернационала, осуществление которой есть *предварительное условие* или необходимое сопровождение экономического освобождения пролетариата. Но эта цель не может быть достигнута сразу; так как в истории, как и в физической природе, ничто не создается сразу. Даже самые внезапные, неожиданные и наиболее радикальные революции всегда подготавливались длительным трудом разложения старого и формирования нового, работы подспудной или видимой, но никогда не прерывавшейся и постоянно возраставшей. Таким образом, для Интернационала тоже, речь не идет о том, чтобы разрушить с сегодня на завтра все государства. Предпринять это или даже мечтать об этом было бы сумасшествием.

Время, когда верили в чудеса, то есть в произвольное прерывание естественного и неизбежного хода вещей, будь то в физическом мире или в человеческом обществе, некими абсолютно стихийными и оккультными силами, прошло. Любая внезапная, неподготовленная всем необходимым развитием прошлого революция, произведенная только по свободной воле нескольких личностей, либо даже по коллективному, но произвольному желанию огромного товарищества, была бы настоящим чудом, а, следовательно, невозможной! В реальном мире, включая физическую природу и человеческое общество, второе, впрочем, является лишь последним воплощением первого на этой земле, никогда не было создания, было только необходимое превращение; превращение, в котором самые свободные мысли

и самые мощные и, на первый взгляд, самые независимые желания, сами являются лишь проявлениями, производными и, одновременно, производящей средой.

Все это применимо к Интернационалу. Он вовсе не творец или первопричина великой революции, которая готовится и уже происходит в мире; он ее проявление, производственный инструмент и, одновременно, продукт. Он — последнее слово истории: возникнув из самой глубины современных общественных потребностей, он — верный признак разрушения старого мира, сильный, но не произвольный, и сильный именно потому, что не произвольный, инициатор новой организации, ставшей, самой силой вещей и вследствие необратимого развития человеческого общества повсеместно необходимой.

Старый мир, который разлагается сам по себе, — это теологическая, авторитарная, доктринерская, политическая цивилизация, сперва аристократическая, затем буржуазная, но всегда эксплуатирующая, правящая, подавляющая церковью и государством. Новая организация — это организация миллионов трудящихся, которые, не признавая более иных основ, кроме труда, равенства, свободы, справедливости и науки, одним словом всего того, что действительно является человечеством на этой земле, и которые, не находя вне своих товариществ ничего, кроме гнили и развалин, стараются установить на руинах этого уходящего старого мира человеческий порядок. Это разрушение и это формирование, будучи одинаково необходимыми, как видите, связаны. Второе — неизбежное следствие первого. Переход между ними называется революцией. Таким образом, Международное товарищество рабочих, которое понимает под негативным действием разрушение, а под позитивным — новую организацию, является в главном и независимо от своей воли революционным. Подготавливая и организуя основы нового общества, оно активизирует разрушение старого мира, а сталкивая его в бездну, оно делает все более и более осуществимым позитивное дело организации.

Эти две тенденции Интернационала, одна негативная и другая позитивная, таким образом, неотделимы. Ни одной

из них нельзя пренебречь или извратить ее так, чтобы другая от этого незамедлительно не пострадала. От второй зависит сила разрушения и, одновременно, ее право разрушать; от первой — сама возможность полной и окончательной организации.

В статье, озаглавленной: «*Съезд в Сонвилье и Интернационал*», «Фольксштат» от 10 января 1872 года, вылив, естественно, на нас всю свою обычную гнусную клевету, на которую я отвечу здесь же, с высоты своей патриотической и буржуазной политики объявляет весьма нелепым следующий параграф *циркуляра Юрского съезда*, из которого была предусмотрительно изъята главная фраза, которую я воспроизвожу подчеркнутой, и которая протестует против авторитарной организации, которую Генеральный совет в Лондоне хотел бы навязать Интернационалу. Вот, прежде всего, параграф циркуляра: «Будущее общество должно представлять собой не что иное, как сделанную всеобщей форму организации, которую придаст себе Интернационал. Мы должны поэтому добиться того, чтобы эта организация была возможно ближе к нашему идеалу. *Как может свободное общество равных выйти из авторитарной организации? Это невозможно*. Интернационал, зародыш будущего человеческого общества, должен быть уже сейчас верным отображением наших принципов свободы и федерации и должен выбросить всякий закравшийся в него принцип, который ведет к авторитарности и диктатуре».

Возмущенный вашим энергичным протестом во имя свободы, богини, пока неизвестной в Германии, против этого проклятого принципа авторитарности, управляемости и дисциплинарного рабства, который, кажется, был передан, как историческое национальное наследие, даже социал-демократам этой великой страны, «Фольксштат» восклицает:

«Нас, немцев, ославили за наш мистицизм, но до такого мистицизма нам далеко!»

Пусть «Фольксштат» успокоится. Обвинение в мистицизме могло быть адресовано немцам до 1848 года. Но с того времени, ставшего для всей Германии эпохой резкого

перехода от теории к практике, никто больше и не мечтает о том, чтобы упрекнуть их в этом. На самом деле, они стали очень практичными. К несчастью, как я, кажется, уже констатировал и показал, этот новый совершенно практический разум, которым они были озарены, начиная с этого памятного года, поставил их в абсолютное противоречие со всеми их прошлыми гуманитарными мечтами. Насколько те были красивы, справедливы, человечны, настолько внушения первого злобны, недалеки и безобразны. Немецкие мечты сделали из Германии глубоко симпатичную нацию, уважаемую всем миром. Ее реальность, ее недавняя практика превратили ее в ненавидимую нацию, сделали из нее угрозу для всего мира.

В 1848 году я часто слышал в Германии, как на все многочисленные протесты, которые еще поднимались под влиянием чего-то вроде воспоминаний о прошлом даже из стана буржуазии, апостолы, доктринеры этого нового политического разума отвечали такими значительными словами, которые разносились потом во всей стране, единогласно повторялись ею, как грозный приказ: «*Будем практичными*! Хватит восторженных увлечений, хватит юношеских мечтаний, так как мы должны основать великое государство Германии. *Будем же практичными*!»

И они действительно были практичными. Вследствие молчаливого соглашения между либеральной и умеренной буржуазией и буржуазными и даже социал-демократами городов, первое, что они сделали во всей Германии, это парализовали революционное движение крестьян, которые, как и в 1830 году, крайне недовольные своим экономическим положением, еще не полностью свободным от феодального рабства, кажется, были готовы повторить великое восстание 1524-1525 годов. Для меня нет никакого сомнения в том, что, если бы немецкие демократы были большими революционерами и меньшими доктринерами, чем в действительности, и вместо того, чтобы искать спасения в своих национальных и местных парламентах, протянули бы руку этому стихийному движению деревни, как всегда, направленному, естественно, против замков благородных вельмож и других крупных землевладельцев; прибавив к

этому еще и возмущение черни городов, посреди всеобщего беспорядка и полного бессилия правительств в течение марта и апреля, они могли бы обеспечить триумф серьезной революции в Германии.

Но великая революция, настоящая, живая, энергичная, искренне народная, революция событий, а не фраз шла слишком вразрез с привычкой к порядку и *социально-консервативными* инстинктами даже самых социалистических буржуазных демократов Германии, которые, возможно, сами того не подозревая, являются почитателями прежде всего *общественного порядка*. Они не допускают, что народные массы, невежественная и грубая толпа, может хотеть, действовать и самоорганизоваться. Она им нужна дисциплинированной и, следовательно, они хотят любой ценой ею управлять. Таким образом им нужна или диктатура — и какими бы мечтателями они себя ни называли, они сегодня мечтают о ней больше, чем когда-либо — или парламентское правительство. В 1848 году диктатура была, разумеется, невозможна, вследствие чего они пытались сделать то, что они называли революцией, посредством своих парламентов.

Парламенты Германии в 1848 году делали то, что все парламенты мира делают во время революции: много революционных фраз и много дел, если не прямо реакционных, то, по крайней мере, всегда благоприятных окончательному триумфу реакции. Правительства Германии позволили им заниматься этим довольно долго, чтобы они совершенно дискредитировали себя во мнении народных масс, и когда равнодушие, чтобы не сказать полное недружелюбие этих масс к этим академиям буржуазных болтунов стало достаточно очевидным фактом, они предписали и выполнили роспуск парламентов без какого-либо затруднения.

Постоянно вдохновленные этим новым практическим духом, который, начиная с этой эпохи, просто не прекращал озарять политических деятелей и партии Германии, парламенты образца 1848 года, естественно, не смогли сделать ничего серьезного и прочного для свободы, но зато они подготовили основы нынешнего германского единства. В этом смысле можно сказать, что псевдореволюци-

онность немецких патриотов 1848 года была для Бисмарка в 1871 году тем же, чем был во Франции генерал Кавеньяк для Наполеона III — предшественником.

Сегодня, как всегда во имя все того же практического духа, глашатаи и руководители партии социал-демократов Германии осуждают то, что они называют «нашим *мистицизмом*», нашими мечтами. Как и буржуазные демократы в 1848 году, или как уже сегодня видный итальянский патриот и теолог Мадзини, хотя и иначе, чем Мадзини, обращаясь к свидетельству атеистической науки, а не поверженного Бога, они прежде всего являются авторитарными централистами и доктринерами, и как таковые, опираясь на научную теорию К. Маркса, которую они, конечно, не *осмеливаются провозгласить* безупречной, *но которую они* недалеки от того, чтобы обожать, как христиане обожают свою Библию, или как сторонники Мадзини делают это с каждым словом, упавшим с пророческих губ их учителей, немецкие социал-демократы полагают и серьезно, страстно убеждены, что для собственного блага пролетариата необходимо, чтобы освобождение и вся будущая организация упали на народ как нечто вроде официального благословения с высоты центрального правительства, несомненно, весьма революционного, но в то же время очень сильного. Они рассматривают организацию этой новой власти и ее неоспоримое и сильное действие, по крайней мере в течение первых десяти или двадцати лет, которые последуют за необходимым, более или менее жестоким разрушением нынешней системы, как единственное средство обеспечить триумф социальной революции и установить на неколебимых основаниях новый порядок. Это кажется им настолько прозрачным и ясным, что исключает все недомолвки, и столь же простым, как выпить стакан воды. Они наивно удивляются, как можно сомневаться в том, чтобы признать добротность системы, которая, кажется, очевидна сама по себе, и они даже не подозревают об ужасных противоречиях, которые ей присущи и которые сводят ее к нулю, делая из нее утопию столь же обманчивую, сколь и опасную.

Эти противоречия, я не премину указать на них позже, ограничившись теперь лишь постановкой следующей ди-

леммы: или социализм социал-демократов искренен, и тогда им надо готовиться к огромному разочарованию, так как, если этот диктаторский, авторитарный, правительственный путь превосходен, чтобы основывать великие и мощные государства, именно потому, что он превосходен для этой цели, он негоден для основания и организации социального и экономического равенства, для реального освобождения народных масс; потому что это равенство и это освобождение могут быть лишь продуктом самой широкой свободы, то есть действия стихийной организации и естественного, а не искусственного и декретированного сверху объединения этих масс. Или их социализм лишь весьма вторичная страсть, и их желание осуществить полное освобождение народа уступает место желанию основать на спине народа и под предлогом социальной революции великое германское республиканское унитарное государство; тогда они, действительно, *очень практичные* люди, так сумеют использовать социалистическую пропаганду, эту грозную разрушительницу государств, в целях строительства государства. Они еще раз пожертвуют благополучием и свободой трудящихся ради политической державы.

Мы предпочитаем первое предположение второму. Они обманываются, но не обманывают. Они твердо верят, что диктатура необходима для освобождения пролетариата; и с того момента, как они обрели эту веру, не естественно ли, что вначале они стараются ввести ее принцип в саму организацию Интернационала, а затем считают нас противниками всякой власти, *анархистами*, заклятыми врагами любого правительства, крайне опасными врагами Интернационала?

Если бы они удовольствовались тем, чтобы атаковать нас на этом поле, в области наших принципов со всей возможной энергией, у нас не было бы никакого права жаловаться. Мы их атакуем и атакуем их точно так же, со всей силой, на которую мы способны. Так как наши убеждения по крайней мере так же серьезны и сильны, как и их. Но, видимо, сомневаясь в силе своих аргументов, они противопоставили нам гнусную клевету, грязные оскорбления, и это крайне гадко с их стороны.

Оставим эти неприятности и возвратимся к вопросу.

Если быть мистиком и мечтателем означает полагать, что Интернационал содержит зародыш всей организации будущего человеческого общества, мы смиренно признаем себя и мистиками, и мечтателями. Но сначала утешим себя, дорогие друзья, мы не абсолютно одиноки в своей вере. Я даже думаю, что она родилась или по крайней мере впервые самовыразилась вовсе не в горах Юры, а в бельгийском интернационале. В действительности, именно в обоих главных органах этой настолько уважаемой федерации, что сами немцы даже не осмеливаются атаковать ее в лоб, то есть в брюссельских «*Интернационале*» и «Свободе» («la Liberté»), мы впервые увидели эту сформулированную и развитую мысль, которая, впрочем, стала полностью нашей. Я думаю, что сейчас у нее много сторонников в Испании, Италии и во Франции.

Что касается этой последней страны, несомненным тому доказательством для нас служит единодушное членство женевской секции *пропаганды и революционного социалистического действия*, составленной в большей своей части из беженцев из Франции — преданных слуг Парижской коммуны, так же как *Французской федералистской секции 1871 года*, находящейся в Лондоне, обеих запрещенных произволом Генерального совета.

Находясь в столь приличном обществе, мы можем не беспокоиться о проклятиях, которые летят на наши бедные головы со стороны социал-демократов Германии. Но давайте посмотрим, не найдем ли мы еще большего утешения в самой сущности нашей веры.

Что, в действительности, она содержит? Прежде всего, полное недоверие ко всему, что прямо или косвенно относится к буржуазной цивилизации, политическому миру; и, одновременно, столь же мощная вера в необходимость реорганизации общества на единой основе уравнительного и свободного труда; свободного и в то же время обязательного для каждого и всех; но обязательного фактически и только самой силой вещей, а не по праву в политическом или юридическом смысле этого слова; никакой закон, даже непосредственно проголосованный народом, по нашему мне-

нию, не имеет права заставить человека делать то, что он не хочет делать. Существование подобного закона было бы достаточным, чтобы сделать иллюзорной любую свободу.

Правы мы или нет, чтобы с отвращением и презрением отталкивать политический мир? Мы не нанесем нашим немецким противникам оскорбления, доказывая им, что этот мир мертв и гнил. Они знают это так же хорошо, как и мы, и все больше утверждаются в этом с каждым днем. Хотя они это видят сейчас, четыре или даже три года назад они, несомненно, так не считали. Тогда, наверняка следуя своим вполне буржуазным предшественникам, они посчитали полезным заключить, от имени новой *рабочей социал-демократической* партии, образовавшейся, главным образом, в центре и частично также на севере Германии, оборонительный и наступательный союз с почившей ныне в бозе партией буржуазных демократов, называвшейся *Volkspartei* (Фолькспартай — партия народа), которая была представлена, главным образом, двумя газетами: «*Beobachter*» («Беобахтер» — наблюдатель) в Штутгарте, на юге Германии, и «*Zukunft*» («Цукунфт» — будущее) в Берлине, органом, основанным респектабельным и всеми уважаемым главой буржуазной демократии Германии, доктором Якоби из Кенигсберга, основной центр которого был в Штутгарте. Тогда у социал-демократов Германии, очевидно, еще была жива вера в жизненную силу и действия радикальной буржуазии. Эту веру, как доказывают все их оценки дел во время последней войны во Франции и их слепое доверие революционному гению *господина Гамбетты*, последнего хоть сколько-то героического представителя буржуазного радикализма, эту веру и это предрасположение, достаточно проявляющие естественные наклонности и буржуазную природу всех их инстинктов, они сохраняли слишком долго, с упорством, достойным лучшего применения. Но, наконец, в марте 1871 года они должны были открыть глаза и были вынуждены выбирать между народной и, по существу, социалистической революцией Парижской коммуны и буржуазной реакцией, представленной Версалем. Они открыто приняли сторону первой, реабилитировав тем самым предыдущие восста-

ния в Лионе и Марселе, которые вначале они столь строго осудили.

Лучше поздно, чем никогда, и мы должны быть им благодарны за эту перемену веры в последний момент, тем более, что они сделали это с искренностью, мужеством и твердостью, достойными всякого восхищения. Одни, посреди бисмарканизированной Германии, они не боялись навлечь на себя гнев жестокого, деспотичного правительства, ставшего сильнее, чем когда-либо, после всех побед, одержанных во Франции, и поддерживаемого неистовым и рабским энтузиазмом своей великой нации, добровольно превратившейся в раба.

Таким образом, сегодня иллюзия для них тоже стала невозможной; и если мы можем справедливо упрекнуть их в сохранении в своей нынешней программе, в качестве какого-то рокового наследства, еще слишком многих буржуазных принципов и тенденций, мы должны признать, что они открыто и окончательно порвали все свои предыдущие буржуазные союзы, и что у них нет больше никакой веры в жизненность и силу буржуазного радикализма. Они оставляют эту веру гг. Ш. Лемонье, Аманду Гегту и другим невинным мечтателям из Лиги мира и свободы, их бывшей союзницы несколько лет тому назад.

Буржуазная цивилизация, политический мир мертвы и гнилы в том смысле, что никто, и менее всего их представители, те, кто получает выгоду или привилегии от того и другого, не верит больше в их справедливость, их общественную полезность, их интеллектуальное и духовное право на существование. Они потеряли даже тень веры в самих себя, и потому они сегодня столь циничны и грубы. Зная, что они больше никого не могут обмануть, они почти не дают себе труда больше обманывать. Их порок не видит больше никакого смысла в том, чтобы оказывать это почтение добродетели, когда-то необходимое, но сегодня ставшее бесполезным. Скорее по привычке, чем от стыда, он еще прикрывается некоторыми прозрачными вуалями, не опасаясь выставить на глаза публики, которая не удивляется и не возмущается больше ничему, свою безобразную наготу. Поскольку столь сильно действовавшие когда-то на

воображение масс религиозные, метафизические, юридические, политические и патриотические верования сегодня бессильны их загипнотизировать, все доводы этого мира привилегированных сводится к следующему: «Мы уже здесь, нам тут очень хорошо, и даже ценой изнеможения и гибели человечества, мы хотим тут остаться». Дойдя до такой простоты доводов, не позволяя себе отныне останавливаться или отклоняться из-за какой-то щепетильности, они прямо используют любые средства, пригодные для их цели. Насколько их кредо цинично, настолько их действие должно быть грубым. Это действие, как я уже говорил, выражается в трех вещах: финансовая эксплуатация, полицейская травля и военное подавление, сконцентрированные в руках какой-нибудь коллективной или индивидуальной диктатуры. Вот реальность, все остальное лишь нелепая иллюзия, ложь, способная обмануть только идиотов.

Кто может сомневаться в том, что этот мир, несмотря на огромные материальные ресурсы, и несмотря на все свои грозные средства подавления должен рухнуть? Он не может быть концом и последним словом в истории человечества. Потрескавшийся и прогнивший, он не сможет выстоять при первом же серьезном ударе, полученном извне. Но если вне него не найдется никакой силы, способной его прикончить, он может тянуть свое дряхлое и позорное существование еще в течение веков; так как социальные организации, даже самые старые и разложенные, почти никогда не умирают сами по себе, будучи наделены силой инерции и чем-то вроде привычного существования, которые им заменяют живую силу.

В настоящее время есть только две силы, способные опрокинуть этот разложившийся политический и буржуазный западный мир. Это — *варвары извне*, возможно, славяне, руководимые русскими, которые проследуют по пути, который им подготовят и покажут пруссифицированные немцы; или *варвары изнутри*, пролетариат. Если это будут славянские варвары, предназначенные оказать последнюю услугу старому миру Европы, как германские варвары оказали ее пятнадцать веков назад греко-римскому миру, без-

условно, человеческая цивилизация откатится, по крайней мере, на несколько сотен лет назад. Это будет естественное явление, как им было победоносное вторжение германцев, но, одновременно, огромное несчастье для завоевателей, не менее, чем для завоеванных народов. В течение, по крайней мере, нескольких десятков лет кнут, который цари унаследовали от татар, и дисциплинарная наука, которую им привнесли немцы, будут двумя ангелами-хранителями общественного порядка в Европе.

Таким образом, в интересах человечества, цивилизации и всемирного освобождения, мы должны направить все наши усилия на то, чтобы неизбежное свержение политического и буржуазного мира было осуществлено не вторжением славян, а восстанием пролетариата, и пусть первое, которое неминуемо нагрянет на Запад, если второе не случится или случится слишком поздно, будет упреждено этим последним. Насколько дело разрушения, если оно будет завершено вторжением варваров извне, было бы гибельным для человеческой цивилизации, настолько оно будет для нее спасительным, когда оно будет выполнено варварами изнутри, самим пролетариатом Запада.

Пролетарии Запада и, главным образом, пролетарии городов, рабочие собственно промышленности, поскольку они отделены от крестьян, то есть работающих на земле, имеют огромное преимущество перед своими братьями из более варварских стран. Их объединяет с ними нищета, кабала, ужас их рабства, ненависть к своим угнетателям и эксплуататорам, ненависть ко всем существующим институтам и потребность в освобождении. Вот общая, очень широкая, очень прочная почва, которая, несмотря на самые большие различия в культуре, делает возможной и даже необходимой реальную солидарность между трудящимися всего мира, если не в идеях, то по крайней мере в инстинктах, чаяниях, естественных тенденциях и, следовательно, также в окончательной цели. Вот основа для всемирного братства. И горе западному рабочему, который, либо дав захватить себя глупой спеси полуобразования, обязательно буржуазного, либо позволив себя распропагандировать своим руководителям, обманщикам и обманутым, настоль-

ко, чтобы дать поставить себя в загон в качестве эксплуатируемого или добровольного вьючного животного на какой-нибудь политической родине, отрывается от этой основы, забывает, отрекается, презирает это огромное братство, которое связывает его судьбу с судьбой пролетариата всего мира. Он тотчас же теряет живые источники своей силы, своей мысли, своего плебейского права, и становится мелким нелепым буржуа, если не фактически, то, по крайней мере, по намерению; как всегда бедный с экономической точки зрения, он морально еще более убог: тщеславный простофиля, глупый инструмент в руках какой-нибудь вполне буржуазной политической партии.

Но помимо или скорее поверх этой общей основы, пролетариат Запада обладает силой инициативы, которая не развилась еще, по крайней мере в той же степени, в пролетариате более варварских стран. Помимо социалистических инстинктов, которые одинаковы у всех закабаленных народов, он начинает обладать мыслью и серьезной волей к своему освобождению, он начинает понимать природу и конечную цель своих собственных инстинктивных чаяний, и, видя это сам, он способен и в каком-то смысле даже призван показать ее всем другим. Инициатива освобождения пролетариата, освобождения человечества, принадлежит ему по полному праву, поскольку развитие его коллективного сознания является несравненно более передовым, чем у пролетариата Восточной Европы.

Оно является таким в тройном смысле: в области религиозных идей, политических институтов и экономического опыта. Не надо думать, что пролетариат Запада обязан этим несомненным превосходством подготовке, которую он получил в народных школах. Эта подготовка ничтожна. В большинстве даже самых цивилизованных стран Европы, во Франции, например, большинство школ существуют лишь на бумаге и в министерских речах; а в Англии, где начали, наконец, делать вид, что хотят серьезно заняться образованием народа, до последнего времени не было даже этой видимости их существования. В тех же странах, которые, как Германия, например, гордятся, что уже давно учредили некое количество народных школ, на-

стоящее образование, то, что освобождает умы и сердца, и которое зажигает в душах любовь к свободе, не только не более передовое, но даже, можно сказать, более отсталое, чем в Англии и Франции, где пролетариат, возможно, менее рассудителен, но, бесспорно, более революционен, чем в Германии. Это отчасти связано с его темпераментом и особенно с его историческим воспитанием. Но в большой степени это зависит от его школьного образования. То, что в *народных* школах Германии выливается потоком на массы, жадные к знаниям, это не образование, а отрава; это не наука, а безнравственная, абсурдная и тщательно отфильтрованная ложь.

Читать, писать, считать — вот единственно полезные вещи, которые дети народа находят там. Это уже что-то, я не отрицаю, так как преимущества их применения — в повседневной жизни каждого; эти три возможности, какими бы формальными они ни были, бесспорно способствуют развитию разума, приучая его, по крайней мере хотя бы немного, к абстракции или обобщению, первому источнику всех идей. Кроме того, они предоставляют очень малому числу тех, у кого есть время и материальные средства для этого, возможность обучиться позже самостоятельно. Но все эти преимущества более чем перевешиваются катастрофическим, оглупляющим и отупляющим эффектом чудовищной лжи, которая под видом исторической и божественной истины просачивается в сознание и представления детей народа. Это интеллектуальное и духовное отравление, научно рассчитанное и систематически, сознательно применяемое. Последнее слово этого *народного* образования, это смирение и повиновение: идеал буржуа, не для них самих, но для народа.

То, чем надо восхищаться в пролетариате Германии, это тем, что он настолько передовой, *несмотря на то образование*, что ему дают. И он стал таким только благодаря обширному, не школьному, а историческому воспитанию, которое он разделил со всеми другими народами Западной Европы.

Великого народа, великой расы никогда не бывает без истории. Славянские народы, в том числе русские, также

имеют очень длинную и очень болезненную историю, которая многому их научила. Но в этом образовании недоставало одного большого урока: спектакля освобождения среднего класса, развития его богатства, его мощи, затем его упадка.

Давайте договоримся, что это вовсе не *позитивный* урок; и пролетариат Запада был бы безнадежен, он неминуемо разделил бы судьбу буржуазии, обреченной погибнуть, если бы захотел, если бы мог воспринять его в этом смысле. Это урок совершенно *негативного* рода, исторический пример, которому надо не следовать, а отталкивать его со всей энергией, на которую пролетариат способен; и тем не менее несомненно, что этот урок в огромной мере способствовал не столько пробуждению инстинктов освобождения, которые клокочут сегодня, по крайней мере также мощно, как в нем самом, в пролетариате Восточной Европы, сколько развитию в его рядах *социалистической мысли*. Обученный на опыте буржуазии, для которой он был вначале сообщником, инструментом и одновременно жертвой, и врагом которой он стал по необходимости сегодня, чтобы обрести свое право человека и найти собственный путь — путь всемирного социального освобождения, пролетариат Запада должен поступать сейчас совершенно противоположно тому, что сделали, и тому, чего хотят буржуа.

(Здесь рукопись обрывается.)

Письмо брюссельской газете «La Liberté» («Свобода»)

1-8 октября 1872 г.,
Цюрих, Швейцария

В редакцию «La Liberté»
Сего 5 октября 1872 года. Цюрих.

Господа редакторы,

Опубликовав решение об отлучении от церкви, которое конгресс почитателей Маркса в Гааге только что произнес против меня, будет справедливым, не так ли, опубликовать мой ответ. Вот он:

Триумф *господина Маркса* и его приближенных был полным. Будучи уверенными в большинстве, которое они давно готовили и организовали с большой ловкостью и заботой, если не с большим уважением к тем принципам *морали, правды и справедливости,* которую столь часто находят в их речах и столь редко в их действиях, поклонники Маркса сняли маску и, как и подобает людям, влюбленным во власть, как всегда во имя того самого суверенитета народа, который отныне будет служить подножкой для всех претендентов на правление массами, они нагло декретировали рабство народа Интернационала.

Если бы Интернационал был менее жизнеспособен, если бы он был основан, как они себе это вообразили, лишь на организации руководящих центров, а не на реальной солидарности интересов и подлинных чаяний пролетариата всех стран цивилизованного мира, стихийной и свободной федерализации секций и рабочих федераций независимо от любой руководящей опеки, декретов этого пагубного Гаагского конгресса, этого столь услужливого и верного воплощения марксовых теорий и практики, хватило бы, чтобы его убить. Они сделали одновременно нелепым и гнусным это великолепное Товарищество, в основании которого, и я люблю это констатировать, *господин Маркс* принял столь же толковое, сколь и энергичное участие.

Государство, правительство, всемирная диктатура! Мечта Григориев VII, Бонифациев VIII, Карлов Пятнадцатых и Наполеонов, воспроизводящаяся в новых формах, но всегда с теми же претензиями, в лагере социалистической демократии! Можно ли представить себе нечто более шутовское и в то же время более возмутительное?

Утверждать, что группа индивидов, даже самых разумных и благонамеренных, будет способна стать мыслью, душой, руководящей и объединяющей волей революционного движения и экономической организации пролетариата всех стран, это такая ересь против здравомыслия и исторического опыта, что можно с удивлением спросить себя, как такой умный человек как *господин Маркс* мог ее излагать?

У пап, по крайней мере, в качестве оправдания была абсолютная истина, которую, по их словам, вручил им Святой Дух, и в которую, как предполагается, они верят. *У господина Маркса этого оправдания просто нет, и я не оскорблю его, сказав, что он вообразил, будто научным путем изобрел нечто, приближающее абсолютную истину.* Но так как абсолютного не существует, для Интернационала не может быть незыблемой догмы, ни, следовательно, официальной политической или экономической теории, и наши конгрессы никогда не должны стремиться к роли вселенских соборов, провозглашающих принципы, обязательные для всех участников и верующих.

Существует лишь один действительно обязательный закон для всех членов, индивидов, секций и федераций Интернационала, для которых этот закон составляет подлинное, единое основание. Это, во всей своей широте, во всех последствиях и применениях, *интернациональная солидарность трудящихся всех профессий и всех стран в их экономической борьбе против эксплуататоров труда.* Именно в реальной организации этой солидарности стихийным действием и абсолютно свободной федерацией рабочих масс всех языков и всех наций, которая будет тем мощнее, чем свободнее, а не в их унификации декретами и по указке какого-то руководства, только и заключается реальное и живое единство Интернационала.

Кто может сомневаться в том, что из этой все более и более широкой организации боевой солидарности пролетариата против буржуазной эксплуатации должна выйти и действительно появляется политическая борьба пролетариата против буржуазии? Поклонники Маркса и мы едины в этом пункте. Но незамедлительно встает вопрос, который отделяет нас столь глубоко от сторонников Маркса.

Мы думаем, что политика пролетариата, обязательно революционная, должна иметь непосредственной и единственной целью разрушение государств. Мы не понимаем, как можно говорить об интернациональной солидарности при желании сохранить государства, — если только не мечтать о всемирном государстве, то есть о всемирном рабстве, как великие императоры и папы. Государство по самой своей природе есть нарушение этой солидарности и, следовательно, постоянная причина войны. Мы также не считаем, что можно говорить о свободе пролетариата или реальном освобождении масс в государстве и государством. Государство означает господство, а любое господство предполагает подчинение масс и, следовательно, их эксплуатацию в пользу какого-либо правящего меньшинства.

Мы не допускаем, даже в качестве революционного перехода, ни национальных соглашений, ни учредительных собраний, ни временных правлений, ни так называемых революционных диктатур; поскольку мы убеждены, что революция искренна, честна и реальна только в массах,

и что когда она оказывается сосредоточенной в руках нескольких руководящих индивидов, она неизбежно и незамедлительно становится реакцией. Таковы наши убеждения, но не о них сейчас речь.

Поклонники Маркса исповедуют совершенно противоположные идеи. Они — поклонники власти государства, и, как следствие, также пророки политической и общественной дисциплины, чемпионы порядка, установленного сверху вниз, как всегда от имени всеобщего избирательного права и суверенитета масс, которым предоставляется счастье и честь повиноваться руководителям, избранным хозяевам. Поклонники Маркса совершенно не допускают иного освобождения, чем то, которое они ожидают от своего так называемого народного государства. Они в столь малой степени враги патриотизма, что их Интернационал слишком часто окрашивается в цвета пангерманизма. Между бисмарковской и марксовой политикой без сомнения существует весьма чувствительная разница, но между поклонниками Маркса и нами лежит пропасть. Они — сторонники правительства, а мы все-таки анархисты.

Таковы две главные политические тенденции, которые разделяют сегодня Интернационал на два лагеря. С одной стороны имеется, собственно говоря, одна только Германия; с другой в различных степенях Италия, Испания, швейцарская Юра, большая часть Франции, Бельгии, Голландии и в очень близком будущем славянские народы. Эти две тенденции столкнулись на Гаагском конгрессе, и благодаря большой ловкости *господина Маркса*, благодаря абсолютно искусственной организации его последнего конгресса, германская тенденция победила.

Значит ли это, что пресловутый вопрос был решен? Он даже, собственно, не обсуждался; большинство голосовало как хорошо обученный полк, оно давило любое обсуждение своим голосованием. Таким образом, противоречие существует в еще более живой и угрожающей форме, чем когда-либо, и сам *господин Маркс*, несмотря на все опьянение триумфом, без сомнения не думает, что сможет отделаться от него столь дешево. И даже если бы он смог затаить в какой-то момент столь безумную надежду, совмест-

ный протест юрских, испанских, бельгийских и голландских делегатов, (не говоря уже об Италии, которая даже не соизволила послать своих делегатов на этот слишком явно сфабрикованный конгресс), этот протест столь умеренный по форме, но тем более энергичный и значительный по существу, должен был быстро его разочаровать.

Этот протест сам по себе, очевидно, лишь только слабый предвестник огромной оппозиции, которая разразится во всех странах, действительно пронизанных принципом и страстью социальной революции. И вся эта буря будет поднята столь злополучным стремлением поклонников Маркса сделать из политического вопроса основу, обязательный принцип Интернационала.

Действительно, между обеими вышеуказанными тенденциями никакое примирение сейчас невозможно. Только практика социальной революции, новые великие исторические испытания, логика событий смогут рано или поздно привести их к совместному решению; и, будучи твердо убежденными в правоте нашего принципа, мы надеемся, что тогда сами немцы, трудящиеся Германии, а не их руководители, дойдут до того, чтобы присоединиться к нам в уничтожении этих тюрем народов, называемых государствами, и в осуждении политики, которая, в действительности, не что иное, как искусство господствовать и обдирать массы.

Но что делать сегодня? Поскольку сегодня разрешение и примирение на политической почве невозможно, нужно быть взаимно терпимыми, оставляя каждой стране неоспоримое право следовать тем политическим тенденциям, которые ей будут больше нравиться, или которые ей покажутся более приспособленными к ее конкретной ситуации. Как следствие, отвергая все политические вопросы обязательной программы Интернационала, надо искать единства этого великого товарищества только на почве экономической солидарности. Эта солидарность нас объединяет, в то время как политические вопросы неизбежно нас разделяют.

Очевидно, что ни итальянцы, ни испанцы, ни юрцы, ни французы, ни бельгийцы, ни голландцы, ни славянские народы, эти исторические враги пангерманизма, ни даже

пролетариат Англии и Америки, никогда не подчинятся политическим тенденциям, навязанным сегодня пролетариату Германии амбициями его руководителей. Но даже если предположить, что вследствие этого неподчинения новый Генеральный совет наложит запрет на все эти страны, и что новый вселенский собор поклонников Маркса отлучит их и объявит изгнанными из Интернационала — разве уменьшится от этого та экономическая солидарность, которая обязательно и естественно существует между пролетариатами всех этих стран? Если рабочие Германии начнут забастовку, если они восстанут против экономической тирании своих хозяев, или если они восстанут против политической тирании правительства, которое является естественным защитником капиталистов и других эксплуататоров народного труда, неужто пролетариат всех этих стран, отлученных поклонниками Маркса, останется сидеть сложа руки, как зритель, безразличный к этой борьбе? Нет, он отдаст им все свои гроши, и более того, он отдаст всю свою кровь своим германским братьям, не спрашивая их предварительно, каким будет политический строй, в котором они хотят найти свое освобождение.

Вот в чем состоит настоящее единство Интернационала; оно в общих чаяниях и в стихийном движении народные масс всех стран, а не в каком-то руководстве, ни в единообразной политической теории, навязанной генеральным конгрессом этим массам. Это настолько очевидно, что надо быть полностью ослепленным страстью к власти, чтобы совершенно этого не понимать.

Я понимаю, по крайней мере, что коронованные или некоронованные деспоты могли мечтать о скипетре мира; но что сказать о друге пролетариата, о революционере, который намеревается серьезно желать освобождения масс, и который, ставя себя в качестве руководителя и высшего судьи всех революционных движений, какие бы ни разразились в различных странах, осмеливается мечтать о подчинении пролетариата всех этих стран единой мысли, возникшей в его собственном мозгу!

Я думаю, что *господин Маркс* — очень серьезный революционер, во всяком случае, всегда очень искренний, что

он действительно хочет восстания масс; и я спрашиваю себя, как ему удается совершенно не видеть, что учреждение всемирной диктатуры, коллективной или индивидуальной, диктатуры, которая бы, так сказать, осуществила работу главного инженера мировой революции, регулируя и управляя бунтарским движением масс во всех странах, как управляют машиной, — что учреждения подобной диктатуры было бы само по себе достаточно, чтобы убить революцию, чтобы парализовать и извратить все народные движения? Какой человек, какая группа индивидов, каким бы большим ни был их талант, смела бы похвастаться умением лишь только обобщить и понять бесконечное множество интересов, тенденций и столь различных действий в каждой стране, в каждой провинции, в каждом населенном пункте, в каждой профессии, огромная совокупность которых, объединенная, но не унифицированная великим общим чаянием и несколькими фундаментальными принципами, проникшими отныне в сознание масс, составит будущую общественную революцию?

И что думать об интернациональном конгрессе, который, так сказать, в интересах этой революции, навязывает пролетариату всего цивилизованного мира руководство, снабженное диктаторскими полномочиями, с инквизиторским и папским правом прекращать деятельность региональных федераций, отлучать целые нации во имя так называемого официального принципа, который является ни чем иным, как собственной мыслью *господина Маркса*, превращенной голосованием искусственно созданного большинства в абсолютную истину? Что думать о конгрессе, который, без сомнения, для того, чтобы проявить свое сумасшествие еще более явно, отправляет в Америку это диктаторское руководство, составив его из людей, вероятно, очень честных, но темных, достаточно невежественных и абсолютно неизвестных ему самому! Наши враги буржуа, таким образом, были бы правы, насмехаясь над нашими конгрессами и утверждая, что Международное товарищество рабочих борется со старыми тираниями только для того, чтобы установить новую, и что для достойной замены существующего абсурда, оно хочет создать другой!

Ради чести и самого спасения Интернационала, мы не должны, следовательно, торопиться громко провозглашать, что этот злополучный Гаагский конгресс, вместо того, чтобы быть выражением чаяний всего пролетариата Европы, был в действительности, несмотря на всю видимость строгого соответствия нормам, которой хотели его окружить, ничем иным как жалким продуктом лжи, интриги и возмутительного злоупотребления доверием и властью, которую предоставляли, к несчастью, слишком долго умершему Генеральному совету. Это был, в действительности, не конгресс Интернационала, а конгресс этого Генерального совета, марксистские и бланкистские члены которого, образуя почти треть от общего числа делегатов и таща за собой, с одной стороны, хорошо дисциплинированный батальон немцев и, с другой, несколько сбитых с пути французов, прибыли в Гаагу не для обсуждения там всерьез условий освобождения пролетариата, а для установления своего господства в Интернационале.

Господин Маркс, более ловкий и тонкий, чем его союзники бланкисты, играл с ними, как прежде *господин Бисмарк* играл с дипломатами Империи и Французской республики. Бланкисты, очевидно, отправились на Гаагский конгресс в надежде, без сомнения поддержанной в них самим господином Марксом, обеспечить себе руководство социалистическим движением во Франции посредством Генерального совета, весьма влиятельными членами которого они поручились друг другу остаться. *Господин Маркс вовсе не любит делить власть, но более чем вероятно, что он дал положительные обещания своим французским коллегам, без помощи которых у него совсем не было бы большинства на Гаагском конгрессе*. Но после того, как он ими попользовался, он их вежливо выпроводил, и в соответствии с планом, заранее составленным им и его настоящими приближенными, немцами Америки и Германии, отправил Генеральный совет в Нью-Йорк, оставляя своих вчерашних друзей, бланкистов, в весьма неприятном положении заговорщиков, ставших жертвой собственного заговора. Два подобных поражения, следующие друг за другом со столь коротким интервалом, не оказывают большой чести французскому разуму.

Но, зададим вопрос, не развенчал ли себя сам *господин Маркс*, отправив руководство Интернационала на прогулку в Нью-Йорк? Ничуть. Ничто не оскорбит его предположением, что он принял это самое руководство всерьез, ни что он хотел вручить в его хилые и неопытные руки судьбы Интернационала, в котором он считает себя чем-то вроде отца и, пожалуй, даже хозяина. Его амбиция, это правда, может толкнуть к тому, чтобы нанести ему большой ущерб, но он не может желать его разрушения; тогда не стало бы несомненной причиной разрушения предоставление этих диктаторских полномочий неспособным людям? Как разрешить это затруднение?

Оно разрешается очень просто для тех, кто знает или догадывается, что в тени официального, видимого руководства в Нью-Йорке, сразу же было установлено анонимное правление так называемых агентов этого руководства в Европе, абсолютно безответственных, темных, но тем не менее всемогущих, или. чтобы выразиться ясно, оккультная и реальная власть *господина Маркса* со свитой. Весь секрет Гаагской интриги в этом. Он объясняет одновременно триумфальное и спокойное отношение *господина Маркса*, который полагает, что теперь держит весь Интернационал в своих руках, и если только это не станет самой большой иллюзией с его стороны, ему действительно можно радоваться, так как, тайно предаваясь божественным удовольствиям власти, он может перекладывать все ее неудобства и гнусность на этот несчастный Генеральный совет в Нью-Йорке.

Чтобы убедиться, что такова в действительности надежда, мысль *господина Маркса*, нужно только чуть внимательнее прочитать один из сентябрьских номеров «*Фольксштата*», главного органа социал-демократической партии немецких рабочих, который в этом качестве получает прямые наставления *господина Маркса*. В полуофициальной статье с чисто немецкой наивностью и угловатостью говорится обо всех причинах, которые подтолкнули диктатора этой партии и его самых близких друзей к тому, чтобы перевести руководство Интернационала из Лондона в Нью-Йорк. Для осуществления этого государственного переворота имелось, в принципе, два мотива.

Первым была невозможность договориться с бланкистами. Если *господин Маркс* пронизан с головы до ног пангерманским инстинктом, который принял столь большой размах в Германии с поры завоеваний *господина Бисмарка*, бланкисты — прежде всего французские патриоты. Невежественные и пренебрежительные к Германии, как и подобает настоящим французам, они действительно могли оставить ее в абсолютное правление *господину Марксу*, но ни за что на свете они не предоставили бы ему его во Франции, которая, естественно, предназначалась для них самих. *Но именно этой диктатуры во Франции господин Маркс, как настоящий немец, которым он и является, страстно желает более всего, даже гораздо больше, чем диктатуры в Германии.*

Немцы будут напрасно стараться одерживать материальные, или даже политические победы над Францией, в душе, как общество они всегда будут чувствовать себя низшими. Это непобедимое чувство неполноценности — вечный источник всей зависти, недружелюбности, а также всех грубых или скрытых вожделений, которые пробуждает в них одно имя Франции. Немец не считает себя достаточно состоявшимся в мире, пока его репутация, его слава, его имя не будут признаны Францией. Быть признанным общественным мнением этой нации и, главным образом, общественным мнением Парижа, такой была всегда горячая и тайная мысль всех известных немцев. А управлять Францией, и через Францию мнением всего мира, какая слава и, главным образом, какая мощь!

Господин Маркс — немец, который слишком умен, но также слишком тщеславен и слишком честолюбив, чтобы этого не понять. Нет такого кокетства, которым бы он не пользовался, чтобы заставить принять себя революционным и социалистическим мнением Франции. Кажется, он в этом частично преуспел, так как бланкисты, движимые, впрочем, своими собственными амбициями, заставлявшими их искать союз с этим претендентом на диктатуру в Интернационале, вначале на это купились. Благодаря его всемогущему покровительству, они сами стали членами Генерального совета в Лондоне.

Вначале это соглашение должно было быть прекрасным, так как, будучи авторитарными и влюбленными во власть, и те, и другие были объединены общей ненавистью к нам — непримиримым противникам любой власти и любого правительства и, следовательно, также того, которое они намеревались установить в Интернационале. *И тем не менее их союз не мог быть долгосрочным. Поскольку господин Маркс вовсе не желал делить свою власть, а они не желали уступать ему диктатуру Франции, было невозможно, чтобы они оставались друзьями надолго.* Таким образом, даже до Гаагского конгресса, когда еще между ними существовала вся видимость самой нежной дружбы, *господин Маркс* и его приближенные задумали вывести бланкистов из Генерального совета. «*Фольксштат*» (*«Volksstaat»*) лихо признает это и добавляет, что поскольку было невозможно их оттуда удалить, пока Генеральный совет оставался в Лондоне, было решено перенести сам Совет в Америку.

Другая причина, также признанная «*Фольксштатом*», — это теперь уже открытое неподчинение рабочих Англии. Вот признание, которое тягостно *господину Марксу*, поскольку оно свидетельство очень крупного провала. Не считая экономической науки, бесспорно очень серьезной, очень глубокой, и помимо своего столь же значительного и несомненного таланта политического интригана, *у господина Маркса* для гипноза и господства над своими соотечественниками всегда были две струны в арфе: одна французская, другая английская. Первая состояла в довольно неудачной имитации французского духа, вторая — в гораздо более успешном использовании практичного разума англичан. Господин Маркс провел более двадцати лет в Лондоне среди английских трудящихся, и как случается почти всегда с немцами, которые, стыдясь в глубине души собственной страны, принимают и довольно неловко преувеличивают обычаи и язык страны, в которой живут, *господин Маркс* зачастую любит показать себя большим англичанином, чем сами англичане. Я спешу добавить, что, прилагая в течение стольких лет свой блестящий ум к изучению экономических явлений в Англии, он приобрел

очень подробные и очень глубокие знания об экономических отношениях труда и капитала в этой стране. Все его рукописи тому свидетельством, и если абстрагироваться от некоторого гегельянского жаргона, от которого он не смог отделаться, то можно увидеть, что под благовидным предлогом, что все другие страны, будучи более отсталыми с точки зрения крупного капиталистического производства, следовательно, также отстают в области социальной революции, *господин Маркс* исследует, главным образом, только английские факты. Похоже на англичанина, говорящего исключительно для англичан.

Конечно, это не слишком большая заслуга с точки зрения интернационализма, но, по крайней мере, из этого можно было бы сделать вывод, что *господин Маркс* должен был иметь сколь заслуженное, столь и благотворное влияние на рабочих Англии. И, действительно, очень серьезная близость и большое взаимное доверие, похоже, существовали в течение многих лет между ним и большим числом английских рабочих, весьма активных, что заставляло весь мир поверить, что он пользовался в целом значительной властью в Англии, и это не могло не увеличивать его престиж на континенте. Поэтому, с таким нетерпением и стольким доверием во всем Интернационале ожидали момента, когда, благодаря его энергичной и умной пропаганде, миллион трудящихся, составляющих сегодня огромное товарищество *тред-юнионов*, перейдут со своим оружием и багажом в наш лагерь.

Эта надежда в стадии реализации, по крайней мере, частично. Уже образовалась английская Федерация, формально членствующая в Интернационале. Но странная вещь! Своим первым актом эта Федерация открыто рвет любые отношения солидарности с *господином Марксом*; и если судить по тому, что выдает «*Фолькситат*», и, в особенности, по тем горьким словам, ругательствам, которые *господин Маркс* на Гаагском конгрессе неосторожно бросил в сторону английских трудящихся, приходим к заключению, что пролетариат Великобритании решительно отказался подставлять свою шею под ярмо диктатора-социалиста из Германии. Обхаживать народ более двадцати лет, чтобы прийти к

такому результату! Распевать на все голоса похвалы английским трудящимся, рекомендовать их в качестве примера для подражания пролетариату всех стран: и вдруг оказаться вынужденным проклинать их и объявлять продавшимися всем реакциям! Какой неприятный случай и какое падение, не для английских рабочих, а для *господина Маркса*!

Падение, впрочем, вполне заслуженное. *Господин Маркс слишком долго мистифицировал английских членов Генерального совета*! Пользуясь отчасти их незнанием дел континента, но и отчасти их столь досадным равнодушием к этим делам, ему удавалось в течение многих лет заставлять их принимать все, что он хотел. Похоже, между *господином Марксом* и этими английскими членами существовало нечто вроде молчаливого уговора, в соответствии с которым господин Маркс не должен был вмешиваться в чисто английские вопросы, или должен был вмешиваться только так, как им это нравилось; в ответ же они оставляли ему все руководство Интернационалом на континенте, который их очень мало интересовал. К чести этих граждан надо предположить, что они испытывали самое большое доверие к верности и справедливости *господина Маркса*.

Сегодня известно, до какой степени *господин Маркс* злоупотребил этим доверием. Известно, что все дела Интернационала, точнее даже все интриги, которые разжигались и плелись в нашем великом Товариществе от имени Генерального совета, были задуманы и сдирижированы кружком приближенных *господина Маркса*, составленным почти исключительно из немцев, который выполнял в некотором роде функции исполнительного комитета: этот комитет знал все, решал все, делал все. Другие члены, образующие подавляющее большинство Генерального совета, напротив, не знали абсолютно ни о чем. Любезность по отношению к ним дошла до того, что их избавили от труда подписывать свои имена на циркулярах Генерального совета; их ставили туда за них, так, что до последнего момента у них не было даже малейшей идеи обо всех гнусностях, за которые их сделали ответственными без их ведома.

Стоит задуматься, какую выгоду должны были извлечь из столь благоприятного положения такие люди как *госпо-*

дин Маркс и его друзья, слишком ловкие политики, чтобы останавливаться перед какими-то угрызениями совести. Думаю не нужно говорить, какова была цель большой интриги. Установление революционной диктатуры *господина Маркса* в Европе посредством Интернационала. Как новый Альберони, *господин Маркс* чувствовал в себе достаточную отвагу, чтобы задумать и осуществить подобную мысль. Что же до средств ее исполнения, то должен заметить, что он говорил о них с малоискренней легкостью и презрением в своей последней речи в Амстердаме. Это правда, как он сказал, что для подчинения мира, у него вовсе нет в распоряжении ни армий, ни финансов, ни винтовок системы Шаспо, ни орудий Круппа. Но зато у него есть замечательный талант к интриге и решительность, которая не останавливается ни перед какой низостью; кроме того, в его распоряжении многочисленный корпус агентов, иерархически организованных и тайно действующих по его прямым приказам; нечто вроде социалистического и литературного франкмасонства, в котором его соотечественники, немецкие и иные евреи, занимают значительное место и проявляют усердие, достойное лучшего применения. Наконец, у него было великое имя Интернационала, которое обладает столь магической мощью для пролетариата всех стран, и которым ему в течение столь долгого времени было позволено пользоваться, чтобы осуществлять свои честолюбивые проекты.

С 1869 года, но, главным образом, с 1871 года господин Маркс приступил к делу. До Базельского конгресса (сентябрь 1869 г.), он умел скрывать свои планы. Но решения этого конгресса, вызвав его гнев и опасения, побудили его послать всех своих верных друзей общую и яростную атаку против тех, кого он начал отныне ненавидеть как непримиримых противников своего принципа и своей диктатуры. Огонь открылся последовательно против моих друзей и меня, но, главным образом, против меня, вначале в Париже, затем в Лейпциге и Нью-Йорке, наконец, в Женеве. Вместо ядер артиллеристы, поклонники Маркса, бросали в нас грязью. Это был потоп глупой и грязной клеветы.

Уже весной 1870 года я знал, что *господин Утин* (маленький русский еврей, который любыми видами низости старается снискать себе положение в этом несчастном женевском Интернационале) рассказывал любому, кто хотел его услышать, что *господин Маркс* написал ему конфиденциальное письмо, в котором он рекомендовал ему собрать против меня все факты, то есть все сказки, все обвинения, как можно более гнусные, с видимостью доказательств, добавляя, что, если эта видимость будет правдоподобной, ей воспользуются против меня на ближайшем конгрессе. **Именно с тех пор начали выковывать знаменитую клевету, основанную на моих прошлых отношениях с несчастным Нечаевым, отношениях, о которых мне пока не стоит говорить, и которыми поклонники Маркса из Следственной комиссии только что воспользовалось, чтобы продиктовать марксисткому Гаагскому конгрессу заранее подготовленное постановление о моем исключении.**

Чтобы показать меру добросовестности марксовых агентов и газет, да будет мне позволено рассказать другой анекдот. Я настолько привык видеть себя систематически и регулярно опороченным почти в каждом номере «Фольксштата», что обычно даже не стараюсь читать глупости, которые он выкладывает обо мне. В качестве исключения, мои друзья показали мне одну из них, которую я считаю полезным процитировать здесь, поскольку она, как мне кажется, весьма способна проявить верность и правдивость *господина Маркса*. Респектабельная газета Лейпцига, официальный орган Социал-демократической партии Германии, похоже, возложила на себя миссию доказать, что я ничто иное, как агент, оплаченный русским правительством. *Она опубликовала с этой целью самые неслыханные вещи, например, то, что мой умерший соотечественник Александр Герцен и я, мы оба получали значительные субсидии от панславистского комитета, учрежденного в Москве под прямым руководством правительства в Петербурге, и что вследствие смерти Герцена у меня удвоилось содержание*. Как понимаете, на столь решающие доводы мне *было* нечего ответить.

В номере 71 от 4 сентября 1872 г. «Фолькштата», был рассказан следующий анекдот. В 1848 году Бакунин, оказался в Бреслау, где немецкие демократы имели глупость принимать его с полным доверием, не замечая, что он занимался панславистской пропагандой. Кельнская газета, («Новая рейнская газета»), редактируемая гг. Марксом и Энгельсом, опубликовала корреспонденцию из Парижа, в которой было написано, что *госпожа Жорж Санд* весьма тревожно высказалась на счет Бакунина, говоря, что его надо остерегаться, что не известно, кем он является, и чего хочет, что, одним словом, это весьма двусмысленный персонаж и т. д. и т. д. «Фольксштат» добавляет, что Бакунин так никогда и не ответил на столь прямое обвинение, что, напротив, он исчез, а именно скрылся в России после публикации этой корреспонденции, и что он вновь появился в Германии только в 1849 году, чтобы принять участие, без сомнения как провокатор, в повстанческом движении Дрездена.

А вот теперь подлинные факты. Гг. Маркс и Энгельс действительно опубликовали это *сообщение из Парижа* против меня, что только доказывает, что уже тогда они пылали очень нежной дружбой по отношению ко мне и таким же духом верности и справедливости, который их отличает сегодня. Я не вижу необходимости излагать здесь факты, которые привлекли ко мне тогда эта знаки благосклонности; но вот то, что я должен добавить, и что «Фольксштат», забыл или не стал говорить. В 1848 году, я был моложе, впечатлительнее и, как следствие, намного менее вынослив и безразличен, чем сегодня; потому, едва прочитав это парижское сообщение газеты гг. Маркса и Энгельса, я бросился писать письмо *госпоже Жорж Санд*, которая была тогда намного революционнее, чем она кажется теперь, и к которой я испытывал очень искреннее и очень живое чувство восхищения. Это письмо, в котором я в очень энергичных и твердых выражениях просил у нее объяснения словам, которые ей приписывали на мой счет, было ей передано моим другом Адольфом Рейшелем, в настоящее время музыкальным директором в Берне. *Госпожа Санд ответила прелестным письмом, выражающим мне самую верную дружбу*. В то же время она направила гг. Марксу и

Энгельсу энергичное письмо, в котором она с возмущением требовала у них отчета о злоупотреблении ее именем, которое они осмелились совершить, чтобы оклеветать ее друга Бакунина, к которому она испытывает столько же дружбы, сколько и уважения. Со своей стороны я попросил друга, поляка Коссиельского, который по своим делам отправлялся в Кельн, потребовать от моего имени от гг. редакторов Новой *рейнской* газеты либо публичного опровержения, либо сатисфакции с оружием в руках. Под этим двойным давлением эти господа проявили себя весьма покладистыми и очень любезными. Они опубликовали письмо, которое им направила *госпожа Санд*, — очень неприятное письмо для их самолюбия — и они добавили к нему несколько строк, в которых они выражали свое сожаление в том, что *в их отсутствие*, в их газету вставили бессмысленное сообщение, направленное против чести их «друга Бакунина», к которому они также от всей души испытывают привязанность и уважение. Как понимаете, после подобного заявления, которое «Фольксштат» может обнаружить в одном из июльских или августовских номеров 1848 года «Новой рейнской газеты», равно как в памяти гг. Маркса и Энгельса, которые, наверняка, не совершат оплошности его отрицать, — как понимаете, мне нет больше необходимости требовать от них какого-либо удовлетворения. Что касается моего так называемого исчезновения в России, эти господа знают лучше чем кто-либо, что я оставил Германию только в 1850 году, после года заключения в крепости Кенигштайн, откуда меня перевезли в цепях в Прагу, затем в Олмуц, откуда в 1851 году я был перевезен, как всегда в цепях, в Петербург.

Я испытываю настоящее отвращение, будучи вынужденным рассказывать все эти истории. Я это делаю сегодня в первый и последний раз, для того, чтобы показать публике, с людьми какого сорта я вынужден бороться. Их ожесточение против меня, того, кто никогда не атаковал их лично, кто никогда об этом даже не говорил, и кто систематически воздерживался даже от ответа на их грязные нападки, эта злобная настойчивость, с которой, со времени моего бегства Сибири в 1861 году, меня стараются окле-

ветать и опорочить во всей своей внутренней переписке и во всех своих газетах, представляет в моих глазах столь странное явление, что даже сегодня я еще не в состоянии его понять. То, что они делают против меня, не только гнусно, отвратительно, это глупо. Как эти господа не поняли, что атакуя меня с таким невероятным ожесточением, они сделали гораздо больше для моей славы, чем я мог бы сделать сам; так как все эти возмутительные сказки, которые они распространяют с такой увлеченной ненавистью против меня во всех частях света, падут сами собой под весом своего собственного абсурда. Но мое имя останется, и этому имени, которому они столь мощно содействовали, ознакомив с ним мир, останется присуща реальная, законная слава безжалостного и непримиримого противника, не их личностей, которые меня очень мало занимают, но их авторитарных теорий и их нелепых и гнусных претензий на руководство миром. Если бы я был искателем почестей, тщеславен, честолюбив, то вместо того, чтобы обижаться на все эти нападки, я должен был бы им быть бесконечно признателен, так как, стараясь меня дискредитировать, они сделали то, чего никогда не было ни в моих намерениях, ни в моем вкусе: они создали мне положение.

В марте 1870 года, как всегда от имени Генерального совета и за подписью всех его членов, *господин Маркс* выпустил против меня клеветнический циркуляр, составленный на французском и немецком языках и направленный *региональным* Федерациям. Я ознакомился с этим циркуляром только шесть месяцев или семь месяцев назад, по случаю последнего процесса гг. Либкнехта и Бебеля, в котором он фигурировал и был публично зачитан как обвинительный документ против них. В этом меморандуме, направленном, кажется, исключительно против меня и детали которого мне незнакомы даже сейчас, *господин Маркс* рекомендует помимо всего прочего своим приближенным вести *подземную работу* в Интернационале; затем он обращается против меня, и среди многих других любезностей бросает мне обвинение в основании внутри Интернационала и с очевидной целью его разрушить *зловредного* тайного общества, называемого Альянсом. Но что мне показалось верхом не-

лепости, так это то, что пока я преспокойно оставался в Локарно, вдали от всех секций Интернационала, *господин Маркс* обвинял меня в том, что я вел ужасную интригу — видите, как иногда ошибаются, судя людей по себе! — интригу, имеющую целью перенести Генеральный совет из Лондона в Швейцарию, с очевидным намерением установить там мою диктатуру. Циркуляр заканчивается весьма искусной и совершенно неопровержимой демонстрацией необходимости, которая была тогда, и которой, похоже, более не существует сегодня, — содержать Генеральный совет в Лондоне, этом городе, казавшемся *господину Марксу* до Гаагского конгресса высшим естественным центром, настоящей столицей мировой торговли. Похоже, он перестал ей быть с тех пор, как английские рабочие восстали против *господина Маркса*, или, скорее, с тех пор, как они разгадали его тягу к диктатуре и познали *не слишком умелые* средства, которые он использует, чтобы ее завоевывать.

Но, начиная с сентября 1871 года, эпохи знаменитой Лондонской конференции, началась открытая, решающая война против нас; открытая настолько, насколько со стороны столь руководящих и осторожных людей, как *господин Маркс* и его сторонники, она могла быть.

Катастрофа Франции, кажется, разбудила в сердце *господина Маркса* сильные надежды, в то время как триумф *господина Бисмарка* — (которого в полуофициальном письме, что лежит у меня перед глазами, *господин Энгельс*; «второе я» и самый приближенный друг *господина Маркса*, превозносит как очень полезного помощника социальной революции) — разбудил в нем огромную зависть. Как немец он этим, естественно, гордился, как социал-демократ — утешился с *господином Энгельсом* мыслью о том, что, в конце счетов, этот триумф прусской монархии должен рано или поздно обернуться триумфом великого республиканского и народного Государства с ним во главе; но как личность он был безжалостно уязвлен, видя как кто-то иной, а не он, производит столько шумихи и поднимается столь высоко.

Я взываю к памяти всех тех, кто имел возможность слышать и видеть немцев в 1870 и 1871 годах. Если только

они сделают немного усилий, чтобы вычленить их подлинные мысли сквозь противоречия двусмысленного языка, они скажут вместе со мной, что за очень малыми исключениями не только у радикалов, но и у огромного большинства самих социал-демократов, вместе с весьма реальной печалью, испытанной при виде республики, павшей под ударами деспота, было общее удовлетворение, настоящий национальный триумф при виде Франции, павшей так низко, и Германии, поднявшейся так высоко. Даже у тех из них, кто наиболее отважно боролся против патриотического течения, захватившего всю Германию, даже у гг. Бебеля и Либкнехта, которые заплатили и еще платят своей свободой за энергичные протесты против прусского варварства во имя прав Франции, можно было заметить несомненные следы этого национального триумфа. Например, я вспоминаю, как прочитал в одном из номеров «Фольксштата» от сентября 1870 года следующую фразу, которую, не имея этот номер перед глазами, мне трудно теперь воспроизвести в точности, но суть которой меня поразила слишком сильно, чтобы я смог забыть ее общий смысл и тон: «Теперь, говорилось там, поскольку из-за поражения Франции *инициатива социалистического движения перешла из Франции в Германию*, на нас возлагаются великие задачи».

В этих словах заключена вся мысль, вся надежда, все амбиции поклонников Маркса. Они серьезно считают, что военный и политический триумф, полученный в последнее время немцами над Францией, означает начало великой эпохи в истории, начиная с которой Германия призвана играть во всех отношениях первую роль в мире, несомненно ради спасения его самого: Франция и все латинские народы *были*, славян еще нет и, впрочем, они слишком большие варвары, чтобы стать чем-то самостоятельно, без помощи Германии. Одна Германия сегодня *есть*. Из всего этого у немцев следует тройное чувство. По отношению к латинским народам, «*в былые времена умным и мощным, но сегодня пришедшим в упадок*», они испытывают нечто вроде милосердного уважения, смешанного со снисходительностью; они вежливы или скорее стараются быть веж-

ливыми с ними, так как вежливости нет ни в привычках, ни в природе немцев. По отношению к славянам они испытывают презрение, но в этом презрении есть много страха; их реальное чувство к ним — это ненависть. Ненависть которую угнетатель испытывает к тем, кого он угнетает и чьих грозных бунтов он опасается. По отношению, наконец, к самим себе они стали чрезмерно высокомерными, самовлюбленными, что вовсе не делает их более любезными, они полагают быть чем-либо и мочь что-либо под единым и «*революционным*» (добавил бы без сомнения *господин Энгельс*) ярмом своего пангерманского императора.

То, что *господин де Бисмарк* сделал для политического и буржуазного мира, *господин Маркс* намеревается сделать сегодня для социалистического мира, внутри пролетариата Европы: заменить французскую инициативу немецкой инициативой и господством, и так как с точки зрения его самого и его учеников, нет более продвинутой немецкой мысли, чем его собственная, он посчитал, что наступил момент, чтобы она восторжествовала теоретически и практически в Интернационале. Таким был главный, единственный предмет конференции, которую он собрал в сентябре 1871 года в Лондоне.

Эта марксова мысль достаточно развита в знаменитом Манифесте немецких коммунистов, составленном и опубликованном в 1848 году гг. Марксом и Энгельсом. Это теория освобождения пролетариата и организации труда государством. Кажется на Гаагском конгрессе, *господин Энгельс*, испуганный отвратительным впечатлением, которое произвело чтение некоторых пассажей этого Манифеста, поспешил заявить, что это устаревший документ, теория, оставленная ими самими. Если он сказал это, то не был искренен; так как даже накануне этого конгресса, поклонники Маркса старались распространять его во всех странах. Впрочем, он оказался буквально воспроизведен во всех своих главных чертах в программе Социал-демократической партии немецких рабочих. Принципиальный пункт, который встречается также в манифесте, составленном господином Марксом в 1864 году от имени временного Генерального совета и который был устранен

из программы Интернационала Женевским конгрессом, это «*завоевание политической власти рабочим классом*»

Понятное дело, что столь необходимые люди как гг. Маркс и Энгельс были сторонниками программы, которая, сохраняя и превознося политическую власть, открывает двери всем амбициям. Поскольку будет политическая власть, обязательно будут подданные, правда, по республикански переименованные в граждан, но, тем не менее, подданные, которые как таковые будут вынуждены повиноваться, потому что без повиновения вообще нет возможности для власти. Мне возразят, что они будут повиноваться не людям, а законам, которые они примут сами. На это я отвечу, что весь мир знает, как в наиболее свободных, наиболее демократических, но политически управляемых странах, народ создает законы, и что означает его повиновение этим законам. Каждый, кто не будет предвзято принимать фикции за реальность, должен признать, что даже в этих странах народ повинуется не законам, действительно созданным им самим, а принятым от его имени, и что повиновение этим законам никогда не имеет для него иного смысла, чем подчинение произволу некого опекающего и управляющего им меньшинства, что одно и то же, что быть добровольно рабом.

В этой программе имеется другое выражение, которое нам глубоко антипатично, нам, революционным анархистам, искренне желающим полного освобождения народа; это — пролетариат, мир трудящихся, представленный как *класс*, а не как *масса*. Знаете, что это означает? Ни что иное, как новую аристократию, аристократию рабочих фабрик и городов, за исключением миллионов, составляющих деревенский пролетариат, которые в прогнозах гг. социал-демократов Германии станут просто подданными в их великом так называемом народном государстве. *Класс, власть, государство* — три неотделимых термина, из которых каждый необходимо предполагает два других, и которые совместно, в итоге, можно кратко выразить следующими словами: *политическое подчинение и экономическая эксплуатация масс*.

Поклонники Маркса думают, что так же как в прошлом веке, когда класс буржуазии сверг с трона дворянский класс,

чтобы занять его место и медленно поглотить его в своем теле, разделив с ним господство и эксплуатацию трудящихся как городов, так и деревень, пролетариат городов призван сегодня свергнуть с престола буржуазный класс, поглотить его и разделить с ним господство и эксплуатацию сельского пролетариата, этого последнего парии истории, пока тот не восстанет и не уничтожит позже все классы — все господства, все власти, короче все государства.

Таким образом, они не отвергают абсолютно нашей программы. Они нас упрекают только за желание поторопить, обогнать медленный ход истории, и недооценку положительного закона последовательных эволюций. *Имея чисто немецкое мужество провозгласить в трудах, посвященных философскому анализу прошлого, что кровавое поражение восставших немецких крестьян и триумф деспотических государств XVI века составил большое революционное достижение, сегодня они довольствуются учреждением нового деспотизма ради так называемой выгоды рабочих городов и в ущерб трудящимся деревни.*

Как всегда, все тот же немецкий темперамент и та же логика ведут их прямо и неизбежно к тому, что мы называем *буржуазным социализмом*, к заключению нового политического пакта между буржуазией, радикальной, или вынужденной стать таковой, и между *умным, респектабельным* меньшинством, то есть надлежащим образом обуржуазенным пролетариатом городов, за исключением и в ущерб массе не только сельского, но и городского пролетариата.

Таков настоящий смысл рабочих кандидатур в парламенты существующих государств, и завоевания политической власти рабочим классом. Так как даже с точки зрения только городского пролетариата, к исключительной выгоде которого хотят захватить политическую власть, разве не ясно, что народная природа этой власти будет ничем иным, как фикцией. Разумеется, невозможно, чтобы несколько сотен или даже десятков тысяч, не говоря уже о миллионах людей, могли бы действительно осуществить эту власть. С необходимостью они должны будут осуществлять ее по доверенности, то есть поручить ее группе людей, избранных ими самими, чтобы их представлять и чтобы ими управлять,

что заставит их снова неминуемо погрузиться во всю ложь и все виды рабства представительного, то есть буржуазного, режима. После короткого момента свободы или революционной оргии, граждане нового государства проснутся рабами, игрушками и жертвами новых честолюбцев.

Можно понять, как и почему ловкие политики с большой страстью стремятся к программе, которая открывает их амбициям столь широкий горизонт; но чтобы серьезные рабочие, несущие в свом сердце как живой огонь чувство солидарности со своими товарищами по рабству и нищете во всем мире, которые хотят освободиться не в ущерб всем, но через освобождение всех, чтобы самим быть свободными вместе со всеми, а не чтобы становиться в свою очередь тиранами; чтобы трудящиеся искренне могли прийти в восторг от такой программы, вот что гораздо труднее понять.

Я также твердо верю, что через несколько лет рабочие Германии сами, признав гибельные последствия теории, которая может благоприятствовать только амбициям их буржуазных руководителей или лишь некоторых редких рабочих, которые пытаются подняться на их плечи, чтобы в свою очередь стать буржуазными властителями и эксплуататорами, оттолкнут эту теорию пренебрежительно и гневно и присоединятся с такой же страстью, как это делают сегодня рабочие крупных южных стран, Франции, Испании, Италии, а также голландские и бельгийские рабочие, к настоящей программе рабочего освобождения, программе разрушения государств.

Пока же мы вполне признаем их право идти путем, который кажется им наилучшим, если только они предоставляют нам ту же свободу. Мы признаем даже вполне возможным, что по всей их истории, их особой натуре, состоянию их цивилизации и всему их нынешнему положению, они принуждены идти этим путем. Пусть немецкие, американские и английские трудящиеся стараются, таким образом, завоевать политическую власть, если им это нравится. Но пусть они позволят трудящимся других стран действовать с той же энергией для разрушения всех политических властей. Свобода для всех и взаимное уважение этой свободы,

говорю я, есть основные условия интернациональной солидарности.

Но *господин Маркс*, очевидно, не хочет этой солидарности, так как он отказывается от того, чтобы признать эту свободу. Чтобы поддерживать этот отказ, у него есть совершенно особая теория, которая является, впрочем, лишь логическим следствием всей его системы. Политическое государство каждой страны, говорит он, всегда продукт и отражение ее экономического положения; чтобы изменить первое, нужно только преобразовать второе. Вся тайна исторических эволюций, согласно *господину Марксу*, там. Он совершенно не берет в расчет другие элементы истории, такие как реакцию, между тем очевидную, политических, юридических и религиозных институтов общества на экономическую обстановку. Он говорит, что нищета порождает политическое рабство, государство, но он не позволяет перевернуть эту фразу и сказать: политическое рабство, государство, воспроизводит в свою очередь и поддерживает нищету, как условие своего существования; таким образом, чтобы уничтожить нищету, надо разрушить государство. И, странная вещь, он, запрещающий своим противникам нападать на политическое рабство, на государство, как *настоящую* причину нищеты, он приказывает своим друзьям и сторонникам из социал-демократической партии Германии рассматривать завоевание власти и политических свобод как предварительное, абсолютно необходимое условие экономического освобождения. *Господин Маркс также совершенно недооценивает очень важный элемент в историческом развитии человечества: темперамент и исключительность каждой расы и каждого народа, темперамент и характер, которые сами по себе являются, естественно, продуктами множества этнографических, климатологических, экономических, равно как и исторических причин, но которые будучи однажды данными, оказывают даже помимо и независимо от экономических условий каждой страны значительное влияние на ее судьбы, и даже на развитие ее экономических сил*. Среди этих элементов и этих, образно говоря, естественных черт, есть один, имеющий совершенно решающий характер в собственной истории

каждого народа: это сила бунтарского инстинкта, и, в зависимости от нее, той свободы, которой он наделен, или которую он сохранил. Этот инстинкт является совершенно животным, первородным явлением; его можно обнаружить в различной степени в каждом живом существе, и энергия, жизненная мощь каждого измеряется его силой. В человеке, наряду с экономическими потребностями, которые его двигают, он становится наиболее мощным фактором всего человеческого освобождения. И так как это дело темперамента, а не интеллектуальной и духовной культуры, хотя и вызывающее обычно и то, и другое, случается иногда, что цивилизованные народы обладают им только в слабой степени, либо он исчерпался в их предшествующем развитии, либо сама природа их цивилизации его повредила, либо, наконец, с самого начала своей истории они были наделены им менее, чем другие.

В предыдущей работе* я пытался доказать, что немецкая нация находится как раз в этом положении. Она обладает многими другими серьезными качествами, которые делают из нее совершенно респектабельную нацию: она трудолюбива, экономна, разумна, прилежна, вдумчива, учена, весьма рассудительна и влюблена в иерархическую дисциплину, и в то же время наделена значительной силой экспансии; немцы, будучи мало привязаны к своей собственной стране, отправляются искать средства к существованию повсюду и, как я уже заметил, они легко и даже с удовольствием принимают нравы и обычаи других стран, в которых они живут. Но рядом со всеми этими несомненными преимуществами, им не хватает одного — любви свободы, бунтарского инстинкта. Они — самый безропотный и самый послушный народ мира. К этому добавляется другой большой дефект — это дух захватчика, систематического и медленного поглощения и господства, что из них делает, особенно в этот момент, нацию, наиболее опасную для свободы мира.

Такова была во всем своем прошлом, такова еще и се-

* «*Кнуто-германская империя*», первую часть которой я опубликовал, и продолжение которой я намереваюсь опубликовать в скором будущем.

годня дворянская и буржуазная Германия. Немецкий пролетариат, вечная жертва и той, и другой, может ли он солидаризоваться с духом завоевания, который проявляется сегодня в высших эшелонах этой нации? По сути дела, без сомнения нет. Так как народ-завоеватель — обязательно народ-раб, и рабом всегда будет он. Завоевание, таким образом, полностью противоположно его интересам и его свободе. Но он солидаризуется с ним в своем воображении, и останется с ним солидарным до тех пор, пока не поймет, что это так называемое народное и республиканское пангерманское государство, которое ему обещают в более или менее близком будущем, будет ничем иным, как новой формой очень тяжелого рабства для него самого, если вообще оно сможет осуществиться.

По крайней мере до настоящего времени он, кажется, этого не понял, и никто из его вождей, никто из его ораторов, никто из его публицистов не постарался еще это ему объяснить. Напротив, все стараются увлечь его на путь, где он сможет найти только ненависть мира и свое собственное порабощение; и пока, повинуясь их руководству, он продолжит питаться этой жуткой иллюзией народного государства, он, конечно, не станет инициатором социальной революции. Эта революция придет к нему с другой стороны, возможно с юга, и тогда, уступая всемирному порыву, он развяжет свои народные страсти, и опрокинет одним ударом господство своих тиранов и своих так называемых освободителей.

Рассуждение *господина Маркса* приводит к совершенно противоположным результатам. Принимая во внимание единственно только экономический вопрос, он говорит себе, что наиболее передовые страны и, следовательно, наиболее способные совершить социальную революцию — те, в ком современное капиталистическое производство достигло наивысшей степени своего развития. Именно они, за исключением всех других, — цивилизованные страны, единственные, призванные начать и руководить этой революцией. Эта революция будет состоять в экспроприации, либо постепенной, либо насильственной нынешних собственников и капиталистов и в присвоении

всех земель и всего капитала государством, которое для выполнения своей великой экономической, а также политической миссии должно быть по необходимости очень обширным, очень мощным и очень сильно сконцентрированным. Государство будет управлять и направлять землеобработку посредством оплаченных им инженеров, командуя армиями сельских трудящихся, организованных и дисциплинированных для этой обработки. Одновременно, на руинах всех существующих банков, оно учредит единый банк, финансирующий всю работу и всю национальную торговлю.

С первого взгляда понятно, что столь простой, по всей видимости, организационный план может покорить воображение рабочих, более жаждущих справедливости и равенства, чем свободы. Они безумно полагают, что и то, и другое может существовать без свободы, как если бы, для завоевания и закрепления справедливости и равенства, можно было оставить в покое все остальное и, главным образом, правителей, какими бы избранными и подконтрольными они называли себя народу во имя справедливости и равенства! В действительности, это был бы для пролетариата режим казарм, где унифицированная масса работников и работниц просыпалась бы, засыпала, работала и жила *под бой барабана*; для ловких и ученых — привилегия правления; а для евреев, привлеченных безграничностью международных спекуляций национальных банков, — обширное поле доходных махинаций.

Внутри это будет рабство, снаружи — война без передышки, если только все народы низших рас, латинской и славянской, одной, уставшей от буржуазной цивилизации, другой практически не знающей ее, но инстинктивно отвергающей, не смирятся с ярмом в основном буржуазной нации и государства еще более деспотичного оттого, что называется народным.

Социальная революция, такая, как ее представляют себе, желают и на которую надеются латинские и славянские трудящиеся, бесконечно шире чем та, которую им обещает немецкая или марксова программа. Для них речь вовсе не идет о бережливо отмеренном освобождении

только рабочего класса, реализуемом лишь в очень далекой перспективе, но о полном и реальном освобождении всего пролетариата, не только нескольких стран, но всех наций, цивилизованных или нет, и новая, подлинно народная цивилизация, должна начаться этим актом всемирного освобождения. И первым словом этого освобождения может быть только *свобода*, не та политическая, буржуазная свобода, столь превозносимая и рекомендованная как предмет предварительного завоевания господином Марксом и его соучастниками, но *великая человеческая свобода,* которая, разрушая все догматические, метафизические, политические и юридические цепи, которыми сегодня угнетен весь мир, даст всем, как коллективам, так и личностям, полную самостоятельность их действий и их развития, освобожденного раз и навсегда от всех инспекторов, руководителей и опекунов.

Второе слово этого освобождения — *солидарность*; не марксова солидарность, организованная сверху донизу каким-то правительством и навязанная либо хитростью, либо силой народным массам; не та солидарность всех, что является отрицанием свободы каждого, и которая даже там становится ложью, фикцией, имеющей в качестве реальной подкладки рабство; но солидарность, которая, напротив, является подтверждением и осуществлением любой свободы, берущая свой исток не в каком-то политическом законе, но в собственной коллективной природе человека, в силу которой никто не свободен, если все люди, которые его окружают, и кто оказывает хоть малейшее влияние, будь то прямое или косвенное, на его жизнь, тоже не свободны. Эта истина была великолепно выражена в правах человека, написанных Робеспьером, который объявил, что «*рабство презреннейшего из людей — это рабство всех*».

Солидарность, которую мы требуем, вовсе не должна быть результатом искусственной или какой-то авторитарной организации, она может быть только стихийным продуктом общественной жизни, как экономической, так и духовной; результатом свободной федерации интересов, чаяний и общих тенденций. Ее основы — *равенство, коллективный труд*, становящийся обязательным для каж-

дого не в силу законов, но в силу вещей и *коллективной собственности*; в качестве направляющего света — опыт, то есть практика коллективной жизни и *науки*; и, как конечная цель, *учреждение человечества* и, следовательно, крах всех государств.

Вот идеал, не божественный, не метафизический, но человечный и *осуществимый**, только он соответствует нынешним чаяниям латинских и славянских народов. Они хотят полной свободы, полной солидарности, полного равенства; одним словом, они хотят всего человечества, и они не удовлетворятся, даже на временной и переходной основе, меньшим, чем это. Поклонники Маркса назовут их чаяния сумасшествием и это уже давно делается; но это вовсе не отклонит их от цели, и они никогда не променяют ее великолепие на явно буржуазную нищету марксова социализма.

* Осуществимый в том смысле, что его реализация будет гораздо менее трудной, чем марксовой идеи, которая наряду с бедностью своей цели, представляет еще и серьезное неудобство быть абсолютно неосуществимой. Уже не в первый раз умелые, справедливые люди, выдвигающие *практические и возможные* вещи признаются утопистами, а те, кого сегодня называют утопистами, завтра будут признаны практичными людьми. Абсурд марксовой системы состоит как раз в той надежде, что чрезмерно сужая социалистическую программу, чтобы сделать ее приемлемой для радикальных буржуа, они смогут превратить их в бессознательных и невольных слуг социальной революции. В этом большая ошибка; все исторические примеры нам доказывают, что союз, заключенный между двумя различными партиями, поворачивается всегда в пользу наиболее реакционной; этот союз непременно ослабляет наиболее прогрессивную партию, уменьшая, искажая ее программу, разрушая ее силу духа, ее веру в себя; в то время как, когда реакционная партия лжет, она находится всегда и более, чем когда-либо, в своей тарелке. **Пример Мадзини, который, несмотря на свою республиканскую жесткость, провел всю свою жизнь в сделках с монархией, и который при всем своем несомненном таланте, в итоге был ею одурачен — этот пример не должен быть потерян для нас.** Что касается меня, то я без колебаний заявляю, что все марксовы кокетства с реформистским, либо революционным радикализмом буржуазии не могут дать иных результатов, чем уныние и дезорганизацию зарождающейся мощи пролетариата и, следовательно, новое укрепление существующей мощи буржуазии.

Восстание коммуналистов в Париже положило начало социальной революции. Значение этой революции состоит даже не в довольно слабых опытах, которые у нее была возможность и время осуществить, а в идеях, которые она возбудила, в живом свете, который она пролила на подлинную природу и цель этой революции, в надеждах, которые она повсюду пробудила, и тем самым в мощном потрясении, которое она произвела в народных массах всех стран, но, в особенности, в Италии, где пробуждение народа датируется этим восстанием, главная черта которого — бунт Коммуны и рабочих товариществ против государства. Этим восстанием Франция одним махом возвысилась в своем статусе, и Париж вновь прославился как столица мировой революции *под носом и под пушками* натасканных Бисмарком немцев.

Эффект его был столь огромен повсюду, что сами поклонники Маркса, все идеи которых были опрокинуты этим восстанием, оказались вынужденными снять перед ним шляпу. Они сделали больше, наперекор элементарной логике и своим настоящим чувствам, они провозгласили, что его программа и цель совпадают с их собственными. Это была действительно потешная, хотя и вынужденная смена образа. Они должны были это сделать, под угрозой быть захлестнутыми и покинутыми всеми, настолько мощными были страсти, которые эта революция пробудила во всем мире.

Также надо восхититься смелостью, равно как и ловкостью *господина Маркса*, который, двумя месяцами позже, имел дерзость созвать конференцию Интернационала в Лондоне, чтобы представить ей свою жалкую программу. Впрочем, эта дерзость объясняется двумя вещами. Прежде всего, народный Париж был истреблен, и вся революционная Франция, за очень малым исключением, была на время принуждена к молчанию. И потом, подавляющее большинство французов, приехавших ее представлять в Лондоне, были бланкистами, и я думаю, что ясно изложил причины, толкнувшие бланкистов к поискам союза с *господином Марксом*, который, чтобы не встретить противников в полномочных представителях Парижской

коммуны в Лондоне, нашел у них в тот момент сильную поддержку.

Известно, как в остальном эта Конференция была топорно сработана; она была составлена из приближенных *господина Маркса*, заботливо отсортированных им самим, плюс несколько одураченных. Конференция проголосовала все то, что он счел нужным ей предложить, и марксова программа, превращенная в официальную истину, оказалась навязанной как принцип, обязательный для всего Интернационала.

Но с тех пор, как в Интернационале появилась официальная истина, для ее поддержки потребовалось правительство. Это было второе предложение *господина Маркса*; она было проголосовано, как и первое. С тех пор Интернационал оказался привязанным к мысли и воле немецкого диктатора. Ему дали право цензуры всех газет и всех секций Интернационала. Признали срочную необходимость тайной переписки между Генеральным советом и всеми Региональными советами; ему предоставили, кроме того, право посылать секретных агентов во все страны, чтобы интриговать там в его пользу и вносить туда дезорганизацию ради наивысших почестей для *господина Маркса*. Его облекли, одним словом, полнотой тайной власти.

Чтобы обеспечить себе спокойное наслаждение ею, *господин Маркс* посчитал необходимым предпринять другие меры. Ему надо было любой ценой опорочить в общественном мнении противников своей диктатуры, и он оказал мне честь, предоставив мне первое место в их числе. Как следствие, он принял героическое решение меня уничтожить. Для этого он привез из Женевы своего мелкого статиста и женевского соотечественника, *господина Утина*, который, не принадлежа никакой официальной делегации, похоже приезжал в Лондон лишь для того, чтобы выплескивать на меня в течение Конференции все виды оскорблений и ужасов. Пока я еще не знаю, что он сказал, но сужу об этом по следующему факту. Гражданин Лоренсо Асприльо, делегат испанской Федерации, по своему возвращению в Испанию на вопросы нескольких моих друзей написал им следующий ответ:

«Если Утин сказал правду, Бакунин должен быть бесчестен; если он лгал, Утин — бесчестный клеветник».

И заметьте, все это произошло при моем полном незнании, и я узнал об этом факте лишь по этому ответу *господина Лоренсо Асприльо*, о котором мне сообщили только в апреле или мае.

Циркуляр Генерального совета, превращенного, таким образом, в официальное правительство, поведал, наконец, ошеломленному Интернационалу о государственном перевороте, которому он только что подвергся.

Я думаю, что *господин Маркс*, самодовольный от своего триумфа, слишком легкого, чтобы быть прочным, и диктаторской власти, которой его облекли, был ослеплен настолько, что и не подозревал о той ужасной буре, которую его государственный переворот должен был поднять в независимых регионах Интернационала. Честь первого бунта принадлежит Федерации Юры.

(На этом месте рукопись обрывается.)

Оглавление

Историко-публицистическое издание

Бакунин Михаил Александрович

ИНТЕРНАЦИОНАЛ, МАРКС И ЕВРЕИ

Генеральный директор *Л.Л. Палько*
Ответственный за выпуск *В.П. Еленский*
Главный редактор *С.Н. Дмитриев*
Художник *А.Ю. Новиков*

Подготовка макета *Издательство «АЗЪ»*

ООО «Издательство «Вече 2000»
ЗАО «Издательство «Вече»
ООО «Издательский дом «Вече»

129348, Москва, ул. Красной Сосны, 24.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.000129.01.08 от 16.01.2008 г.
E-mail: veche@veche.ru
http://www.veche.ru

Сдано в набор 22.05.08. Подписано в печать 22.06.08.
Формат 84×108 $^1/_{32}$. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 18,8. Тираж 3000 экз.
Заказ № 2742.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ОАО «Рыбинский Дом печати»
152901, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.

...Посреди наполовину шутливого, наполовину серьезного разговора, Маркс мне говорит: «Знаешь ли ты, что я нахожусь теперь во главе столь хорошо дисциплинированного тайного коммунистического общества, что, если бы я сказал одному из его членов: „Иди, убей Бакунина", он бы тебя убил».

Они не могут мне простить того, что я — русский, казак, или, как писал пресловутый Мадзини в своем теологическом гневе, калмык, осмелившийся возвысить свой варварский голос на конгрессах Европы...

М.А. Бакунин

